



Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (496)

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Григорий Стариковский. 8 стихотворений.....	3
Каринэ Арутюнова. Блаженные. Повесть. Зеленые яблоки Сезанна. Новеллы.....	7
Андрей Тавров. Из цикла «Прощание с Кьеркегором: вариант единицы».....	36
Сергей Соловьев. Три главы из романа «Улыбка Шакти».....	52
Люба Макаревская. «хочется речь...» и др. стихи.....	66
Павел Чхартишвили. Смятенный холод осени. Рассказ-зарисовка.....	75
Катя Сим. Полдень. Стихи	81
Вячеслав Харченко. Несерьезно. Рассказ.....	85
Макс Неволошин. Где сидит фазан. Рассказ.....	88
Янис Грантс. «Метель» и др. стихи.....	94
Дмитрий Раскин. Московский гость. Рассказ.....	100
Александр Макаров-Кротков. Сатурация. Стихи.....	105

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая–15 (В русском жанре – 75).....	110
---	------------

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Татьяна Грауз. Слова признаются в своей способности быть [# 2] (о некоторых особенностях поэтики Елизаветы Мнацакановой).....	113
--	------------

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Александр Шарыпов (1959–1997). «Пишем оперу» и др. Публикация, подготовка текста Владимира Орлова (1964–2021).....	119
---	------------

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Колокола Федора Максимова.....	141
--	------------

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Полина Жеребцова. Восемнадцать рассказов о жизни О кн.: Татьяна Леонтьева. Суп без фрикаделек.....	212
---	------------

Борис Кутенков. Энергия спокойствия О кн.: Лев Рубинштейн. Время политики.....	213
---	------------

Александр Ливенцов. Пуантизм по Сэлинджеру О кн.: Марта Антоничева. 1003-й свободный человек.....	216
--	------------

Наталья Черных. Вариации на темы одной книги О кн.: Артем Пудов. По лирическому счету. Проза на грани стиха 2016–2020 годов	218
--	------------

Алексей Масалов. Морфология страшной сказки О кн.: Катя Сим. Общество защиты химер: Первая книга стихов.....	221
---	------------

Наталья Черных. Живорожденный дом О текстах Галы Пушкаренко.....	224
---	------------

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

8 СТИХОТВОРЕНИЙ

лежит земля, которая – восток,
скорее тихий жест, чем долгий лес
на карте окружной, чем зоркий свист
и павший лист, его осенний хруст.

переезжая реку, говорю
воде, как я ее люблю,
стекающую с темных гор,
простой плацкарт ее и разговор,

и берега стоят – скупая весть
о вереске; тумана сизый воск
висит между амбаров и берез,
которые придумал роберт фрост.

здесь фростом стынет мутная природа,
гравийный путь и ржавые ворота,
надлом холма и близкое болото –
всё тихое имущество рассвета.

фрост

такое здесь чужое, что – своё,
я повторяю, – *как игре на скрипке,*
учился он латыни, – луч сквозь ветви
легчайший шевелится «ла-ла-ли»,
и яблоки ударных гласных все на месте,
висят, свободные, *я не могу смахнуть*
нелепость эту с глаз, – так было
в начале сказано, но сдохло на родном
дыхании, как та «земля», в которой

Григорий Стариковский родился в 1971 году в Москве. Закончил Колумбийский университет (кафедра классической филологии). Переводил «Одиссею», Пиндара, Вергилия, Проперция, Авла Персия. Сборники стихов «Левиты и певцы» (2013) и «Автономный источник» (2017). Преподает латынь и мифологию. В «Волге» публикуется с 2014 года (в том числе под псевдонимом Герман Бер). Живет в Нью-Йорке.

ни режущего свойства нет, ни сдвига
к прозрачности, зачем такая мне?

я в лес вошел, и был он внятен,
и барбарис прозрачно-строг,
я злые ягоды заметил,
алеющие на восток.

нетронутая паутина
легко рвалась, велосипед
проехал мимо, над камнями
висел, как выдох, водопад.

я сам листаю эту осень
с мучнистым солнцем вдалеке,
и мне не нужно встречных жизней
с собачками на поводке.

бегущая на плечá камней вода –
вчера еще – темный, ленивый лед,
дохлый табор, сегодня ты – плёская шаль,

звон червонцев и злые глаза камней,
и заглавия острых, по кромке летящих троп,
восклицательный зуд комаров, слепней.

прозревает песнь, пьется слаще кровь,
над затылком земли неживая сосна растет
под углом, как неправильно вбитый гвоздь.

тресковый мыс

мелкое место в двух минутах
велосипедных, над заболоченным берегом
чаячий хохот катится.

серая, долгая кровля,
обшитые дранкой стены, море моё на отливе
держит камушек за щекой.

демосфен воды, научи говорить прямо,
не выкручивать полотенце, не собирать мидий
в разрисованное ведро.

научи розоветь лопнувшей кожурой
перевернутых лодок, тростником разбалтывать
птичий, веселый воздух.

огизовский гончаров
сорок восьмого года, всё что
осталось от 48-го, обложка
твердая, сделанная под мрамор.

сохранились следы
прикосновений: здесь, например,
переворачивали пожелтевшую страницу.
догадываюсь, чьи это были
подушечки пальцев.

текст, напечатанный в две колонки,
две зернистые простыни слов,
два колодца, брось туда камень, –
дно не всплеснется темной водой, и всё же

я благодарен за топкий диван этой прозы,
за несчастный халат и послеобеденный сон,
сдобные плечи пшеницыной,
сладкие локти ее.

знаешь, мне надоело зажигать свечи,
соберу лучше этот мусор, сваленный
на обочине, и выстрою памятник выше
деревьев – к просверку рельс на эстакаде,
к холодным вагонам метролинии «эф».

в дело пойдет, что окажется под рукой:
велосипедная резина, фрагменты детской кровати,
несъедобная китайская гадость
и черные нервущиеся пакеты,
не зря же мы их называем вечными.

твое ломкое имя впишут в каменный свиток,
и вспыхнут семь свечей под твоим лицом,
и поляки перестанут копать землю, и рыжие
комья земли превратятся в перья, и камушки,
лежащие на приступке, упадут в траву,

и ты увидишь, – ты не совсем умерла.
ты будешь значить что-нибудь, пока пассажиры
по длинной лестнице поднимаются на платформу,
и в небесном сабвее механический повторяет голос:
«не прислоняйтесь к дверям, не скапливайтесь у входа».

я спасался от зноя в спортзале.
сидел на скамейке. пил теплую воду.
тьма наступала всякий раз внезапно.
я вставал и делал два шага в сторону.

свет, поперхнувшись косточкой темноты,
узнавал меня и включался:
баскетбольный щит синел,
как почтовый ящик, на стенах углились флаги.

на футбольном поле чествовали выпускников.
дети в квадратных шапочках
и глубоких плащах улыбались в камеру,
поднимали в воздух корочки аттестатов.

я подносил к глазам бутылочный пластик,
смотрел на разошедшийся мир, его задохнувшийся клей –
по следу дырявого солнца, по долгому свету
можжевеловой гаснущей мысли.

Каринэ АРУТЮНОВА

БЛАЖЕННЫЕ

Повесть

*рано утром все ушли,
вечером вернулись,
лампы в комнатах зажгли,
выжить извернулись!
Молился, летая, моль
над роялем,
грустная, как си бемоль,
над лялялялем*

Владимир Гандельсман
Школьный вальс

В какой-то момент Верочка перешла исключительно на балетки. Вдела ступню, и вперед, – никакой тебе шнуровки, пуговок, застежек, а главное, наклонов, совершенно несовместимых с травмой позвоночника, которую она перенесла прошедшей зимой. Снег давно не чистят, – так, посыпают какой-то разъедающей обувью химической дрянью. Нет, день этот не значился на календаре, и не был как-то специально помечен в ежедневнике, которого у Верочки отродясь не было. Просто из Верочкиного гардероба (какое уютное, старомодное слово, не так ли?) будто бы в одночасье исчезли все прочие виды обуви, даже, страшно сказать, теплые войлочные сапожки на удобной застёжке. В Верочкином детстве такие звались неваляшками.

А кто сегодня пойдет в неваляшках? – голос этот, немного глуховатый, принадлежал Верочкиному папе, и сильные руки обхватывали капризно вытянутую ножку, у основания будто перетянутую невидимой резиночкой. Верочка была совсем не пухленькой, как кажется отсюда, издали, а миловидно упитанной, округло-хорошенькой, отчего взрослые так и норовили ущипнуть ее то за атласную щёчку, то за нежный локоток.

Отец носил ее на плечах, но чаще – на спине, это называлось «купки-баранки», и хохочущая девочка бойко ударяла ножками по отцовским бокам и пояснице, и главным, конечно же, и самым уморительным во всей этой истории была угодливо согнутая мужская фигура, якобы прогибающаяся под тяжестью сладкого груза. А груз был, несомненно, сладким, – бывают ведь такие сахарные, сладкие дети, которых так и хочется то поцеловать, то куснуть, – в шейку, в ладошку, в пяточку.

Отцовская ладонь, обхватывая с нежностью Верочкину пяточку, осторожно проталкивала ступню в темный (с высунутым войлочным языком) зев сапожка, и, поднатужившись, тянула на

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новый журнал», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.

себя немного тугую змейку-молнию. Верочка, возвышаясь над отцовской спиной, наблюдала законный пейзаж, – едва прорисованный мягкой акварельной кисточкой, – в нем, в этом пейзаже, не было ничего ровным счётом примечательного. Разве что вспорхнувшая на голую ветку тучная ворона. Желтоватые ватные комки между тонкими дребезжащими стеклами создавали подобие рамы, в которой видимое становилось нарядным, оформленным, будто вдетая в багет картина.

Вот этот застывший (на каких-то несколько мгновений) кадр, неяркий, – без единого акцента, останется в памяти – стоящий на одном колене отец, покрасневшая аккуратно подбритая кожа затылка и шеи, сидящая на дереве тучная ворона, чуть дребезжащее (вдалеке проезжает трамвай) стекло.

Тугие петли цигейковой шубки не поддавались Верочкиным сахарным пальчикам, да и отцовским – длинным и сильным, они поддавались с трудом, но вот защелкивалась последняя, у самого подбородка, пуговка, и Верочка, сопя, разворачивалась вправо и влево, давая обернуть себя пуховым (поверх шубы) платком, и теперь, почти задыхаясь, уже в тесноте прихожей, освещенной тусклой лампочкой, она терпеливо ждала, пока отец наденет похожее на верблюда двубортное коричневое пальто.

Заснеженный барельеф над крыльцом, скользким булыжником вымощенная мостовая, полукруглыми выступающие балконные решетки с замысловатыми металлическими виньетками. Окна прикрыты ставнями, за ними прячутся цветочные горшки, и фикусы, покрытые многолетней пылью. Чей-то неясный профиль за сдвинутой занавеской, клочья ваты в проеме между тонкими дребезжащими стеклами.

Включенная на кухне радиоточка бубнила о чем-то бархатным баритоном. В комнату, точно облако, вплывала похожая на доброго гнома старушка в обрезанных у щиколотки валеночках, в шерстяном платке крест-накрест через спину и грудь, – лицо ее было торжественно, руки прижаты к груди.

– Соня, золотко, только что... Вы слышали?

Старушку (на самом деле никакая она была не старушка) звали Фира, и работала она мастеровым цеха на четвертой обувной фабрике, но там ее называли уважительно, несмотря на шерстяной платок и валеночки – Фира Наумовна, однако Верочка ничего про это не знала, – для нее Фира была той, которая живет в крохотной комнатке под лестницей.

Отец, пристроив зеркальце к полке, брил худые щеки и острый подбородок, до крахмальной какой-то бледности, от которой лицо его становилось моложе и болезненней, он даже казался немножко чужим, но ненадолго, потому что уже через несколько часов сквозь кожу его пробивались жесткие рыжие волосы, и тогда все становилось на свои места, – отец был отчаянно худ, каштаново-рыжеволос, и первое воспоминание, связанное с ним, было именно это – покалывание жестких волосков, довольно ощутимое, отчего Верочка ежилась, точно от щекотки.

Что-то поскрипывало в тишине, что-то с грохотом упало и покатилося, – раздался звонок, женский крик и захлебывающийся детский рев, – сколько раз, – я говорила, говори-ила! Человек со смешной фамилией Голубчик, скукожась и кивая головой, мелкими шажками пробежал из кухни в боковую комнатку, – потом! потом! – в трубке что-то щелкнуло, – короткие гудки, – всклокоченная шевелюра Голубчика еще раз показалась в приоткрытой двери и исчезла.

Это случилось в слезливый мартовский день, ничем особо не примечательный. Верочка, играющая в коридоре с ангорской кошкой, беленькой, с черным пятнышком на ухе и груди, вздрогнула от низкого протяжного воя (не мужского, не женского, волчьего какого-то), – такого она не слышала никогда, и вой этот раздавался из комнаты Повалуковых.

Из боковой комнаты вновь выглянул Голубчик. Лицо его было бледным, на плечах топорщился пиджак, которого (как казалось Верочке), сосед сроду не носил.

– Ну вот и все, – сказал он, – *аман*¹ сдох, – и будто в подтверждение его словам, страшный вой повторился, разрастаясь, – казалось, выли сами стены, и даже дома, раскачиваясь от страшного горя. Случилось что-то ужасное, непроизносимое, но, странное дело, – Соня, сидящая в комнате за шитьем, разве только немного побледнела и повернула голову к Илье, который застыл с покрытой пеной щекой и полотенцем на плече. Позже, много позже, вспоминая этот странный день, совсем не праздничный, но наполненный тайным, скрытым от непосвященных смыслом, Верочка увидит, будто на старом поблекшем снимке, склоненное, очень красивое, лицо матери, и мокрое, совсем мальчишеское, – отца.

Странное свойство памяти, – удерживать какие-то на первый взгляд совершенно незначительные подробности, и именно они, как правило, становятся значимыми.

Ибо что такое прошлое без запаха отцовского, висящего на плечиках, пальто?

Без его истертой (цвета кумача) атласной подкладки, без крупных плоских пуговиц, без внутреннего алого кармашка, в который так любопытно было просовывать ладонь, нащупывая тисненые букочки на удостоверении.

Пальто было из тех, трофейных ещё запасов, кажется, английское, – во всяком случае, отец упоминал об этом не раз. Добротнo сшитые вещи не оставляли его равнодушным, но и рабом этих вещей он никогда не был. Пальто из английской шерсти прослужило немало лет. Во всяком случае, замены ему точно не было.

Дела, надо сказать, шли неважно, – за несколько лет из блестящего военкора отец превратился почти в безработного. Первые послевоенные годы пролетели в обустройстве гнезда, и это, собственно, казалось (и было) самым важным, – налаживание всех жизненных систем, обеспечение их самым необходимым, наполненное, осмысленное проживание каждого дня, хотя для Верочки это было время счастливого беспамятства.

Родившейся в Берлине, ей, уже пяти-шестилетней, всюду встречались приметы великих времён. Главной была, конечно же, лейка. Загадочный механизм, состоящий из множества деталей, непостижимым образом связанных между собой, он волновал и притягивал совершенством исполнения, сложностью и завершенностью формы. Вожделенное «нечто». Добраться до сути, понять, «как оно устроено». Порой, не дыша, касалась она пыльного футляра, не без усилий отстегивала крохотную кожаную пуговку, обнажая всевидящий глаз объектива.

Фотодокументалистика перешла в разряд почти хобби, – ведь войны имеют обыкновение заканчиваться, а свадьбы, юбилеи и прочие значимые вехи в человеческой жизни никто не отменял.

Пленку отец проявлял в крошечной темноте чулана, и это было, конечно же, таинство. Событие. Чудо возникновения и повторения неповторимого, собственно, воспроизведение самой жизни, ее фактическое доказательство. Подробность и отточенность процесса. Отмокая в розовых пластиковых ванночках, на снимках оживали лица незнакомых людей. А вот и ее, Верочкино, почти неразличимое в нимбе светящихся волос. Пожалуй, она была главной и самой благодарной его моделью, если не считать, конечно же, Сони.

¹ Аман – в книге Есфири – сын Амадафа, царедворец персидского царя Асуира, или Агасфера, задумавший из зависти к своему сопернику Мордехаю погубить всех евреев в Персии и поплатившийся сам жизнью.

– А ведь Верунчик наша уже совсем барышня, – смеялся отец и щелкал ее по носу, – не больно, впрочем, и исчезал надолго, а возвращался к поздней ночи, внося на вытянутых руках отрез шелка или крепдешина, или даже панбархата, который набрасывал девочке на плечи и, склоняя голову набок, присвистывал якобы в изумлении, разглядывая застывшую в смущении дочь, – все еще неловкого подростка для всех, но не для него, – бледность, неуклюжесть казались началом чего-то прекрасного, зарождающегося на его глазах. Зажмурившись, стояла она посреди комнаты, освещенная янтарными отблесками трофейного светильника, – вот и выросла, вот и выросла, – пожалуй, только отец и видел в ней красавицу, а мать вздыхала, отмечая, что волосы дочери торчат в стороны, и кожа не может похвастать матовостью, в целом же она похожа была на несуразного птенца, – бестолковая, – Соня небожно хлопала ее по спине, надеясь таким образом выправить осанку, но осанки не было, не было, и все тут, – из спины выпирали лопатки, позвоночник гнулся, плечи уходили вперед.

Отец смеялся, по-детски радуясь тому, что невнятный младенец вырос в нескладную девушку, и это переполняло тайной гордостью, что вот он, Илья, родил дочь, и вначале все было похоже на забавную игру, а теперь маленькая женщина стоит посреди комнаты, и он, Илья, имеет самое непосредственное отношение к этому явлению.

Верочка смущалась, потому что ко всему этому надо было как-то привыкнуть, – ко всем этим переменам, к которым она как-то не была готова, страшилась их. Иногда она боязливо касалась себя, и это наполняло ее странной грустью и необъяснимым томлением, – выбора не было, приходилось мириться со всем этим, – предопределенность страшила и одновременно влекла, как и всякая мысль о неизбежном. Ведь можно же как-то этого избежать, – тяжести внизу живота, приступов тошноты и непомерного аппетита, как будто некий незнакомец вселился в ее, такое понятное до мелочей, тело, и он, этот незнакомец, требует все новых и новых жертв, предъявляет права, раздвигая грудную клетку и бедра, сжимая гортань и забираясь в голову.

Мать смахивала пыль с комода или платяного шкафа, выдвигала и задвигала так называемые «шухлядки», брала в руки фарфоровых пастушков и пастушек, – на миг лицо ее освещалось улыбкой, – возможно, отсвет этой улыбки тянулось еще оттуда, из Берлина, – там все только начиналось, и пьянящий воздух другой жизни проступал сквозь горькую завесу дыма.

Дом, в котором добротная мебель благородного темного дерева, застывшего под ажурными салфетками, – ни скрипа, ни шороха, – лишь иногда поскрипывающего серванта, за стеклами которого угадываются застывшие в чинных позах фарфоровые пастушки и китайские болванчики, и, конечно же, посуда, – пирамиды, составленные из судочков, глубоких и мелких тарелок, соусников, пузатых чашек и прозрачного саксонского фарфора, – такого непостижимо утонченного и хрупкого в неловких руках, – я тебе сколько раз говорила! – все тот же голос с металлическими нотками вырывает из забытья.

Чашка выскальзывает из пальцев и плавно разлетается на тысячи благородных осколков. И тут же рев, – оглушительный, помноженный на десяток зеркал, в которых злые тролли хохочут, гримасничают, заходятся беззвучным плачем, тычут в ее сторону короткими пальцами.

И тогда тишина дома поглощает ее, сидящую в углу с прижатой к груди тряпичной куклой.

Некрасивая, некрасивая, – бормочет соседская старуха, ощупывая беспокойными глазами. Глаза у старухи трахмные, страшные, а руки – цепкие, жилистые, – ничего, что некрасивая, зато добрая, – таков старухин вердикт.

Мать, пугливо обхватывая голову девочки, прижимает к животу. Утешенная, вдыхает она тепло заношенной ткани, желая только одного, – стоять так до самого вечера, пока не явится спасение в виде отца, такого же рыжего и некрасивого, как она, – в отца пошла, – шелестит соседка, – в

отца, – у тебя, Соня, волос ровный, красивый, и нос, и бровь, – подпортил Илья породу, – она в них пошла, в их сторону, в бабу Еву.

Верочка обиженно сопит, потому что никакой такой бабы Евы не знает, а отца считает самым красивым на свете, даже красивее мамы, которая, и правда, невообразимо хороша в своем строгом с рядом матерчатых пуговиц заграничном платье, – тогда все подводами, составами везли, и платья, и комоды, и рояли, и даже ее, Верочку, привезли, – всю в кружевах, точно куклу, – с тугими младенческими ручками, ножками и похожей на облетающий одуванчик головой.

Хлопок входной двери, и чужую старуху словно ветром сдувает, как будто и не было никогда. В проеме двери – отец, смеющийся, худой, растрепанный, будто светящийся, – это все рыжина, проступающая отовсюду, – из глаз, пор, волос, – отец так же пятнист и некрасив, и так же беспричинно весел – тогда как мать – настороженно-грустна и словно тень, бесплотна.

Наиболее уютным местом в доме была, конечно же, кухня, – ничего общего с коммунальными кухнями, которые принято изображать в кино. Никаких скрученных тряпок, никакой затхло-сти и духоты, никаких выяснений отношений, боже сохрани!

Да, тут и там вспыхивали скандалы, но чаще они были локальными, внутрисемейными, прогнозируемыми. И заканчивались так же неожиданно, как и вспыхивали, – собственно, скандалами в традиционном смысле этого слова назвать их было нельзя, – так, легкие сполохи, – пуштычки, придающие вкус жизни.

На кухне висело радио – большая черная тарелка, и Верочка, пристроившись у подоконника с кошкой на коленях, слушала все подряд – заливчатскую гармонь, торжественный голос диктора, скрипичный концерт, частушки...

В комнате, расположенной в самой глубине квартиры, чуть позднее появилось свое «радио», – приемник, – громоздкое довольно, основательное устройство светло-орехового цвета, накрытое ажурной салфеткой. Сидя рядом с отцом, Верочка вслушивалась в вещание, которое разительно отличалось от кухонных передовиц. Будто прорываясь сквозь невидимую толщу вод, заграждений (казалось, там, в эфире, бушуют ветры, воют метели, и безымянные скрипачи водят невидимыми смычками), звучала человеческая речь. Сквозь вой и скрежет, щелчки и шипение пробивался очень доброжелательный, нездешний какой-то голос, совсем непохожий на голос диктора Левитана. Отец, набросив на плечи верблюжье пальто, кивал головой, улыбался чему-то, хмурился, негодовал, – и вдруг, будто опомнившись, наталкивался взглядом на Верочку, тихо засыпающую рядом.

– Какой же ты тяжелый, Верунчик, – смеясь, подхватывал ее, полусонную, под коленки, дивясь драгоценной этой ноше.

– Раечка, золотко, сладкая, – Петро Повалюк чуть гнусавил и заискивающе терся о Раисину спину.

Верочка завороченно наблюдала за этой восхитительной прелюдией, – сейчас уже трудно вспомнить, что так влекло и отталкивало одновременно, – едкий ли рыбный запах, – то неуловимо чарующее и страшное, что происходит на кухне в молочные утренние часы. На кухню черепашьим шагом входила Фира Наумовна, поджав губы, ставила чайник на конфорку и доставала галеты.

Появление щуплой, почти невидимой Фиры вызывало в Повалоках приступ буйного веселья, – наверняка, даже самим себе они не могли объяснить этого, – превосходства румянца над бледностью, здоровья над немочью, плоти над бесплотностью...

Особенно восхищал оставленный мизинчик, – тю, глянь, – Раиса прыскала, впрочем, беззлобно, – пока Фира ополаскивала заварник, супруги давились беззвучным хохотом, – ну надо же, мизинчик, – надо же...

– Фира Наумовна, – Повалюк подмигивал супруге и галантно касался острого плечика, – не желаете ли – рыбки, – лицо его расплзлось блином, – Фира вздрагивала и подергивала подбородком: – Нет, спасибо, Петр Григорьевич, я лучше чаю попою.

– Чай... чай, – посмеивалась Рая, и, развернувшись со сковородой в вытянутых руках, внезапно оглядывалась на Верочку, застывшую в двери, – *шо стоишь, – заходь до нас*, – или тоже чай?

Верочка проскальзывала в логово Повалоков, пропитанное чуждыми запахами, – такими до неприличия явными, пронзительными, – с застеленной переливчатым цветастым покрывалом гигантской кроватью с никелированными шишечками, с устрашающим конусообразным бюстгалтером, свисающим со спинки стула, с многочисленными снимками на стене, – старушек в повязанных плотно под подбородками платочках, удалого красавца с гармонью, двух застывших серьезных девушек с закрученными вокруг голов косами – на Верочкины расспросы ответ был один: – *а хто его знае, – оно здесь висело, так я и оставила, пускай висит*, – Рая проворно стелила на стол – ставилась еще одна тарелка, для гости, – на стул подкладывалась расшитая подушечка, для удобства. Петро прикладывался к рюмке с наливкой, – тягучая жидкость лилась меж мясистых его губ. Раиса придирчиво следила за опустошением Верочкиной тарелки, – кушай, деточка, кушай, – Верочка старательно подъедала, пока Раиса, подперев круглый подбородок ладонью, размягшим бабьим взглядом смотрела на мужа, – *Петро... нам бы дивчинку... маленьку... або хлопчика... – а, Петро?*

Осоловевшие глаза Петра останавливались на Раисиной пышной груди, вольготно раскинувшейся под бумажейным халатом..

– Ну, – *покушала?* – Раисина ладонь оказывалась на Верочкином плече, – и через минуту она (Верочка) уже стояла в тесном коридорчике с глуповатым остроухим «ведмедиком» в обнимку, – иди, погуляйся, деточка, – за стеной уже повизгивали пружины и какая-то маленькая девочка, а не Рая вовсе, выводила нежные рулады, – ай, ай, – а кто-то – строгий и взрослый – взволнованно вопрошал: – *гарно? так гарно?...*

После обеда наступало время заслуженного досуга, – под сокрушительные звуки духового оркестра. Человек со смешной фамилией Голубчик (из боковой комнаты слева) страдальчески морщился, – это не музыка, девочка, это гвалт.

Почти никогда Марк Семеныч никогда не называл Верочку по имени, – впрочем, как и остальных соседей. Даже у входа в уборную он застывал в галантном полупоклоне, – мадемуазель... мадам... только после вас!

У щепетильной Фиры это вызывало приступ паники, – она осмеливалась посещать отхожее место, если поблизости не оказывалось убийственно вежливого соседа.

Ходили слухи, что маленький Голубчик чудом остался в живых, и с тех пор жил совершенно один, без друзей и родных, – на стене висел портрет улыбающейся молодой женщины в шляпке, а чуть ниже с маленькой фотокарточки улыбались темноглазые девочки-двойняшки с бантами в темных волосах.

Иногда Фира, Голубчик и Верочка резались в подкидного, – Марк Семеныч азартно вскрикивал, жульничал, томно прикрывал веки сухой ладошкой и по-детски бурно захлебывался обидой

и восторгом. Подталкивая Верочку локтем, Фира заходилась булькающим смехом. Похоже, она кокетничала.

Повалоков Голубчик откровенно презирал. Поговаривали, что Петро Повалюк имел некоторое отношение... Не принято было говорить на эту тему, никто не обсуждал открыто, но отчего-то этот внешне вполне безобидный человек внушал ужас маленькому Голубчику.

– Она опять была там? У этих людей! Боже, боже, – в голосе его дрожали трагические нотки, – горестно улыбаясь, он пожимал плечами, отворачивался к окну и становился похож на маленькую нахохлившуюся птицу.

– Марк Семеныч, родненький, ну никто же точно не знает! Вы там были, я спрашиваю? Вы видели? Ну нельзя же просто так подозревать человека бог знает в чем! Это сущий грех!

– Вера, сколько раз я просила не ходить туда!

Верой ее называла только Соня, – не Верунчик, не Верочка, а просто Вера, и собственное имя казалось Верочке ужасно некрасивым, – потупившись, в очередной раз выслушивала она Сонины назидания на тему, – «не есть у чужих», но, удивительное дело, в разряд «чужих» совсем не попадали ни Фира Наумовна, ни Марк Семеныч, то и дело украдкой втискивающий (то в горячую ладошку, то в кармашек платья) круглые тянучки или ириски. Порой соседи устраивали импровизированные «пирушки», и кто, если не Верочка, оказывалась самым желанным гостем?

– Присаживайтесь, барышня, – Марк Семеныч, обвязанный потешным фартуком (с вышитым на нем пестрым петушком), услужливо сгибаясь, подкладывал на высокий стул подушечку и, подхватив Верочку, торжественно усаживал ее на почетное место.

– Фира Наумовна, ну что ж вы, голубушка, запаздываете, – волновался он, маленькими, усыпанными коричневой крошкой руками передвигая – тяжелые изогнутые вилки, ножи, бокалы тусклого темного стекла, в котором отражалось янтарное свечение лампы.

– *Ништ гештойгн, ништ гефлойгн¹, их вэйс²* – прикладывая салфетку к губам, Марк Семеныч обменивался с Фирой странными словечками, отчего оба они казались посланниками какого-то несуществующего анклава, к которому некоторое отношение имеет и она, Верочка, и, соответственно, Соня и Илья. То есть правильной было бы сказать – формально несуществующего, но в Верочкином словарном запасе не было таких слов и понятий...

– Мама, а мы евреи? И я? – однажды поинтересовалась она, и интерес ее был скорее исследовательским, тем более что буквально на днях соседская Валечка – плотная, мясистая, будто бы состоящая из хорошо пригнанных друг к другу квадратов и кругов, с неровно подстриженной «под горшок» челкой и сонными глазами из-под бесцветных бровей, оповестила ее о том, что «*в войну в ихнем подвале прятали жидов*», – «ну, в смысле, вашей, еврейской нации», – добавила она, подметив Верочкино замешательство, – «ну, бабуся прятала, – там одна дивчинка була, и один хлопчик, так их все равно споймали, мамка казала, вон с того подвала, бачишь?»

С тех пор, проходя мимо подвала, Верочка, исполненная суеверного ужаса, старалась не смотреть на его проваленные, поросшие чахлой травой ступени. Когда дверь оказывалась приоткрытой, наружу просачивался страшный, могильный дух, в глубине оживали и двигались косматые тени, – впоследствии оказалось, что таким духом обладают практически все подольские подвалы, – более того, в них продолжают жить люди.

¹ Ништ гештойгн, ништ гефлойгн (*идиш*) – небылицы (*идиома*).

² Их вэйс (*идиш*) – я знаю (*идиома*).

Позже Валечка, воодушевленная Верочкиной реакцией, сообщила, что в подвале пытали людей, и на стенках осталась кровь. «*И трупачи*». Что по ночам они (*трупачи*) ходят по двору и крадут детей.

Иногда Верочка воображала себя «той девочкой», из подвала, которая, держа за руку брата, выходила на свет божий, – бледная, худенькая, в истрепанном платье.

Конечно же, словоохотливая Валечка поведала ей о самом страшном, – дети обожают придуманные страшные истории, но только придуманные, рассказанные в темном закутке свистящим шепотом. Эти самые «*дивчина с хлопчиком*» жили в той самой квартире, в которой живут ее родители (Соня и Илья), Марк Семеныч Голубчик, Фира, Петро с Раисой, и она, Верочка.

В тот самый день, войдя в дом, Верочка, немедленно вообразив себя «той девочкой», стала искать надежное место, потому как то, что случилось раз, может повториться. Выбран был угол за комодом, потом сам комод, – в его сумрачной, но не лишенной уюта нафталиновой тиши и духоте просидела она минут пятнадцать, больше не выдержала, выскочив в тот самый момент, когда в комнату вошла мать. Задав пару вопросов, Соня, крепко взяв за руку Верочку, заверила ее, что никаких *трупачов* в подвале отродясь нет и не было, и мальчика с девочкой тоже. Квартира, – сказала она, – принадлежала людям, которые уехали, – сели в поезд и уехали в дальние края. Конечно же, Соня сказала правду, но не всю, утаив тот факт, что жильцы эти, покинув дом, так и не добрались до места назначения.

Наверное, для того страшные истории и существуют, чтобы проживать всю меру ужаса от начала и до конца, чтобы потом, выйдя на свет божий, забыть о них начисто, ну, не то чтобы совсем, – все же оставшийся где-то в глубинах подсознания страх давал о себе знать с наступлением сумерек, но летний двор, занавешенный накрахмаленным бельем, усеянный одуванчиками, сулил больше радостей, нежели страхов, и распахнутая настежь дверь «того самого» подвала обнаруживала такие тривиальные предметы, как старый самокат, прислоненный к стене велосипед с ржавой цепью, лысые шины, трехлитровые банки «закрутки» со сливовым и приторно сладким вишневым компотом, с вареньем из райских яблочек и дикой алычи. Разросшаяся акация давала мощную тень, и в этой самой тени Верочка, сидя за деревянным столом, укрытым цветной клеенкой, листала тяжеленный том Брэма, подаренный в восьмой день рождения.

Старый двор распахивал темные закоулки и подворотни, в которых чего только не было, – торопливо перебегающие дорогу ежи, тощие беременные кошки, искалеченные вороны.

Мать морщила красиво очерченные темнеющие на матовом лице губы. Отец трепал по жесткой пружинящей шевелюре и уносился по неотложным делам. Найденыши оживали, хорошели на глазах, а потом уходили (уползали, улетали) в свою взрослую жизнь.

У доченьки твоей руки-то золотые, – может, она и меня полечит? – незнакомая старушка пошатывалась в двери, – точь-в-точь сухая былинка, – да вы проходите, – я позову, но глупости все это, – соседи болтают, – Верочка, к тебе, – насупившись, выползала она из закутка, в котором как раз некий доходяга лакал прямо из блюдца, – вытерев наспех руки о платье, – слышь, говорят девчонка твоя навроде иконы, от болезней лечит, я бы в Почаево пошла, поползла бы, да не дойду, – я тут по соседству, хуже-то не будет, – прищелица возлагала на ее голову сухие ладони, и благоговейно вздыхала, – протяжным старушечьим вздохом, в котором что-то было от плача маленькой девочки.

Позже потянулись юродивые, их-то после войны оказалось навалом, – подвальные старушки, инвалиды-колясочники, – на что надеялись? – ведь ноги обратно не отрастут, – немые, слепые, – все они, оказывается, прекрасно ориентировались в подольских закоулках, – держась за стены,

скользили, просачивались из опрятных монашеских двориков, – забинтованные наглухо старушки, – мать шарахалась, но Верочка никого не боялась, – деловито накладывала ладони на едко пахнущие головы, – господь благословит, деточка, – старухи совали в кармашек фартука липкие тянучки, – мать, опасаясь заразы, вытряхивала одежду.

Она вытянулась, истончилась, и лицо ее, несколько ассиметричное, с длинноватым носом, уже нельзя было назвать детским и милым, и красивым оно тоже не было, но глаза, глаза, – пожалуй, глаза брали реванш за все прочие несовершенства, – особую подростковую некрасивость, от которой, впрочем, Верочка ничуть не страдала, – скажем так, она больше сострадала, нежели страдала, да и времени на рассматривание собственных несовершенств у нее не оставалось.

Отец хлопнул дверью, спустив с лестницы очередную малахольную старушку – совсем, что ли, спятили, – обычный ребенок, оставьте в покое, – Соня, гони всех взащей, – девочке учиться надо.

Школу Вера любила, а впрочем, и ее любили, – открытую и необидчивую. Самый заядлый враг замирал и сникал, напорившись на бесхитростный взгляд зеленых с рыжиной глаз. Ругать ее было бессмысленно, обижать – бесполезно. Потому что, странное дело, – она не боялась, а только помаргивала как будто подпаленными ресницами, за которыми угадывалось простодушное ее естество.

Запретов Верочка не признавала. То есть она их слышала, но тут же забывала напрочь, и они, эти запреты, облетали ее безалаберную голову, точно тополиный пух, не чиня ни вреда, ни особой пользы.

Точно во сне досиживала она до конца занятий, усердно макая перо в чернильницу, а после прилежно собирала тетрадки и брела по улицам, погруженная не то чтобы в мысли, скорее, в неясные мечтания, впрочем, больше глазела, – как и любой идущий с уроков ребенок.

Напрасно разогревала Соня обед, потирала щеки, лоб, костяшки бледных пальцев, – заблудшее ее дитя шаг за шагом отдалялось от конечной точки путешествия, потому что чужие подвотни влекли гораздо более, чем бульон с лапшой и прокрученными фрикадельками.

Верочка вытягивалась, – ни в мать, ни в отца, – наверное, в незнакомую бабу Еву или Асю, – ни с одной из них Верочка так и не успела познакомиться, – вся родня дружно ушла туда, откуда возврата не бывает, – там все перемешалось – утонченность Евы, трепетность Аси, ученость деда Эммануила, а также неразборчивость в определенном смысле тети Шпринцы, ее кокетство, сладковатая конфетная красота, – точеный напудренный носик, округлый подбородок, обольстительные ямочки на щеках – вот, – смотри, Верочка, – твои ямочки.

Порой они являлись в странных полуснах, – выстраивались в шеренгу, – молчаливые, глазастые, – с отцовской стороны, понятное дело, каштаново-рыжие, а с материнской – бледнолицые шатены. Протягивали руки, все так же молча, пугая этим молчанием, и только, пожалуй, один, годовалый Додик, плакал, как плачут все дети его возраста, – заходясь в прерывающемся крике, от которого Верочка вскакивала посреди ночи, в мокрой насквозь сорочке, потом долго лежала в темноте, обьятая невыразимым.

– Ну что, прошвырнемся? – о, как обожала Верочка это отцовское «прошвырнемся», и следующее за ним бездумное блуждание по улицам, которые тотчас менялись, стоило им выйти за пределы двора.

Обыденная жизнь оставалась позади, – вместе с тусклыми зеркалами, в которых отражалась темная мебель, – сервант, комод, стулья с выгнутыми ножками, – переступив порог, Вера не оборачивалась, хотя знала, – там, за подвернутой занавеской, стоит Соня, грустная, со страдальческой складкой межбровья, – в ответ на приглашение, которое было скорее формальным (и Соня понимала это), она вымученно улыбалась и перечисляла список неотложных дел, и у них, беспечно уходящих в свой праздник, не было оснований не верить этому, – кроме всего прочего,

праздник бы не состоялся, – повернув за угол, отец выдыхал (или это казалось только ей?) легкое облачко (вины, грусти, сожаления?), – худое подвижное лицо его разглаживалось, он явно молодел и, шутя, подхватывал Верочку под локоток, – вы позволите, барышня? Прохожие провожали их взглядом, – улыбаясь, покачивали головами, – отец и дочь, – медно-рыжие, нескладные, являли миру столь беспечное, полное легкого обаяния зрелище, – по всему было ясно, как дружны они, как похожи.

Прогуливаясь по воскресному, праздничному Крещатику, они, не сговариваясь, сворачивали с улицы Свердлова на площадь Калинина, где находился магазин с самой вкусной газировкой в мире (в этом Верочка была твердо убеждена). Купив вкуснейших жареных пирожков с мясом или горохом, – «с какой-то дрянью» (непреренно сказала бы Соня), запивали их газировкой с «двойным сиропом», переглядываясь, точно подростки, сбежавшие с уроков. Затаив дыхание, Верочка смотрела, как из прозрачных конусообразных колбочек с краниками будто по мановению волшебной палочки течет щекотно ударяющее шипучими пузырями *сипро*.

Закусив нитку, Соня стрекотала старой швейной машинкой. Машинка досталась в наследство от бабушки Алты, – острой, пронзительной даже женщины с нестигаемым бескомпромиссным характером и золотыми руками, благодаря которым семья никогда не бедствовала.

Она, Соня, даже и не смогла бы сформулировать, отчего все складывалось не так, отчего будто пелену подернуто все вокруг. Проводила щеткой по тускнеющим, но все еще прекрасным волосам, – оттуда, из глубины, смотрела на нее молчаливая девочка с лилейной матовой кожей, – стройная, сосредоточенная и всегда немного печальная. Она мечтала, возможно, о чем-то несбыточном, и это несбыточное промелькнуло вслед за подводами с немецким «барахлом». И там, в купе поезда, там тоже было оно, – там была еще та самая задумчивая девочка, с нарядным щекастым пупсом на коленях, – вся в новом, с иголки, в неслыханном кружевном белье, с изящно подобранными, как будто облитыми молочной глазурью, стройными ногами.

Как не хочется стареть, – казалось, фраза эта сорвалась с материнских губ в каком-то почти беспамятстве, – сидящая напротив (склоненная над тетрадкой, – льющийся из окон свет, распахнутые ставни, разметавшиеся по плечам непокорные волосы), – как не хочется стареть, – взгляд Сони был обращен в никуда, – он был глубоким и одновременно пустым, а губы двигались, с трудом выталкивая слова, – между матерью и дочерью не наблюдалось той степени близости, при которой они могли бы обмениваться подобными сентенциями, и Верочка смутилась поначалу, но уже через мгновение волна жалости захлестнула ее любвеобильное сердце, – умеющая справляться с лишаями и бородавками, в этом она была бессильна, – как не хочется стареть, – повторила мать, вглядываясь в нечто невидимое за окном, – это было календарное начало весны, это и была весна, столь непохожая на ту, берлинскую, со взрывами, воем бомбежек, страшным заревом, но ...ощущением начала новой, захватывающей истории, неизбежного и близкого праздника.

Илья, такой стройный, ладный в своей гимнастёрке, затянутой ремнем, в начищенных сапогах, с огненной шевелюрой, которую зачесывал пятерней, обхватывал тонкие Сонины плечи, подводил к окну, – там бушевало пламя, и белозубые будто бы припорошенные темной пылью люди, взявшись за руки, исполняли странный танец, похожий на сиртаки.

Как для кого, а недолгая эта жизнь в пыльном, голодном, разрушенном городе на исходе войны отсюда казалась, пожалуй, самой счастливой. Зарево пожаров, взрывы, зияющие провалы в зданиях, и там, в этих черных провалах – внезапные и трогательные фрагменты вчерашнего, еще не обожженного войной, тленом и распадом человеческого присутствия. Покрытый слоем пыли инструмент, старинные часы с безвольно опущенной стрелкой, устойчивая добротная мебель

(скоро двинется она в путь, одному богу известно, каким образом впишется в темные комнаты, обретя новую жизнь под новыми крышами и небесами).

Если бы писалась летопись всех происходящих в жизни событий, – нет, иначе, – если бы события жизни укладывались (стройным рядом знаков) в некую общую летопись, то Германия сорок пятого, безусловно, была самым ярким событием в истории Сониной жизни. Санитарные поезда, безымянные полустанки, крики, стоны, запах карболки и йодоформа, километры горя, сотни и тысячи километров боли. Закушенные губы, невидящие глаза, мальчишеские затылки, подернутые пленкой зрачки. Чаще всего ей приходилось быть свидетелем самого сокровенного, что есть в человеке. Соня принадлежала к числу деятельных и тем самым счастливых натур, которые, решительно отставляя в сторону страх, ужас, безгильность, буднично подходили к исполнению сложных и даже (на первый взгляд) невыполнимых задач. Натянута будто струна, бледная, большеглазая, она, подавляя желудочный спазм (но только поначалу), выверенными движениями срезала остатки одежды, гнойные бинты, – тонкие ее руки легко разворачивали, переворачивали, укладывали, – сестричка, да у тебя легкая рука! – ее появление сопровождал общий вздох облегчения, даже, казалось, воздух в вагоне становился легче.

– Выходи за меня, сестричка, – крепко любить тебя буду, – о, сколько раз слова эти рождались (под ее руками), выдыхались вместе со стоном, точно последнее «прости» или «люблю», или «прощай», но ни одно из них не задевало ее, разве что по касательной, будто все ее женское, юное, жаркое застыло, перестало быть и отзываться, впрочем, вероятно, от стресса и недосыпания, прекратились месячные, не только у нее, и других сестричек и санитарок тоже. Но не только это. Вид человеческого страдания, развороченной плоти, сгущение этого плотского, обнаженного, беззащитного, пробуждал совсем иные чувства.

– А сестричка-то наша, евреечка, навроде иконы, братцы, – глядит, и так делается боязно, и легко, и...

Обычно произносимое со сладким причмокиванием «евреечка» здесь звучало иначе, – скорее, уменьшительно-благоевейно, и Соня, застыв на пороге, в одно мгновение успела испытать гамму разнообразных чувств – голос принадлежал тому самому молодому лейтенанту Коковкину Васе, который еще ночью, прижавшись к прохладной Сониной ладони пылающей щекой, тихонько стонал. О том, что он плачет, догадалась она, ощутив горячее жжение на руке. Обычно резкая, она даже не дернулась, не повела бровью, глаза ее оставались участливо-серьезными, немного отстраненными, руки привычно «делали свое».

Круглолицая задорная Тося, санитарочка, протягивая кружку с кипятком, плюхнулась рядом, – лицо ее, составленное целиком из каких-то неправильностей, – глаза маленькие, щеки круглые, нос картошечкой, все же было милым, детским и смешливым, – с Соней она немного робела вначале, – вот строгая вы, Софья Львовна, только не сердитесь, вас даже раненные знают, как прозвали? Только поклянитесь, что не сдадите! Жидовской иконой, – ну, виданое ли дело? Такое придумать...

Соня улыбнулась уголками губ, – она к тому времени находилась почти что в фазе бессознательного, – легкого полусна, и потому Тосино сообщение не получило должного резонанса, – Тося, ты иди, я вздремну хоть полчаса, – кликни, если что...

«Если что» случилось через те самые полчаса. Не стало того самого лейтенанта Коковкина, чем-то неуловимо похожего на Тосю, – то ли детским простодушным лицом, то ли россыпью веснушек на вздернутом носу.

Однако, странное несочетаемое сочетание слов закрепилось за ней, – и вправду, нечто иконописное было в ее тонко прописанном, тихом лице – разлет бровей, высокий чистый лоб, но не это, не это, пожалуй, некое умиротворяющее чувство, которое возникало с ее появлением.

Именно то самое чувство коснулось и молодого, блестящего, смешливого и какого-то ментально «своего», во всех возможных смыслах, – бесстрашного военкора, рыжего, тощего, смешливого, и «военно-полевой» роман, как это принято называть, собственно, и романом не

успел стать, не до букетов и конфет было им, матерым, выдавшим и пережившим войну во всех ее видах. Не было времени на роман, и потому отношения их стали законными буквально при первой возможности, – потом, по прошествии лет, Соня не могла вспомнить многого, в том числе и нежной влюбленности, и первой неловкости, – главным было то самое первое и верное – при виде ассиметричного смешливого лица – свой. Свой, своего роду-племени, будто мальчик из соседнего двора (по сути, так оно и было), – единственное, что могло связывать ее, Соню, девочку из приличной семьи, с прошлой довоенной жизнью. Потом, много позже, этот период будет восминаться какими-то всполохами и островами редкой безмятежности между ними.

Война смещает акценты, расставляет приоритеты, и даже самое страшное воспоминание о родителях и сестрах, которые остались в тылу, в родном доме, – в Сонином сознании эта беда как будто отодвинулась, и несколько полная, страдающая одышкой мать, и отец, высокий, сутулый, с докторским свои саквояжиком, известный в городе детский врач-педиатр, и сестры – шумная, веселая Любочка и меланхоличная, будто заторможенная Лия – так и оставались полными жизни и мельчайших подробностей ее, – как ни силилась она, но сознание выталкивало, – не само известие о свершившемся, а именно итог – полное и безоговорочное отсутствие их в ее, Сониной, жизни. Упрямая, тихая, любимица отца, она всегда выделялась (на фоне сестер) не миловидностью, а законченной, отточенной, выверенной красотой, будто в жилах ее текла кровь иудейских царей, и часто отец, любуясь подрастающими девочкам, останавливал свой пытливый взгляд на ней, средней.

Верочка родилась в Берлине, и, несмотря на кровь и разруху, появление ее сопровождало чувство необыкновенного триумфа и жажды. Так и бурлила кровь в ожидании новых, мирных и счастливых времен, и все последующее за беременностью, родами (уже в Берлине), взятием рейхстага, пылью, прахом, кровью, разрушением, казалось заслуженным праздником.

– Взгляни, Соня, – лицо Ильи озарено лукавой улыбкой, – вот, примерь, это и еще вот это, – в руках его переливался ворох немыслимых платьев, жакетов, блуз – все было сверкающим, новым, и так замечательно идущим к ее лицу, фигуре, – едва заметное глазу прибавление в весе ничуть ее не портило, – прикладывая то одно, то другое к груди, она любовалась отражением в зеркале, а главное, в глазах Ильи. Не то чтобы она не понимала. Возможно, так же, как сознание выталкивает страшное, непереносимое, подобным образом оно поступает и с очевидным.

– Пстой, Илюша, погоди, куда мне столько, – она смеялась, запрокинув каштановую голову, причесанную по последней моде, – с небольшим валиком волос над гладким без единой морщинки лбом, – на фоне чужого дома с добротной мебелью, картинами и сервизом, Соня будто сбросила всю свою внешнюю строгость, холодность даже... На удивление легко обживалась она в буржуазной этой обстановке, и все это шло ей, шло, – кресла с подлокотниками, тяжелая скатерть, подсвечник, высокое зеркало в прихожей.

– Пстой, Илюша, но ведь это...

Одна и та же мысль кольнула обоих, но осталась невысказанной. Там, за тысячи километров от этого дома, тоже была мебель, хоть и не такая добротная, утварь, на плечиках висели новые и ношенные платья, и чьи-то руки перебирали их, безошибочно угадывая размер.

За мародерство судили, ходили слухи о страшных преступлениях, глумлениях даже, но какое все это имело отношение к ним? Чужой временный дом, чужие вещи. Не покидало ощущение чужих глаз. Иногда чудились звуки. За стеной разучивали гаммы, немыслимое дело, – кому придет в голову разучивать гаммы во время пожара или наводнения! Невидимая детская рука, спотыкаясь, повторяла одну и ту же музыкальную фразу, – в ней Соня с радостью узнала «Лебедя»

Сен-Санса¹, которого разучивала, безбожно истязая инструмент, перед выпускными экзаменами. Порой, впрочем, та же рука, несмело охватывая ряд клавиш, брала несколько глухих аккордов в тональности си-бемоль минор, и, после небольшой паузы, гнетущая тишина проливалась чистой-шей шопеновской меланхолией, – нет, играл не ребенок, – скорее, пожилой человек, – медленно, будто восстанавливая по памяти отголоски каких-то давних времен

Соседи, – прихрамывающий мужчина с тросточкой, с внимательным взглядом светлых глаз (наблюдая, как он переходит дорогу, ошупывая тросточкой развороченные булыжники, аккуратно перенося, по всей видимости, «плохую» ногу, над опасным участком, Соня замерла, тотчас увидев отца, всегда прихрамывающего и оттого не расстающегося с тяжелой тростью), будто присыпанная рассыпной сладкой пудрой старушка, по всей видимости, его родственница, возможно, сестра, уж слишком они были похожи, – отчужденно-вежливые, при встрече (а она была неизбежна) отводили одинаковые серо-голубые глаза, в которых, боже правый, не было ненависти, – пожалуй, только безысходность.

Возвращение не было триумфальным. В бывшей квартире известного на весь город детского врача Льва Борисовича давно обосновались незнакомые люди, и появление Сони не вызвало у них особой радости. Через большую комнату (гостиную) натянуты были бельевые веревки, на которых сохло исподнее, пахло чужим, чуждым, – то ли кислым борщом, тестом, то ли просто чужой стряпней и бытом. Худая, изможденная, но не старая еще женщина смерила Соню недобрым взглядом, отметив и чулки на стройных ногах, и жакет, и нарядную девочку в лентах.

И чего только ищут, – мы уж не первый год живем, а хозяев нет прежних, – вытирая руки, она, обернувшись, крикнула кому-то в дальней комнате, – да тут жильцов бывших спрашивают, а я и говорю, нет их давно, вы в паспортный стол идите или в милицию, гражданка, там и разбирайтесь.

Плоское желтоватое лицо показалось Соне довольно знакомым. Уже выйдя за порог собственного дома, она вспомнила – новая жиличка как две капли воды похожа была на дворничиху Катю из соседнего дома. Там жила бойкая, смуглая, похожая на цыганку, Рита Кармен, ее близкая школьная подруга. До войны Катя с детьми ютилась в крохотной пристройке, примыкающей к черному входу с тыльной стороны дома.

Странное дело, ни разу с момента ужасного известия Соня не заплакала. Горе ее было невыразимым каким-то, глубоко спрятанным, будто ледяная глыба на дне колодца. Возможно, на выражение скорби, гнева, недоумения просто не было времени. И все же, отчего папа не уехал, ведь ему предлагали, и даже настаивали, – неужели он не успел, или... не захотел?

Конечно же, Сонино решение об отъезде на фронт было ударом для отца, – мягкого, но отнюдь не слабавольного человека, всегда пребывающего в ровном расположении духа, – за это и любили его маленькие пациенты и их родители, – за сеть добрых морщинок, за почти незаметную хромоту, за аккуратную тросточку, очерчивающую круг в воздухе, – за неизменное – «кушать, спать, кушать», – эту выведенную однажды формулу хорошего настроения и самочувствия.

– А кто это у нас тут больной? – тщательно вытирая свои всегда безукоризненно чистые пальцы, – строгие, суховатые, с безукоризненно подпиленными ногтями (даже с закрытыми глазами Соня видела его руки, ладони, запястья, – небольшие, довольно изящные, крепкие, и ощущала их ровное родное тепло), он присаживался на краешек постели, и маленькая Соня крепко зажмурилась от удовольствия, потому что Любочка и Лия спали, и все внимание доставалось ей одной.

¹ «Лебедь» – пьеса Камилля Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных».

Устроились временно в крохотной восьмиметровой комнатухе у дальних родичей, – те как раз не так давно вернулись из эвакуации. Вещи и мебель хранились на складе, потому как в квартире Ильи тоже жили люди, да и квартира эта только называлась гордо – квартира, а так – те же восемь метров.

Промаявшись с месяц на сундуке, они получили все же ордер (увы, комната эта тоже принадлежала кому-то, но так уж устроен этот мир, все однажды было чьим-то). Некоторые военные заслуги были все же учтены в горисполкоме.

Как-то приснилась Верочке то ли баба Ася, то ли Ева, то ли прабабушка Алта – она, не встретившись в своей жизни ни с одной из них, иногда отчетливо видела их, но чаще молчаливыми, будто бы проступающими из темной стены.

В последний раз – видимо, это все же была баба Ева, – материализовавшись из этой самой стены, произнесла внятно: – мы выбранные богом, и никогда не умрем.

Отчего-то послание это наполнило Верочку тайной гордостью, она не торопилась делиться открытием ни с матерью, ни с отцом, – конечно же, они бы выставили ее на посмеище, не сочтя откровение достойным внимания.

Верочкина мечтательность, несобранность, абсолютная иррациональность была притчей во языцех, и если отец, по обыкновению своему, подтрунивая и посмеиваясь, потакал ей и даже всячески покрывал (да, у дочери и отца имелись общие секреты), то Соня, оставаясь в одиночестве, наполнялась тоскливым недоумением, – дочь была полной ее противоположностью, – все, в чем Соня видела стройность и тщательно продуманный порядок, с появлением Веры обретало пугающую очевидность хаоса. Все шло не по плану, предметы разбегались, терялись, часы останавливались, ни в чем не наблюдалось постоянства. Стоя у окна, Соня наблюдала за идущей медленно и будто пребывающей в мире грез девочкой, – вздымая облака пыли, переступают длинные, бестолковые какие-то ноги в сползающих чулках, мелькает за деревьями всклокоченная шевелюра, – увы, ее дочь не отличается аккуратностью, для будущей девушки это совсем нехорошо.

– Пап, а что значит – *выбранные богом*?

Илья, с виду легкомысленный, умеющий извлекать удовольствие из обыденного, остановившись резко, внимательно посмотрел на Верочку, – ты где это взяла? – дело в том, что выражение это он помнил из каких-то уже несуществующих времен, довоенных, то ли от бабушки, то ли от матери, которая с настойчивостью повторяла его, приводя в некоторое смущение окружающих, – тема божественного изъяснения была не слишком популярной, и казалась неким анахронизмом, не имевшим под собой основания. Где бог, а где комната в коммуналке со стоящей у окна швейной машинкой, над которой, склонясь, сидела близорукая Ася... Перекусывая нитку, она повторяла: – наш род *выбранный богом*, а бог знает, кого охранять, И, видит бог, – если и дано было некое обещание, если и было оно скреплено кровью, то все и правда складывалось относительно неплохо. Жили скудно, но достойно, не впроголодь, пережили страшные времена, вырастили, чтоб не сглазить, детей...

О чем думала Ася по дороге к тому самому месту в сентябре сорок первого, – неужели и тогда не забывала она о невидимой связи со Всевышним. Если и помнила, то вряд ли помнил он, видимо, отвлекшись на более срочные дела...

– Откуда ты взяла это, Верунчик?

Загадкой было то, что Верочка никогда и нигде не могла слышать этих слов и интонаций, – в их семье довольно редко, можно сказать, никогда не было упоминаний о божественном присутствии, и, уж тем более связи с ним.

К способностям Верочки Илья относился с некоторой насмешкой, полагая их некой блажью и чем-то проходящим, несерьезным.

Растрепанная Верочкина голова (ну, не приживался на ней порядок, все шпильки и зажимки вылетали, так и не успев закрепиться в густых проволочных волосах) была какой-то несерьезной, не исходило от нее послушания или прилежания, и если для Ильи это было только поводом для дополнительного обожания, то со школьными учителями дело обстояло иначе. От Верочки пахло бунтом. Взять хотя бы этот пытливый, исподлобья, взгляд. Закушенная нижняя губа, тонкие всегда исцарапанные запястья, схваченные не очень чистыми манжетами. В глазах Ирма Бруновны, классной, Верочка была источником беспокойства.

Высокая, прямая, с туго затянутой талией, с аккуратно заколотым платиновым калачом над высоким чистым лбом, с несколько высокомерным выражением блекло-голубых глаз, Ирма Бруновна с некоторой брезгливостью смотрела на рассеянную, абсолютно несобранную девочку, от которой и пахло как-то не по девичьи, – брошенными уличными псами, воробьями и чем-то еще, совершенно неопределимым, но внушающим тревогу. Школа представлялась ей (Ирме) строго расчерченным полем, по которому двигались (будто шахматные фигуры) будущие обитатели Вселенной, пока что еще неоформившийся материал, из которого ей, Ирме, надлежит, точно скульптору, извлечь все самое ценное и полезное для этого мира. Даже заводилы и бунтари ходили по струнке под холодноватым оценивающим взглядом. Но Верочка была совсем не бунтарь. Училась средне, спуска рукава, была невнимательна и незлобива. Но... как бы это сказать, – все формальное отскакивало от нее, и исполосованный красным дневник, похоже, не внушал ей тревоги или страха. Она не боялась. Не боялась даже мыши, прошмыгнувшей по классу во время контрольной по алгебре. Весь класс визжал, подобрав ноги, а круглые Верочкины глаза с любопытством естествоиспытателя следили за несчастной мышью, выпущенной, конечно же, не просто так, за десять минут до конца контрольной.

Не раз проходила Соня мимо кирпичного трехэтажного здания, в торце которого все еще красовалась вывеска с полустертой надписью «*Аптека Габбе*».

Конечно же, она прекрасно помнила хозяина аптеки, и его дочь Лизу, библиотекаршу, ну да, ту самую, хромую, о которой всякое болтали, – что, мол, мужа увела у живой и молодой жены, еще и с ребенком, это же такой скандал, такое безобразие... Но дальше слухи уходили в песок, – слишком много воды утекло, другие события, гораздо более масштабные, заслонили тривиальную историю адюльтера. Жены, мужья, любовники, их дети, родители, золовки и зятья, – всех их постигла участь... Здесь Соня ускоряла шаг, как будто пыталась убежать от чего-то.

С возвращением в город, все, отдаленное расстоянием, насыщенностью событиями, полностью, приблизилось с обескураживающей ясностью, обрело объем и глубину. Вот он, дом, вот вывеска, вот трамвайные пути, вдоль которых шли они. Папа, Лия, Любочка, Ася.

Помнишь, Сонечка, счастливый билетик? Воскресный день, ярмарочное веселье, лошадак, карусель, остроглазую, укутанную в пестрый платок цыганку? Ее долгий взгляд, полоснувший невысказанным?

Счастливой будешь, богатой будешь, красавица, – удаляясь, бормотала она. Отец, посмеиваясь, – ни в какие предсказания он, разумеется, не верил, протянул всем троим – Соне, Любочке и Лие – по брикету вкуснейшего сливочного пломбира.

И все же – вдруг дочь аптекаря жива? По-прежнему выдает книги в районной библиотеке, сдерживая улыбку, заполняет формуляр? Окуная перо в чернильницу, выводит ряд фиолетовых букв со старательным нажимом? Фарфоровой прелести лицо, его немного портили крупные чуть выступающие зубы...

Вывеска висит, похоже, кто-то даже подкрасил буквы, но внутри (видно сквозь стекло) молдая девочка-провизор отпускает порошки. Куда-то подевались словоохотливые старички «в пикейных жилетах и мягких шляпах». Хотя, впрочем, уже в первые послевоенные месяцы эвакуированные стали возвращаться. Вернулась Дора с пятилетней дочерью из Ташкента, вернулась семья (почти в полном составе, если не считать пропавшего без вести сына) Слуцких. Случаются же чудеса, в самом деле! Вернуться в собственный дом, да, пусть заброшенный, пусть полупустой, но найти в том же самом месте, допустим, настенные часы с кукушкой... Ах, Соня, Соня, сознайся же, к чему тебе глупая кукушка... Неужели только для того, чтобы вспомнить тихий, ничем не примечательный вечер, и отца, который, приоткрыв резные дверцы, подтягивает гирьку в часах?

Неподалеку от Житнего бродил старик, совсем старик, довольно-таки неопрятный, заброшенный с виду, это был печально известный *Миша Отдай Калошу*, – почему, собственно, калошу, было понятно с первого взгляда, к Мишиным ступням прикручены были старые грязные калоши, – видно было, что надеты они на босу ногу, а прикручены бечевками потому, что слишком велики. Не раз и не два сердобольные прохожие пытались осчастливить беднягу более приличной обувью, но, видимо, это совершенно не совпадало с его планами. Он гримасничал, растягивая исколотый грубой щетиной беззубый рот. Совсем безобидный, если опасным не считать тот факт, что от Миши довольно сильно пахло. На рынке его подкармливали, впрочем, день на день не приходился. Иногда били, довольно жестоко, хотя чтобы заполучить потешную пантомиму с прижатыми к голове ладонями – «Миша боится», его совсем не нужно было бить. Достаточно было шугануть хорошенько, а после – насладиться зрелищем семенящего мелкими шажками человечка в калошах и драном кашне, навечеренном на выступающий покрытый седой щетиной кадык. Внешне Миша был «типичный жид», вечный, карикатурный, с крючковатым носом и глазами подстреленной лани, – его весело было шугать, чем всю пользовалось местное хулиганье, впрочем, не очень зверствуя, до первой крови.

Увидев семенящего по наледи человека в калошах на босу ногу, отец, порывшись в глубоком кармане пальто, достал несколько медяков и, вложив их в Верочкину ладонь, слегка подтолкнул ее, – чуть оробев, девочка приблизилась к приплясывающему Мише.

Вместо того чтобы протянуть руку, тот резко отшатнулся и, обхватив голову, застонал, – голова болит, голова, Миша боится. Под носом его застыла сукровица, глаза обильно слезились.

– Пап, скажи, у него кто-нибудь есть? У этого человека? Где он живет? Видишь, пап, кровь, его били...

Внятного ответа на эти вопросы, конечно же, не было, – впервые в жизни отец смутился и не нашелся что ответить, – видишь ли, Верунчик, таких людей немало...

Вначале Миша, позволивший (всем на удивление) Верочке взять себя за руку, все еще пытался сбежать. Однако неожиданно смирился и, ведомый маленькой решительной рукой, двинулся вдоль трамвайной линии. Странно, должно быть, выглядели эти трое, – высокий мужчина в верблюжьем пальто, девочка-подросток, старик в калошах на босу ногу, покорно идущий вслед за девочкой. Уже свернув в переулок, ведущий к дому, Миша заметно занервничал. Он вновь обхватил свою голову, покрытую свалывшимися пегими волосами, вскрикивая бессвязно, – Миша не помнит, не помнит...

Воркующая у кухонного стола Раиса пискнула (точно мышь) и стремительно исчезла за дверью, заявив, что выйдет только в одном случае, да и то после хорошей дезинфекции помещения.

– Ну, допустим, – примирительно сказал вышедший на шум Марк Семеныч, – что ты предлагаешь, *цигалэ*¹? Поселить его на моей голове? Нет? Тогда на чьей? Твоей? А где он будет спать, этот, извиняюсь, *нэбэх*²? На полу? В твоей постели? Сонечка, голубушка, подите сюда, вы только взгляните на эту сестру милосердия и вашего драгоценного супруга, они зарежут нас без ножа. Фира Наумовна, взгляните на этого, я извиняюсь, *фэртл оф*³. Это же чистый каприз. Головная боль, не более того! Илья Ефимыч, вы же умный человек, как вы могли позволить девочке привести это в дом? Хорошенькая *мицва* (доброе дело, совершаемое накануне шабата), я вам доложу...

Соня (вопреки предположению Марка Семеныча), ничуть не испугалась. Ей ли было бояться грязи, вросших в кожу ногтей, дурного запаха. Что-то кольнуло ее при виде стоящего на пороге человека с прижатыми к голове руками. Решительно водрузив на плиту большую кастрюлю, она скомандовала, – Марк Семеныч, давайте уже без паники, что за *клоц кашэс*⁴. Лучше помогите, с остальным разберемся. Илюша, достань с антресоли лохань, и... уведи Верочку в комнату.

Лохань, в которой когда-то купали Верочку, сгодились и для взрослого мужчины, сидящего в ней с крепко прижатыми к впалой груди коленями. По телу его пробежала крупная дрожь, по лицу стекали струи горячей воды.

Прохаживаясь мочалкой по выступающим позвонкам и опущенным покорно плечам, Соня терялась в мучительной попытке соединить несоединимое, уловить и зафиксировать то самое, кольнувшее ее в первый момент... На поверхность выныривало нечто далекое, полужабитое, – прихрамывающее звучание инструмента, разбегающиеся под сильными бледными пальцами клавиши. Прозрачайшая трель взлетала и оседала, будто золотая пыльца, и все вокруг преисполнялось хрупкости и тишайшего какого-то звона. Позже Сонечка узнает, что у золотой пыльцы существует название. Си-бемоль минор.

В утробе громоздкого чудовища гудели струны, перекликаясь со стоящей за дверцами серванта фарфоровой посудой.

– А вот это, девочка, – пиццикато, – если коснуться струн, инструмент может звучать как скрипка, или виолончель, он может быть клавиесином, органом и даже целым оркестром.

– Какие воспитанные барышни, – смеется человек, поглядывая на застывших у стола девочек, – жгуче курчавый, горбоносый, склонившись над рядом клавиш, он извлекает звуки различной тональности и глубины, и вдруг лицо его из напряженно сосредоточенного становится почти ликующим.

Вот она, та самая западающая клавиша, сиреневая си-бемоль...

Одетый в старые кальсоны, пальто (то самое, верблюжье) и брюки отца, обхватив костлявыми сильными пальцами стакан с горячим чаем, Миша застыл, как будто внезапное тепло обездвижило его, лишив необходимости постоянно приплясывать, гримасничать и нервно потирать ладони. Лицо его, тщательно промытое от нескольких слоев присохшей грязи и крови, оказалось

¹ Цигалэ (*идиш*) – козочка.

² Нэбэх – (*идиш*) бедняга.

³ Фэртл оф (*идиш*) – доходяга, четвертушка курицы (буквально).

⁴ Клоц кашэс (*идиш*) – дурацкие вопросы.

далеко не таким уж старым, более того, оно разгладилось и посветлело. Взглянув на притихшую Верочку, – как будто увидев ее впервые, он слабо улыбнулся, – какие хорошенькие барышни...

Входная дверь хлопнула, в дом, тяжело ступая, вошел Петро Повалюк. Он шумно дышал, разматывая кашне (не иначе как добрые люди в уши донесли). И правда, – не соврали. Мыльная пена на полу, сваленный в углу ворох тряпья.

– Это что за *смиття*¹, я спрашиваю, кто позволил? Это же сумасшедший, туберкулезный больной! Вы хотите заразу в доме? Илья Ефимыч, ну, я от вас не ожидал, ей богу, – вы же военный человек, зачем водить в дом всякую *гидоту*... – заверещал он на одной ноте, заведя сидящего за столом неожиданного гостя. И тут случилось то, чего никто не ожидал, – блаженный и светящийся чистотой Миша, поднял на Повалюка глаза (абсолютно осмысленные).

– Это тебя надо в милицию, сволочь. Я узнал тебя. Узнал.

Тело его, поджарое, костлявое, взметнулось навстречу внушительной фигуре Повалюка, но, ловко скрученное одним мощным захватом, жалко обвисло.

– *От же ж курва*, – почти добродушно усмехнулся Повалюк, отряхивая добротное пальто, отороченное бобровым воротником.

– Голова, у Миши голова болит, – Мишины глаза блуждали, пальцы с обломанными синими ногтями царапали клеенку.

Несмотря на рыдания Раисы, которая, сморкаясь, уверяла, что это какая-то ужасная ошибка, и нельзя верить первому встречному с улицы, – она даже вынесла медаль «за отвагу», утопающую в бархатной алой подушечке, и пригрозила, что сообщит в «органы», к которым Петро имеет, слава богу, некоторое отношение, – события разворачивались стремительно, и отнюдь не в пользу Повалюка.

Миша Отдай Калошу оказался не единственным свидетелем. У него не было документов, но нашлись люди, которые хорошо помнили его, человека без прописки и карточек, и эти самые люди признали в нем настройщика музыкальных инструментов, который скрывался в подвале желтого кирпичного дома вместе с двумя детьми, мальчиком и девочкой.

Память же самого Миши, столь избирательная, столь зыбкая, сгodiлась только лишь на то, чтобы соединить несколько западающих клавиш, восстановив тем самым законы гармонии, которая существует, вопреки всему.

ЗЕЛЕННЫЕ ЯБЛОКИ СЕЗАННА

Новеллы

Осколок

«Глянь, как зыркает. Я те позыркаю. Смотрит как волк. Нехристь». Таков был вердикт этих достойных женщин. Большая часть из них говорила на суржике, закалывала на затылке жидкую дулю, и все вместе они слились в одну полную на тяжёлых ногах, которая, кряхтя, моет полы,

¹ Смиття (*укр.*) – мусор.

говорит «дывысь», и не любит меня. Просто не любит. Почему-то не любит меня, ту, которую любят папа, мама и бабушка.

К сожалению, я не очень помню. Вдруг они всё-таки любили других детей. Но если бы это было так, наверняка я бы об этом помнила. Нет, не было никакой любви в мире унылых каш и тягучих киселей. Не было ее в баре с компотом из сухофруктов. Не было в толстом омлете, в жидком гороховом супе, в синеватом картофельном пюре.

Не было ее в глубоком бидоне, который волокли по коридору две хохочущие (не для меня) нянечки. Ни в тихом чаше, ни в мертвом свете зимних ламп, ни в новогоднем утренике, ни в молочных пенках, над которыми роняла я слезы неподдельного и неизбывного горя. Ну, откуда же было им знать, что у нехристи этой наверняка непереносимость лактозы! И было ли в их лексиконе слово такое – лактоза?

Пытаюсь вспомнить лица. Хотя бы одной. Нет, не было лиц. Круглые расплывающиеся блики, пятна, громоздкие силуэты. Отчего старуху Ивановну с первого этажа я помню в мельчайших подробностях, отчего помню горбатую Любочку из соседнего подъезда? Я даже помню её зятя и дылду дочь, и даже маленького несчастного Илюшечку помню.

Я помню стриженную под горшок девочку Валу, которая говорила «мясо», «дадишь», «веревка», я помню тяжёлую дверь подъезда, и как она открывалась (сопротивляясь холоду) зимой, и как ударял в грудь и лицо острый воздух.

Я помню тягучее слово «ангина», горло, обложенное плёнками, жжение горчичника под лопаткой, и этот густой ненавистный запах его (сквозь жар и бред). Пальцы нащупывают обезьянку Жаконю (о, сколько в Жаконе любви, с какой готовностью она, то есть он, прижимается ко мне), иди же сюда, мой маленький дружок, я расскажу тебе сказку. Рассаживаю полукругом кукол, читаю им книжки. Книжки-растрепки, – смеется папа, и в этом столько любви.

В комнату влывает малиновое облако, оно накрывает меня, вынуждая глотать, о, как больно и сладко, как горячо. Чьи-то руки взбивают, переворачивают подушку, вытаскивают градусник. Прохладная рука на пылающем лбу.

Я не пойду в садик? И в школу не пойду? Ни завтра, ни даже понедельник? Ведь ты не дашь им забрать меня, этим чужим людям из казённых домов со слепыми окошками?

Мама смеётся, качает головой, она разрешает мне оставаться в постели с Жаконей, сколько я захочу (в то зимнее зябкое утро), из кадра уходит тягостная повинность, и это безусловная любовь. Утешенная, распаренная, забываюсь, не выпуская маминой руки.

Помню осколок разбитой чашки и чувство непоправимого. Какое тяжёлое, давящее детское горе. Как теснит оно грудь, как жжет под ресницами.

Вечер. Бабушка наряжает меня в какие-то «гости». К каким-то ее (их с маминым отчимом) знакомым, в темные улицы, в душные комнаты, во что-то чужое и неприятное мне. Там накрытый темной скатертью стол, лица, которые я не помню, зудящие голоса и тяжкая, монотонная, непереносимая скука. Я даже готова идти в сад, лишь бы не ходить в эти «гости» к незнакомым вздыхающим людям. В тот вечер все темное, все ненужное, от глубокой тоски мне хочется громить и кромсать все вокруг, и я хватаю тупые ножницы и с наслаждением высверливаю дыру в нарядном и тесном платье.

Ах, сколько любви в солнечном свете! В виноградной лозе, опоясывающей синий балкон. Я купаю пупса, переворачиваю его так и этак, обертываю носовым платком, вытираю насухо. Не-

много важничая. Конечно, мой пупс точно такой, как у других девочек. Все точно такое. Ванночка, пупс, какие-то обрезки материи. Это целая жизнь. Огромная летняя жизнь.

Мне выносят стульчик на улицу, во двор, и я воображаю себя билетером. Как будто подъезд это кинотеатр. Я раздаю билеты. Люди смеются моей изобретательности. Кто-то хвалит, – какая сообразительная. Я важно нарезаю бумагу квадратиками и пишу на ней буквы. Это ваш билет, говорю. Пятый ряд, седьмое место.

Почтальонша смеётся, поблескивая металлом. Что-то беспокоит меня.

«Мама, у всех бывают железные зубы? Ведь это же так некрасиво!»

Впрочем, у многих встречаются золотые. Полный рот золота. В нашей семье ни у кого нет ни золотых зубов, ни железных, и это несколько утешает меня.

Вечер. Родителей нет, их так долго нет, что я ощущаю сквозняк. Сиротство. Особенно, когда бабушка пытается накормить меня булкой, размоченной в молоке. Если вы хотите сделать вашего ребенка абсолютно несчастным, накормите его тюрей.

Бабушка, сейчас (кричу я) такое не едят! Это старая еда! Это для старых! Для железных зубов!

Булка плавает в молоке, будто распухшее шестипалое чудовище. Я слышу, как тикают ходики, как одиноко тикают ходики, как надывается изношенный часовой механизм, приводящий в движение Вселенную.

Мирзолзайн, – говорит бабушка, и я забываюсь горьким и беспросветным сном. В этой соседней комнате (которая как другое государство со своими законами и порядками), живут другие сны. Они тяжёлые и душные... Стараюсь не думать про розовую челюсть (бабушкиного мужа), которая плавает в стакане с мутно-белесой водой. Сквозь прикрытые веки наблюдаю за бабушкой, – она бормочет, вздыхает, то сидя на стуле, то тяжело ступая по полу, переставляя, перекаладывая какие-то предметы. Это как долгий безутешный плач, как жалоба, которая останется безответной.

Одна надежда на утро. Я вернусь в наш светлый залитый солнцем мир, в котором книжки, растрёпанные журналы и ленты от бобинного магнитофона. Там нараспашку окна, там пахнет яичницей-глазуньей, там юные люди танцуют твист и ча-ча-ча, и почему-то смеются, глядя на стоящую в пижаме сонную меня.

Желтый свет

Разрозненные крупницы так и остались репликами, вырванными из контекста. Память то и дело подбрасывает щемящее, – не голые факты, нет, – скорее, ракурс, интонацию, – будто рентгеновский снимок на просвет с проступающими там и здесь подробностями.

Мне часто снится дом. Его запах, совершенно неповторимый, его неоткуда добыть сейчас, – кстати, я пробовала, стоя у ворот, перекрывающих дорогу к несуществующему дому. Замок, тяжёлая цепь на нем создавали некую иллюзию. А вдруг его всё-таки не снесли? Вдруг там, за чугунной оградой – остановившееся время? Те самые скошенные ступеньки (да, всего три, не больше), ведущие в длинный коридор (осторожно ступая красными ботиночками, заглядываю в его разверстый зев). Оттуда, в неясно расплывающемся свете проступают (будто прорывая пленку тьмы) лица. Тети Лизы (нежно семенящей своими крохотными ножками), всегда с повернутой к вам «джиокондовской» полуулыбкой (из боковой комнатки – целый мир с обилием деталей), – пронзает мысль – как умудрялись они разместиться на столь ничтожной площади – как помещалась в ней целая жизнь со всеми ее коллизиями, значимыми и не очень событиями, явлениями, предметами – статуэтка балерины, тяжёлые тома Брэма (вот я, забравшись с ногами на кушетку,

листаю один из них, предвкушая нескончаемое удовольствие).

Как умещалась в этой комнатке тетя Лиза (миниатюрная женщина с явным физическим недостатком – у нее был горб, правда, почти незаметный, не нарушающий гармонию ее образа), ещё можно понять. Но как умещался там дядя Даня – исполин с детской улыбкой и огромными добрыми руками?

Разыгрывающий скетчи (кушать подано, мамзель) в поварском колпаке, с глупой подобострастной улыбкой склоняющийся к ножкам юной мамзели, хохочущей взахлёб.

Откуда же мамзели было знать, что за целым спектаклем (застеленный белоснежной скатертью табурет, на нем чугунная сковорода с двумя яичными глазками, – божественность ритуала, его щемящая сквозь годы подробность, всплывающий в комнатку аромат глазуньи, явственность желтков) – за всем этим скрывалось тривиальное – накормить гостью, сотворить невозможное, выстроить мизансцену, сюжет, декорации.

Счастливая улыбка торжествующего Дани, небольшой поощрительный приз в виде согревающейся в детских ладонях фарфоровой статуэтки.

Вот и яичница съедена, и мякишем черного хлеба любовно подбирается быстро подсыхающая корочка, и вот уже блистающая чистотой и опустошенностью тарелка под звуки фанфар и рокот барабанных палочек уплывает на кухню, взрослые хитро посмеиваются над выполненной задачей, – дитя накормлено (существует ли что-либо важнее?).

Я помню жёлтый – нет, жОлтый, маслянистый горячий свет лампы, ревнивые переговоры за узкой белой дверцей, открывающейся, будто пенал, внутрь, – там бабушка Рива и дед Иосиф, мягко увещевая, требуют беглянку и отважную путешественницу обратно, в большую, тихую, наполненную молитвами и сверчением сверчков комнату.

Тетя Лиза и дядя Даня – всего только соседи, – импровизированный обед «на стороне» нарушает планы целого вечера.

Чувство бесконечности всего. Чаевничанья (подстаканники, синие блюдца, круглый стол) со сладкой коврижкой или штруделем, расстеленной постели (о, первозданность, похрустывающая свежесть пододеяльника, никто не заметит немых ног маленькой замарашки, никто не вырвет коржик из слипшихся пальцев). Но кто-то любовно погасит свет (задует свечу), подоткнув одеяло, поправив подушку.

Вот и книжка прочитана, поставлена на полку, и маленькая балерина, вращаясь на одной фарфоровой ножке, исполняет лучший свой танец, она танцует, освободившись, наконец, от тягостных дум, оторвавшись от кружевной салфетки и комода, ведь ее призвание – танец, а не унылое прозябание за толстыми пыльными томами.

Единственное произнесет дед Иосиф, прервав воцарившуюся (после объявленного тарелкой) тишину.

Тишторбн. Ничего более. Всего одно слово, в котором и масштаб произошедшего, и отношение, собственно, к нему. Тишина, воцарившаяся буквально на секунду, уступит место ежедневному ритуалу.

За круглым столом, склонив голову над книгой, сидит девочка в «немарком» темном платьице. Как сидит она (поджав ноги под себя, уронив голову на скрещенные руки, подперев ещё детский подбородок сжатым кулачком)? Задумывается ли она над значением этого слова, осознает ли значимость его для миллионов людей, застывших перед говорящей тарелкой?

Может ли предвидеть (как не мог бы никто из сидящих за этим столом в мартовский вечер 53-го года, что через какой-то десяток лет (перевернутая страница в книге, не более того), она ощутит внезапное недомогание, слабость и тошноту, и это окажется началом новой жизни, которая, осуществившись, передаст дальше те самые крупницы воспоминаний.

Старый дом, круглый стол, черная тарелка, висящая высоко, отходящий от нее провод. Лица, освещенные неярким «жОлтым» свечением янтарной лампы.

И это странное, тяжёлое, будто темное облако, нависшее над накрытым к ужину столом, слово.

Перестук серебряных ложек

В доме на Притисско-Никольской была печь с изразцами (цвета топленого молока), к ней хотелось прижиматься, вбирая медленное густое тепло, – помню себя стоящей у печи с прижатыми к ней ладонями.

Зима – это печь, и ровное, медленное тепло, чувство незыблемого равновесия. Что стояло за этим теплом? За видимым и ощутимым достатком, – не в виде припаркованных иномарок или дачи, вовсе нет, и не в виде дорогих тряпок и драгоценностей (не до того было).

Всего только тепло и вкусно, вкусно и тепло. Сладко, остро, горько.

Искусство выпечки коржей и маринования сельди, искусство меры и пропорции во всем, выверенности затрат и доходов – нет, ни в чем не было роскоши, чего-то вызывающего, но всякий, попадающий в этот дом, был накормлен, обласкан, спасён.

О вишнёвой наливке деда Иосифа слагались легенды. Это был прообраз хереса, – только гуще, слаще и прозрачней – почти маслянистая взвесь в хрустальном кубке, – процеженная в аккуратные миниатюрные стопочки, она разливалась целебным теплом, и весь остальной мир (за пределами этих стен) казался всего лишь уютным дополнением к основному блюду. Оно (блюдо) вливалось на вытянутых руках под восторженный выдох присутствующих. Перестук серебряных ложек, перезвон округлых бокалов. Витые вилочки для десерта, вкус вишнёвой косточки на языке, его благородная терпкость, его вязущая горечь.

Ковчег на улице Притисско-Никольской. О горе там не говорили, не смаковали, не выносили. Слишком непереносимым оно было, по всей видимости, чтобы упоминать его всуе.

В последний раз они встретили Семочку на вокзале в теплом и не бедствующем городе Баку. Там оказались маленькая Ляля и ее отец (застряли проездом). Прочие обитатели ковчега уже добрались до Северного Кавказа, а Иосиф с маленькой девочкой застряли (Ляля, рассказывая об этом событии, вспоминает жару, тяжёлую жару, что-то вкусное, купленное во время долгого ожидания, – возможно, это были румяные (с пылу с жару) бублики-симиты, густо усыпанные кунжутом, чуть подсоленные, хрустящие – праздник, событие во время долгого пути с бесконечными полустанками, скученностью людей, с подушками, набитыми лебяжьим пухом, одеялами, которые уходили быстро, – за буханку хлеба, щепоть муки, кубик масла, – детей в ковчеге том было немало, их нужно было донести).

Итак, бублик-симит в руках маленькой еврейской девочки, послушно сидящей на чемоданах (вокруг крики, гвалт, восточная кутерьма, суета, все тает, плывет от жары).

– Я помню, – папа побежал за мороженым, – мечтательно улыбаясь, вспоминает Ляля; тут же вижу эту полную предвкушения улыбку, отца, бегущего за брикетом мороженого, – в мареве лиц, теней, звуков...

И вдруг – Семочка. Лицо сияет, тоже на бегу. Их часть оказалась там. Случайность? Возможно, отец (дед Иосиф) узнал об этом каким-то образом, и совсем неслучайно оказался на вокзале в Баку.

Это была недолгая и последняя встреча. О чем говорили они (девочка, болтая ножками, ела мороженое), сын стоял напротив отца, отец не сводил с него глаз – как похудел (возмужал?), осунулся его мальчик, его ироничный веснушчатый мальчик, – ты ел? Хочешь пить? Мороженого?

Не знаю, как долго они стояли так на перроне, как расстались, кто уехал первым, – об этом не узнаю уже.

Ковчег, как я уже сказала, был полон. В город вот-вот должны были войти немцы. Страшные слухи ползли, в них не хотелось верить.

Дед Иосиф поверил сразу. Не знаю, колебался ли он, принимая решение. Не знаю, сколько думал – день? сутки? Трое?

Ехали всем кагалом. Дети, старики. Розочка кинулась Риве в ноги, – а места уже не было, все было впритык, – как же я останусь, как я одна (ее Иосиф уже был на фронте, и она мыкалась с мамой на руках в подвальной коммуналке с соседями).

Соседи увещевали, – куда ж вы, Роза, с малым дитем – разве выдержит ребенок тяготы дороги, холод, голод, – а тут мы, всегда рядом, все же – свои. Может, и свои, да не все, – смекнула Роза, укутывая ребенка потеплей, – тетя Паша может и не сдаст, а вот зять ее, провожающий тяжёлым взглядом – эх, хорошенькая какая жидовочка...

– Без Розочки я не уеду, – Рива, Ревекка, мягкая, добрая, уступчивая, но непреклонная в главном, – она знала, что ее слово окажется решающим. Подвода без них не двинется с места.

Место нашлось. Ковчег двинулся, отдаляясь от охваченного паникой города, – еще немного, и на окраине его начнут рыть глубокие рвы, – туда уйдут все, кто не смог выехать.

По субботам дед Иосиф молился. Пока мог, ходил в синагогу, до последнего ходил.

– Пойди, поздоровался с дедом Иосифом, – на цыпочках ступала я по половицам, выкрашенным коричневой краской, в смущении застывала на пороге.

Будто невидимая глазу грань отделяла меня от того, кто сидел за столом.

Помню луч света из-за прикрытой неплотно шторы, и мириады пляшущих пылинок, – словно кто-то щедро плеснул золотистой краской, и она растеклась по полу, по столу, накрытом праздничной скатертью. Дед Иосиф шевелил губами, водя пальцем по строкам, по непонятным буквам, таким непохожим на те, что я уже знала. Помню бледное гладко выбритое лицо, голову, покрытую круглой плоской шапочкой (тогда я не знала, что это называется – кипа), и шапочка эта смешная была неотделима от невидящего взгляда, блуждающего в неведомых мне мирах. Один глаз деда Иосифа был плотно прикрыт (последствия удара казацкой нагайкой в юности, он так и не открылся, этот глаз), второй – останавливался на мне, ребующей.

Как будто возвращаясь издалека, оживал – худая веснушчатая рука тянулась к моей голове, – жизнь побеждала таинственную строгую книгу, – аааа, какие гости! Какие гости к нам пришли! Какие нарядные взрослые барышни! Рива, что ты молчишь, ты посмотри на нее, на нашу *мейделе*...

Почти кино

Воздух сегодня точь-в-точь как тогда. Молекула к молекуле.

Как будто и я та же. В пальто нараспашку, с наэлектризованными после мытья (чем тогда мыли? Яичным шампунем? Да ну! Неужели яйцом? (Остороженько желтки отделяем от белков...)). Да, со вздыбленной, всегда несносной жёсткой шевелюрой, – мне никогда не удавалось выглядеть хотя бы прилично, в распахнутом (как я уже сказала) пальто, я жадно заглатывала сырой мартовский воздух, и, господи, главное было, никогда не догадаться что, – успеть снять рейтузы (до начала дискотеки) и затолкать их куда подальше, а там уже и море по колено). Какие же мы были гадкие утята, ужасно одетые, нелепые, во всей этой убогости, но каким многообещающим был этот самый воздух, какими манящими огни

Это время (самое загадочное), до начала всего, почти монохром, сплошная графика, ещё *земля безвидна и пуста*, а нестерпимая жажда (всего! скорее!) подталкивает в спину, придает ускорение.

Вы помните? Какие-то придуманные любви, страсти даже, вспыхивающие тут и там. Горькое отчаянье «невозвратности», взрослые беседы под окном.

Почти кино. Мужчина и женщина. Его руки под ее пальто, ее растрёпанные волосы, запрокинутое лицо, пульсирующая жилка на шее, смех, слезы, смятение.

Не отрываясь, смотрю на них. Пустая улица. Никого. И этот шепот, смех, это запретное «руки под». Как я горю. От невозможности, от беспросветности, от этой готовности, – вот так же, шептать, отталкивать, притягивать, не когда-нибудь (вот вырастешь), а сию минуту, сейчас.

Но, увы. На мне прошлогоднее пальто (это заметно по рукавам) и дурацкие рейтузы. На дискотеку я не пойду, и весь вечер буду истязать концертное пианино «Фингер».

Фира

Сидела на скамейке такая Фира. Ее было много. Есть женщины, которых всегда много. Во всех смыслах. Голос, фактура, блеск глаз. Фира была квадратная, широкая, приземистая как черепаха. Она была такая иудейская царица. Особенных, жарких кровей. На смуглом оливковом лице выделялись ассирийские глаза-угли. Бог мой, что это были за глаза! Они все пережили. Инквизицию, изгнание, пустыню, роскошь и нищету, страх, холод, гонения, погромы, черту оседлости, заброшенное кладбище в каком-нибудь Овруче или Бердичеве...

Они все пережили, все знали. Сколько в них было печального знания, сколько страсти! Единственного не было, – безучастия.

Такой уж она была человек. Где бы она не находилась, дома или на лавочке (дальше она не шла, страдая избыточным весом и одышкой), присутствие ее было деятельным, страстным, слышимым и видимым.

– Петечка, иди уже сюда, счастье мое, кися моя, рыбка! Ах ты охламон бесстыжий!

Грудь ее необъятная волновалась в предчувствии объятий, цепкие пухлые ручки так и стремились мять, гладить, шлёпать. Петечка, небесное создание, вырос на ее любвеобильной груди, в кругу этих цепких рук.

Подбрасывая его на коленях, она заливалась кудахтающим смехом, призывая в свидетели все человечество.

– Вы только посмотрите на этого принца! Мое ты золото, моя ты радость!

Петечка, задумчивый мальчик с лилейной кожей и такими же черносливыми глазами, как у бабушки, застыл с крохотным пальчиком во рту.

– На тебе ещё бабин палец! Что? Не хочешь? Не нравится бабин палец? Скажи: баба, БА-БА!

Она хохотала, сотрясаясь телом, и в груди ее хрипела целая фисгармония. Фира страдала хроническим бронхитом, грудной жабой, почечной и сердечной недостаточностью, щитовидкой, ноги имела тяжёлые, слоновьи, и, поднимаясь по лестнице, кряхтела, охала и причитала так, что вся улица замирала в суеверном ужасе. Дойдет или не дойдет?

Она с божьей помощью доходила, и теперь ее слышно было из распахнутого в летний двор окна. Можно только вообразить, что происходило на кухне! Там шкворчало, томилось, пригорало, тушилось, парилось и сохло, настаивалось и пахло. Доносился грохот, звон, причитания.

– ...а я ему сказала, а он...

На кухне Фира выясняла отношения со всем миром, а также с горячо любимым зятем и единственной дочерью, иудейской принцессой, которая, несомненно, достойна была лучшей партии, чем этот внешне ничем не примечательный, лысоватый, неказистый человек с портфелем, – вот сейчас он завернет за угол, и маленький Петечка побежит ему навстречу, и с разбегу уткнется в живот, в расставленные широко руки, – нет, всё-таки, такой зять это подарок, не гневи бога, Фира, у него не голова, а счётная машина, а сердце, что вы скажете за его сердце? Это же ангел, а не человек! И, слава богу, Петечка, – личиком в маму, не ребенок, а дар божий, нет, все чтоб не спазить, хорошо, но, согласитесь, с ее внешностью... У кого ещё видели вы такие стройные ноги,

высокие, округлые (точно финикийская чаша) бедра, а гордо очерченные губы с родинкой, а крылатый нос, а тяжёлые смольные кудри, а расходящиеся от переносицы брови, а миндалевидные глаза...

Фира знала, о чем она говорила. Дочь была ее копией, только улучшенной. Короткая талия, ноги, стремительно вырывающиеся из-под юбки, – ноги эти сводили с ума всю округу, девочку опасно было выпускать из дому. Но главное, конечно, было не в ногах, не в осанке, не в смуглых египетских ступнях, не в прохладной оливковой коже.

Запах. Волнующий, жаркий, густой, он вводил в искушение любого. Эти тяжёлые, с поволокой глаза источали обещание. Но стоило Злате открыть рот, как все становилось на места. Тембр был несколько разочаровывающий, интонации местечковые, с такой прелестной ленцией.

Злата, как и Фира, выучилась на бухгалтера, цифры хорошо уживались в ее восхитительной головке. Она была прилежной матерью и женой. Но до безудержного темперамента и тревожного обаяния Фиры ей было, пожалуй, далеко.

Но когда она, закусив губу, улыбалась, бог мой, все становилось неважным... Голос, тембр, интонации... Она несла с собой аромат пряной, насыщенной, нездешней жизни. Точно изысканный цветок, всем своим видом сообщала – радуйтесь мне, я здесь проездом, по случаю, ненадолго.

Беременная вторым ребенком, она внезапно расплелась, тем самым напомнив мать, но и это шло ей, и аромат становился ещё более густым, вязким, от подмышек ее шел жар, она вся будто прорисована была углем. Царица Вашти, Эстер, Ракель из испанской баллады, Маха одетая и Маха обнаженная, – покусывая губу, она говорила о каких-то тривиальных незапоминающихся вещах. Молокоотсос, импортное питание, ацидофильное молочко, пеленки, сервелат, хрустальное бра, финский унитаз, новый гарнитур, кажется, югославский.

История любой семьи это эпос. Долгий путь любящего сердца. Цепкость смуглых желтоватых рук, управляющих непостижимым чудом жизни. Молокоотсос, рыхлая полнота, базедова болезнь, фисгармония. Позвякивающие в авоське бутылочки детского питания. Длинное слово «Кулинария». Нежные ступни в разношенных босоножках. Новые туфли на каблук.

Они, конечно же, давным-давно уехали, страшно сказать, на другой конец света, увезя с собой подросткового Петечку, девочку-бэби, острый нездешний запах и старую Фиру, которая нигде дальше гастронома и рынка не бывала, но, наверняка, знала, что все в этой жизни предопределено, и старый двор с натянутыми бельевыми веревками, и разросшиеся каштаны, оплывающие в летнем зное, не навсегда.

Жажда

– Опять она, и ходит и ходит, будто ей медом намазано.

Головы на вытянутых шеях все, как одна, клонятся, разворачиваются в ее сторону. Лёгкий шелест – не ветерка даже, а так, дуновения, сквознячка – оттуда, из дальних времён, из окраинных, исподних жизней, набитых, будто гороховые стручки, десятками, сотнями судеб, событий, следствий и причин.

И там, в темных гулких шкафах, за надёжными дверьми и засовами, таятся стопки ненадеванного, неизжитого, чьи-то сложенные вчетверо квитанции, справки, удостоверения с фиолетовыми оттисками на них.

– И ходит и ходит, стрекочет и стрекочет, глаза, глянь, шальные, пьяные, будто под гипнозом.

– Так гипноз и есть, самый что ни на есть гипноз. Глянь, как бежит, будто на верёвке кто тянет. Эх, добегаются девчонка, допрыгаются, – сколько уж таких бегало...

И все мимо.

Сколько себя помнила, всегда, задыхаясь. Черт его знает, воздуху, что ли, не хватало. Что-то огромное распирало грудь, рвалось наружу. Названия этому не было. Не было определения. Ну да, определения, они ведь снаружи даются, другими.

У этих, на лавочках, свое. В поле их зрения она, бегущая от трамвайной остановки (невидимая им часть пути, – сам, собственно, трамвай, идущий издалека...).

В поле их зрения только она, идущая торопливо по бетонной пролегающей между пятиэтажками дорожке, – ничего до, ничего после.

Бежит, опять. Чужая, не наша. Точно арабка, брови чоорные, глазищами сверкает, – сверк-сверк.

Последнее ударяет в спину, исчезающую в подъезде. Либо же показалось. На минуту оказавшись в поле ее рассеянного взгляда, силуэты (вместе с лавочками) уходят со сцены. Вместе с догорающим августовским светилом. Это сейчас она провожает его глазами, это угасание дня, нежится в его лучах, предчувствуя долгую, полную лишений зиму. Его ещё много будет, солнца этого. До отвращения. Непереносимого, обесцвечивающего, обесценивающего все.

Ну да, лифт не работает. Ерунда. Сколько там бежать. Всего пять пролетов, мимо смердящих мусоросборников, вдоль тускло-зеленых стен. Сейчас в поле зрения – босоножки, припорошенные пылью пальцы ног, круглые загорелые колени, точно поршни, – вверх-вниз, и куда, собственно, торопиться ей, когда все заключено внутри ее тела, – стремительного, ясно очерченного, со всей заключённой в нем жаждой, тоской, энергией.

Но она, тем не менее, торопится. Потом, уже издалека, будто в линзах театрального бинокля, она увидит эту часть собственной жизни, – и часть эта окажется столь короткой, столь ничтожной, если говорить о протяженности ее.

Каких-то несколько встреч. Куда больше (по времени) занимает дорога на трамвае, подхлестывающее нетерпение, – ну, сколько можно трястись в этом убогом тарантасе, когда жизнь несётся столь стремительно, столь жадно, – когда ток ее крови толкает себя самое, подчиняясь вполне объяснимым (с тривиальной точки зрения) законам. Но ведь, на самом деле, удивительным, лунным, космическим. Будто стрела, выпущенная в цель, – она летит, обходя и преодолевая препятствия, подчиняя все и вся этой самой цели.

Неважно, что позже, много позже, цель, оставаясь позади, оставляла после себя сгусток либо лёгкую тень воспоминаний. Любые попытки оживить, реанимировать эту жажду «по памяти» терпели поражение.

В последний раз они встретились при других обстоятельствах, уже изменивших их. Ее, идущую упругой походкой по жаркой полуденной улице (под пальмами, вдоль серых невыразительных домишек). Его, сидящего в салоне нового автомобиля.

Их встреча была спланированной, казалось бы, после долгого перерыва (судьбоносного, конечно же), она должна была быть яркой, запоминающейся, эмоциональной.

Но в эти полгода та самая центростремительная сила, которая привела ее сюда, произвела значительное разрушение и опустошение в ней самой. Ничто не прошло даром. Ни долгая разлука, ни перемещение (вместе со всем, что составляло ее жизнь) в пыльный ближневосточный городок, в заброшенный дом на окраине. Новая жизнь изменила ее гораздо более, чем она могла предположить. Нужно было прикрепиться к этой самой жизни, а значит, стать другой, и эта женщина, идущая вдоль шоссе, – внешне уверенная в себе, на самом деле – испытывавшая обрыв пуповины, отчуждение, отчаянье, несовместимое с выживанием (той, прежней) – но все же, вопреки всему, выжившая, живущая, более того, внешне – даже лучше прежней, ярче, очерченной, – совсем не ровня той, задыхающейся от нетерпения, бегущей вдоль трамвайной линии, взлетающей на пятый этаж.

Ток крови не то чтобы замедлился. Он изменил траекторию. Жажда никуда не ушла. Она, подчиняемая (как и тогда), внезапно обозначенной, где-то там, за поворотом, целью, неслась, будто одержимая, лишь краем глаза успевая отметить чуждое поле стремительно отодвигающейся и проносимой мимо жизни. Какие-то силуэты, тени, обстоятельства. Всякий раз иные. Сорок шестой автобус, медленно ползущий (через весь город) в далёкий Бат-Ям. Араб, сидящий неподалеку от автобусной остановки. Его пустынные глаза, отороченные густыми девичьими ресницами,

проникают сквозь все преграды. Сквозь все слои, цивилизационные, социальные, межличностные, межвидовые.

Она успевает отпрянуть, не выдержав чужого пустынного взгляда. Этот взгляд, лишенный какого-то понятного подтекста, в избытке наделён иным, пугающе конкретным. Холодной силой и цепкостью. Глаза следуют за отъезжающим автобусом, и внезапное это вторжение кажется ей знаком.

Лишённая привычных суеверий, она все же привержена каким-то собственным (не обманывающим в наивысшем) ощущениям. Которые здесь, на новом месте, претерпевают некую трансформацию, тем самым обнажая ее суть. Обнаруживая – слой за слоем – наносного, из прошлых жизней (придет серенький волчок), ненужных знаний и умений, ее собственное, холодное (и горячее в то же время) пустынное, безудержное, – настоящее.

Возможно, все эти цели, за которыми, задыхаясь, следовала она, только для этого. Ради этого взгляда, вторжения из-за пыльной занавески, – случайного взгляда сидящего на корточках человека.

Он был неуловим, вездесущ. Принимал различные образы, формы. Назывался различными именами. Например, этот, низкорослый таймани (йеменский еврей) в вязаной белой тубетейке. Взгляд будто лезвие, горячее, испаряющее любые условности. Выхватывающий из десятка идущих мимо, безошибочно определяя цыганскую (пугающую ее самое) суть.

Будто, соприкасаясь взглядом, он успевал (за некую условную единицу времени) прожить, перебыть с ней – в каких-то иных временных потоках и пространствах – долгую жизнь.

Та самая жажда, узнаваемая, определяемая в другом. Та самая жажда, уводящая от привычного, насыщенного, внешне безопасного, обустроенного, от книжных представлений и формальностей, – в мир жестокого подчинения и горького, изматывающего, единственно верного (потом, уже восстановленным рассудком принимаемого за ошибочное, конечно же) – путешествия.

И все же, однажды испытанная, она не умерла окончательно. Будто стая аквариумных рыбок силится проникнуть сквозь толстое стекло аквариума. Либо ты сам, с любопытством наблюдающий таинственное свечение в толще вод.

Иногда мы встречаемся глазами, припоминая что-то. Пустынное, волчье, звериное. Но, разделенные толстым стеклом, ведомые целью (каждый – своей), отталкиваемся, плывём.

Зелёные яблоки Сезанна

Порой, направляясь к парку, я встречаю его, идущего от метро. В одной руке дипломат, в другой – пачка с новыми книгами. Лицо его светится каким-то особенным удовольствием. Предвкушением.

Он воодушевлен покупкой, ему не терпится поделиться радостью. Листаю, торопливо пробегая глазами названия глав. Философия – это далекая планета, на которой происходят удивительные явления, – там старик Платон, похожий на господина бога с картинок Жана Эффеля, о чем-то спорит с Аристотелем, а старина Фейербах, по-своему приобщив Гегеля, удаляется по выложенной серыми плитами дорожке парка.

В несчастной моей голове не умещается обилие определений. Относительность всего повергает в ступор.

«Если взять предмет с этой стороны, а потом взглянуть с той...»

Ну, ясное дело, – один и тот же предмет можно рассматривать с разных сторон, и всякий раз это будет новый предмет, наделённый новыми характеристиками. Зеленые яблоки Сезанна,

вытянутые женщины-амфоры Модильяни, их поющие шеи, их плавные бедра, их нежные лица, уязвимость, расплывчатость, узнаваемость черт... Это совсем не те яблоки, которые лежали на столе или в корзине, и даже не те, которые усыпали влажную от дождя землю. И совсем не те женщины, которые обладали тривиальными характеристиками – возраст, пол, вес, размер ноги, политические убеждения или отсутствие таковых, – женщины Модильяни – это некое слитое во едино женское начало, но без греховной, дьявольской составляющей – это, если хотите, молитва или мантра, обращённая к Создателю, это исполненный глубинной благодарности гимн, воспевающий хрупкость запястий, изящество лодыжек, медлительную мощь бедер, но не это даже, а некую спрятанную (точно жемчужина в перламутровой раковине) тайну, которая обитает внутри, но именно от нее свет и упоительная нежность бытия, – совсем не то женщины Пикассо! Вот где торжество демонического, вот где сардоническая усмешка из-за кулис.

О чем это я? О философии, конечно, об относительности любого явления, предмета, его нахождения в провозглашенной системе координат.

Время, говорил Платон, есть подвижный образ вечности, а вечность есть неподвижный образ времени.

Аристотель же считал время каким-то «движением и изменением».

Находиться во времени для движущегося или покоящегося предмета у Аристотеля означает, что движение или покой этого предмета измеряются. Поскольку же измерять может лишь душа, то и время в собственном смысле слова может быть лишь там, где есть душа. Если рассуждать формально и безотносительно, то, по Аристотелю, время есть число движения, или его мера, его порядок.

Душа, закреплённая в образе (либо же воссозданная им?), пригвожденная к полотну, оставила время? Женщины Модильяни и Пикассо существуют вопреки всем физическим законам.

В мире импрессионизма отобразился и застыл целый мир, казалось бы, давно ушедший в небытие. Вот Париж Вламинка, вот Париж Шагала, вот дух местечка, неведомо каким образом просочившись из глухой провинции в центр мира, раскрывается, подобно библейскому цветку, – здесь нет нищеты и скудности, нет тоски и косности, нет боли и страха, – вознесясь над крышами, пряят в воздухе агнцы, девы и отроки, там Бузя и Шимек, взявшись за руки, взлетают над оврагом, рекой, погостом, над еврейскими могилами, покосившимися домишками, распахнутыми окнами, из которых, подобный первому снегу, разносится по воздуху лебяжий пух.

«...ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара агнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных; два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями»¹.

О чем это я. О философии. Об относительности определений. О застывших догмах и изменчивости материи, о яблоках Сезанна и мыслеформах Матисса. Матисс раскладывал мир на формы и цвета. Утрилло видел его подробно прорисованным, нанесенным тончайшей кистью, – тающим в городской сиреневой дымке, ему и невдомёк было, что в лавке через дорогу висят распятые освежаванные туши. Их видел Хаим Сутин. Мир освежаванных туш, опровергающих (и подтверждающих одновременно) существование жизни. Вот она, конечная станция. Торжество разложения. Как знать. Предчувствие неминуемой катастрофы либо воспоминание о ней. Бесстрашие отчаянья. Он там был, он это видел. Так Катастрофа, поселяясь внутри, завоевывает право на существование, вытесняя весь остальной мир, – подробную графику улочек, каллиграфию проводов, вокзалов, тусклый свет кофеен. Здесь нет смутной нежности, переполняющей сердце, здесь не

¹ Фрагмент из «Песни Песней».

звучит слово из «Песни Песней». Здесь шпалы, расходясь, доставляют в пункт назначения, здесь маленький человек, объятый нечеловеческим ужасом, бежит, понукаемый сворой человекоподобных.

«...когда бежал он от Авшалома, сына своего. Г-споди, как многочисленны враги мои, многочисленны поднявшиеся на меня! Многие говорят о душе моей: нет спасения ему в Б-ге! Сэла! А Ты, Г-споди, щит для меня, слава моя, и возносишь голову мою. Голосом своим к Г-споду взываю, и ответил Он мне с горы святой Своей. Сэла! Я лежу и засыпаю, пробуждаюсь, потому что Г-сподь поддерживает меня. Не боюсь я десятков тысяч народа, которые находятся вокруг меня. Встань, Г-споди, помоги мне, Б-г мой, ибо Ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивым расшиб Ты. У Г-спода спасение! (Да будет) на народе Твоем – благословение Твое! Сэла!»¹.

Знаешь, вчера я наткнулась на целый мир, который ты собирал годами – по кирпичику, по атому, – Конфуций, Плутарх, Кант, Бодрийяр.

Мысль запечатленная наполняет смыслом, но изнуряет плоть.

Вокруг меня больше зелёных яблок, больше влаги и жара, в моем мире уголь, соперничая с сангиной, воссоздаёт счастливые формы жизни, в которых удивительным образом уживаются хаос и порядок, свет и мрак. Цвет и форма, опережая друг друга, поведает об относительности и изменчивости, об общем и частном, о целом и подробном, о гармонии и диссонансе, о перспективе, покоряющей пространство, о ритме, идущем вровень со временем.

Зелёные яблоки Сезанна окажутся важнее исписанных мудрецами томов, и ты об этом знал, понимая меня (как никто другой) и все же тешил себя надеждой...

Что однажды, вытирая пыль и перебирая тяжёлые тома, я встречу с тобой, неторопливо идущим по тропинке. В одной руке дипломат. В другой – связка нераспечатанных книг. В глазах – предчувствие встречи.

¹ Фрагмент из псалмов Давида.

Андрей ТАВРОВ

Из цикла «ПРОЩАНИЕ С КЬЕРКЕГОРОМ: ВАРИАНТ ЕДИНИЦЫ»

Уточнение

Цикл стихотворений «Прощание с Кьеркегором: вариант единицы» построен таким образом, что стихи, относящиеся к жизни и идеям великого философа-экзистенциалиста Сёрена Кьеркегора, перемежаются речитативами, соотнесёнными с его знаменитой книгой «Страх и трепет», переведённой на русский Наташей Исаевой и обращённой к евангельскому сюжету жертвоприношения Авраамом сына Исаака.

Отмечу, что речитативы читаются снизу вверх и слева направо, продолжая авторскую практику «Шестистиший» («Обратных композиций»), стихотворений, построенных на подобие китайских гексаграмм из книги Ицзин, состоящих из шести уровней каждая и считывающихся снизу вверх.

Стихи цикла в ряде случаев затруднены непривычными в русской просодии размерами, это отчасти ямбы и хорей, превышающие свой обычный шестистопный максимум; поэтика стихов неяркая, сбивчивая, порой на грани косноязычия, возможно, невольно ориентирующаяся на высказывание Василия Великого: «О Боге мы можем только лепетать». Весь цикл рассчитан на внутреннее исполнение и составляет Единицу текста.

Ландшафт

И роща и кричит скачи сюда
серебрян воздух с заячьей губой
на одноногом мерине слюда
и он летит убитой головой

бескрылых галок низкие сады
и эхо ширится о четырёх руках
сдвигая дерево с поверхности воды
и удлинняя выстрелы в лугах

монах считает чётки, наверху
убитый человек уходит в синь
глаза его в снегу
вокруг него горит бензин

Андрей Тавров родился в Ростове-на-Дону в 1948 году. Окончил филологический факультет МГУ по отделению русской филологии в 1971 году. Автор более 20 книг стихов и прозы, публикаций в журналах («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Воздух», «Урал», «Арион», «Новая Юность» и др.), участвовал в ряде поэтических антологий. Лауреат большой премии «Московский наблюдатель» (2017), премии Андрея Белого (2019). В «Волге» публикуется с 2015 года.

а бабочка бездонная летит
и вывернута в бытие без дна,
вещей не трогая, их бездной шевелит,
ты знать не можешь где она

один у рыцаря бессмертный глаз
и смерть впадает в море за плечом
Христос упал с бревном в последний раз
и смотрит на тебя твоим лицом

кот голову свою несёт как снег
охотник деве сердце прострелил
и замерзает лёд, и человек
заряженным ружьём стоит белей белил

Сначала человек

Сначала человек – недочеловек, потом впадает в эрос, эстетическая стадия, потом берёт на себя ответственность за будущее, стадия этики, и третья – религиозная, где он утыкается в невозможное и в абсурд,

а господин Кьеркегор ходит по островам, смотрит на чаек, охватывает
себя грудью чтоб не разлететься в стороны
исписывает тонны бумаги наводит размытое христианство на резкость
ах небес без пыжей нарезка
ах облаков драния (сменить-сменить!) занавеска

вот стоит господин не раскрыв зонта
похож на птицу без рта
взъерошен перо из бока торчит
на сердце ужас, в губах горчит

когда так стоишь в страхе как в дожде а всё думаешь о нежном дуновении зефире
пробирающемся под корсажи
и как колышась юбками девицы
идут против ветра с моря окутанные грацией, а Бог
говорит убей ради меня фрекен Ольстер или
себя убей ибо кто вынесет голос вечности, будучи фрагментом с зонтом среди луж
тёмная лужа с
кругами от капель
и стоит в тебе одноногий ужас
как стая цапель
на длинной ноге, выпуклых, надувных
среди влажных губных
булькающих,
так стоишь у лужи, белым зонтом растёшь
выше выше и уже, на прежнего не похож
нашупываешь в сердце нож

а ты есть белый нераскрытый зонт
стоящий на попа посередине Бога

хоть это больно а кричит другой
за каналом-рекой
падая в лужу в ангельском хороводе
взмахнув рукой

господин Кьеркегор состоящий из линз мокрых губ и носа идёт домой на Ниторв,
29 всхлипывая от бесконечности приводящей любую форму к нулю
идёт
единственный
единичный

У чаек сбоку виден один глаз
Звериного хихиканья у зверей не бывает
Белый, отвисает со шрамом живот проститутки

Конь

На дальних звуках звуковых
у эллипса из сжатой точки
идёшь на мышцах беговых
своей дистанции источник

пуская мускул на разрыв
ты в бег как в озеро заходишь
не всколыхнёшь и не закроешь
его недвижные костры

ты вложен в луч патроном роц
размножен цинковым ознобом
ты имя чащ, стеклянных круч
ты вышел к световым основам

недостижимый, словно центр
второй в тебе утратил эллипс –
ты в небо вытянут не целясь
будто разбитой лампы свет

и центр обгонит центр в тебе
и вывернутым станешь светом
себя найдя, себе неведом
играя слово на трубе.

...

> **Третий речитатив**

с ослом, а я и сын пойдем туда и
ам отрокам своим: останьтесь вы здесь
дел то место издалека, и сказал Авра
день Авраам возвел очи свои, и уви
о котором сказал ему Бог. На третий
всесожжения. И встав пошел на место

Единорог

Пароход с высокой трубой
плывёт по реке а Сёрен смотрит
из трубы дым и фигуры
а Сёрен смотрит

Я хочу видеть правду думает Сёрен
не все эти призраки и коды
а правду как она есть

На корме парохода барышня в голубом платье
гарь из трубы её обходит

просто Правду, одну на всех – на кошку
на дельфина и на торговца рыбой

∞ ∞ ∞

треугольник квадрат шар

ни утверждений ни слов только
серую прекрасную истину

не усидеть на раскладном стульчике
шар сфера никарагуа
тишина бьёт точнее пули

.....

отхожее место

К Сёрену подходит единорог
кладёт голову ему на колени
как девушке
говорит тишина и молчит
как умеет
всем собой
витой его рог – внутренняя форма слова
ввинченная в тишь слышно
падение листа в сердце Сёрена

мой зверь

плывёт пароход с трубой
шар завитушка улитка

Сёрен пронизан правдой
Ангелом чист Иаков
не сливаясь проигрывая
небу листу единорогу

меж пароходом и Сёреном 1 миля и 3 дюйма
меж единорогом и Сёреном 1,5 фута
меж правдой и миром поёт птичка

николаю больно и наталье страшно

под горбом на спине беснуется
плюётся гребное колесо
в пене выезжая в звёздный ковш

и пароход плывёт и дышит дымом,
загадочным, неистребимым

> Четвёртый речитатив

под ножом отражающим нас
стекла это мы лежим шарики
крови все мы шарики из
дом из них хоть из плоти и
из стекла в Исааке и он в каж
трое суток с Исааком шарики

Двое

Он стоит одной ногой на черепахе, а другой
он стоит на пристани, на тверди, на волне
и играет в небо искривлённую трубой,
весь в сполóхах, жгучих искрах и в огне.

Вот плывёт к нему ставридою левиафан,
а на нём шарманщик крутит музыку любви,
в небеса бьёт страшный апокалипсис-фонтан,
в море плавают, сгорая, лебеди и корабли.

На печной трубе сидит скрипач, летает в небе скрипка –
одиноким девочкой по воздуху летит
струны из груди поют и гул от рынка
звуковые коридоры шевелит

Он летит её отсутствие обняв как воздух
где исчезло тело в Геркулануме сгорев,
в нишу от неё совпав ложится гол и розов
как в футляр от контрабаса сжатый лев.

А она в его воздушную ложится нишу
совпадая гибким телом гимназистки –
над левиафаном двое перевитые парят
и друг в друге светом несгораемым горят

из пустот мы состоим со вложенным другим
и в другого вложены живою пустотой
мы ли дышим бережно и медленно храним
этот шар воздушный с тихой арией двойной

А прибор внизу свистит как крысолов
ты в улитку заходя вернёшься с головой
Минотавра, полной тёмных роз и сокровенных слов
и уснёшь на берегу, убитый и живой.

Обморок свободы

В стеклянных шариках и улица, и порт
и конь с извозчиком, что спит с погасшей трубкой,
чуть тронь – посыплется и не произойдёт
ни шпилья кирпичи, ни девицы хрупкой.

Не тронь, не прикоснись, не выдохни, замри,
заденешь – брызнет, рухнет, побежит
и сад, и площадь, дом и фонари,
ничто себе здесь не принадлежит –

лишь шарики с твоим лицом внутри,
пакгауз с доком, с пароходной трубой –
все бусинки, все нолики, нули
и не понять, кто ходит в них живой.

Что держит их, рисующих вокруг
театр и мачты, дом, подъезд, окно
(иди и не заметь), рисующих старух
и дворника, и флаг, и музыканта, но

вглядись в один из них, в стеклянный шар

в попытке рассмотреть скривлённое чело
и различить начало всех начал –
себя и ничего, её и ничего.

Средь Исаака с Авраамом

Средь Исаака с Авраамом – что за тишь!
как будто из груди достали полый шар
и весь раздали людям и животным

летит меж фонарей аэроплан
и губы догоняют слово
взлетевшее над Авраамом как голубка Ноя
что смотрит на него глазами человека
который вышел из себя будто из гроба
и говорит: Спасенье!

Тишина
плывёт по скатам крыш и по садам
по пирсу по ступенькам по следам
людей что здесь прошли по тёмным паркам
по ярким свечкам и по их огаркам
в ушке иголки тишь, стоит в зенице ока
у колоннады липы у порога

Тишь там, где Исаак и Авраам.
Там, где они, там тишина до звона
в ушах, в тиши летит к луне ворона,
в исподнем женщина бежит, и рот открыт
безмолвный Эвр ей кудри шевелит,
и Исаак молчит, и Авраам,
и раковина и пустынный храм –

так в мире начиналось слово правды,
как эллипс выступившее наружу первым центром
и скрытое вторым потусторонним
и циркуль в пальцах Ангела сверкал
и Сёрен Кьеркегор челом горел как лампой
и парком шёл огню и птице равный
и в суть кричал и пел и проникал

Снигирь

Снигирь, расплущись по лучу
проговори мне свет
себя тобой я научу
бросать снежок вослед

вослед себя брось ал снежок

рукой спины поймай
раздвинься в луч, сожмись в висок
зайди себя за край

длиннее света птичий шар
а речь его Катулл
в сердечный дюйм прошёл пожар
и уголь в слог раздул

И речь и свет другого нет
другого не хочу
в снегу снигирь и в лампе свет
и снег колюч лучу

Из сердца выпорхнет снигирь
а из груди Катулл
и грудью важничать пойдут
читать стихи начнут

И лодка без весла плывёт
в ней все, кто был убит
и свечка тихо на корме
Державиным горит

Сёрен видит

Вот лев идёт и в нём Христос как колба с тишиной
вот раковиную головы ползёт по золотой доске улитка
в ней он живёт, вот камень, что лежит и дышит, он живой
в нём космос со звездой дрожит пронзив его как нитка

кольцо живое головы – оно качается в просторе
и аура с эфиром скрыты там под ношеным пальто седого человека –
там птица сильная летит там плещет звуком море
они другие тут, они, что были до времён и до пространств от века

вот богочеловек и боговолк и богомотылёк
все соединены в себя и в Бога с его разбитой бедной головой
светящей миру вывернутым светом в потолок
что полом стал им в комнате живой

без стен их тело, все они раздвинуты и плыли
был богоаист больше всей безмерности полей
и проплывал в ушко иголки он верблюдом головы своей
и в нём планеты с солнцем шли и как дитя парили

А рана каждая Христа – им строила миры
в том доме, что стенами смотрит внутрь как будто бы глазами
и крови брызги линзой мир вращали вверх ногами

и колба с тишиной стояла на столе в любом жилище

два круга тут живут – один глухой подручный и немедлен
другой как будто пели рыбы ангелы и брёвна изб
старуха там стоит в пальто одетою кометой
им подпевая как оси земной сердечный гармонист

а он идёт, избит, оплёван и изодран,
и тишь плывёт в аэропортах рыбой,
один на всех живых, всех тел их нераздельный орган,
в дожде стучащий световой грудною глыбой,

а в городе вообще шёл человек вообще
с руками как цветок в поношенном плаще
и слушал шум дождя и нюхал свой цветок
до кости он прозрел до сердца он промок

...

> Шестой речитатив

режешь ей красное грудное горло
пока ты под взглядом Бога
впрыгнула овечка и смотрит на тебя
смотришь на сына в грудь которого
и сам ты ушёл и разорвав себе сердце
есть камень из которого время ушло

Парки

В глотке у льва горацанские строфы
снег над бронзовыми крыльями забирает вкось
у подстреленной антилопы
перемигнула земная ось

Раз, два, три, ты стоишь в парке ничего не вешишь
четыре-пять, единица без болтовни большинства
с каким ангелом сражается в море крейсер,
выдерживая, один, абсолютный взгляд абсолютного божества

ты стоишь в парке где дверь затворила Лика
где Эвноя прятала губы на дно колодца
четырёхгуб и лоскутен помесь судьбы и крика
слышишь как бьётся оно, оно всё ещё бьётся.

Города взаимозаменяемы в отличие от человека
Гораций ловит снежинку в стакан с вином
лицо светло от упавшего утром снега

как будто умылся и вытерся белым льном

Дыхание затруднённой когда больше свободы и Бога
когда между снежинок мертвеющим ртом
гудишь эгейской раковиной не выговаривая ненужного слога
тишина – это в горло ушедший за словом гром.

Ничего нет, кроме тебя, и тебя нет тоже
прежнего, вещи вокруг – только клыки и нимбы,
ты идёшь и стучишь тростью по прутьям ограды,
боже, уйми мой вопль, боже, уйми мой вопль!

Дева наденет сегодня плащ – в снегу белокурые косы
не замочи, я один на мёрзлом пороге стою

Философия начинается с отчаяния.
Человек, как и Бог, начинается ни с чего.
Сёрен спустится в порт, пройдёт по Стрёгет,
зайдёт в королевский парк,
никого не видит сквозь призмы очков, его шелестит чело.

Бродячий музыкант играет на тростниковой флейте,
экзистировать – значит боль и ночной фонарь,
вычитающий из себя всё остальное,
а ты всё ещё жив и смотришь на него из окна,
а он на тебя, непереволим, драгоценен.

Пароход и цветок путешествуют себя внутрь
тысячи миль, утончаясь формой в запахах фиалки,
проходят тысячу запудренных светом утр,
достигая себя, как безрукий щелчка зажигалки.

Внутренний горизонт отодвигается,
цветок становится всем,
бог из него глядит – на себя в тебе,
пароход выступает трубой из воздушных вен,
единое слово расширяется в ауре и тепле.

Нет конца человеку в форме без форм,
трубит первому снегу серебряный горн,
ты – это любовь с радиусом больше предела
суммы галактик, с которых сова улетела,
человек ходит без тела.

Сёрен входит в самого себя, непостижим, –
в чистый свет, в неартикулируемое слово,
в пространство начал, как оно, в ничто раздвижим,

в без бытия бытие, во всё без всего остального.

Как же смотрят они теперь – парк и забор,
снег из россии, посеребрённые крыши и лица,
белый агнец снежинок,
 застрявший в ветвях с этих пор,
Библии на «Бытии» заложенная страница!

Эрос Эстергаде

Кто такой человек голубая накидка
белый капор навывлет такой человек
белой ножкой прыгаешь из кареты
кто такой человек кто с тобой мы такие

отчего собирается страх по коленным
чашечкам, в чéрепа чаше и в чаше бум-бум
сердца ужасного в кубе каретном
никнет пустующий Сёрена-ласточки ум.

Куб опустел как ладони без бабочки
как бассейн откуда ушла на колёсах вода
и остались от голого плоские тапочки
кто такой человек где его города?

меж собой и собой Сёрен ходит в Регине
меж губой и губой стеклянит своё слово
выступает из девы холмами грудí
когда дышит она головами обоих

в шар Платона сомкнулись лепестками из губ
замыкаясь в гудящую розу с пчелой
мальчик-ужас гуляет в органе без труб
кукла телом торгует и белым челом

вот сотри две черты кто такой человек
жаркой свастики – нижнюю и наверху
глянет символ соитья его силомер
вертикальный платон на двоих на ветру

я себя разбивал на хрусталь и кремь
на путь вправо и белой охапкой цветов
я лежал Исаак, белый словно ремень –
под ножом миру кожный дрожащий покров

я был устрице верх перламутровый створ
ты же впадина – часть без себя
посредине – Пьеро, удвоения вор

нас слипая сминая слепя

куб кареты пустой Эстергаде поёт
и костёр на валу вверх корнями как зуб
запредельного неба растёт и полёт
вяжет ангел в груди молодой

Стекло бегемота

I

стеклянная сфера невыносима
свирипее льва, богам одолеть её невозможно
радиусы не сравнить –
ускользают в другой

2

сёрен замечает, выйдя из осеннего сквера,
что он – сфера
с пристанью, складами, цейхгаузами, парками, девушками, стеклянными
лягушками, падающими листьями, сердцебиением, ежедневным отчаянием

«я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне»,
и он объясняет, вглядывается молча в свою
стеклянную сферу

он ищет меру
на земле человекам

и путешествует в следующую сферу себя с меньшим радиусом, в котором
парк и брусчатка, оперная ария и скрип клёна, возможно,
ангел и дальше –
он в меньшей сфере, и дальше в ещё меньшей, и нет им конца,
прозрачные, вложены одна в другую

год за годом он уменьшался летели листья пахло смолой

акции падали звери в зоопарках забыли свои имена пластик заполнил океаны
самолёты не узнавали своих пастухов

пространство на манер матрёшки он словно летел в пустоту
расправив худые руки
открыв рот с большими зубами

шары уменьшались конца им не было

но из-за парка вышел парк
как карту сдвинули с другой
А из-за шпильки вышел шпиль

А из-за продавца крабов – продавец крабов
А из-за Сёрена Обю вышел иной Сёрен Обю

в скрипках осени по скверу с фонтаном
он танцует вальс
в самом последнем кружась меньшим ногтя и даже молекулы
в скрипках осени в ничто он танцует вальс с Региной Ольсен

в этом месте нет ничего или говоря по-другому есть всё
кроме обмана
обратная кровь в висках и свобода

«вот бегемот которого Я создал, как и тебя,
вот сила в чреслах его и крепость»

нельзя пойти дальше ничто

думает Сёрен но ждёт
появления Абсурда

тем временем
в последней сфере тонет парусник
с 12 матросами и грузом льна на борту

Мячи

Мечи в меня мячи, Эвной,
из их воздушных коридоров
наделают боги новых сирен и эльфов
я же сложу их в один объём невесомый

вложу в тебя двойника твоего же
и утеряешь ты вес и злой норов и все капризы
будем лететь обнявшись в прозрачный воздух
как трепетные листья клёнов в осенних парках

Опадают они среди фонтанов и статуй,
но мы отныне летим вечной весной несомы –
в сердце времён время недвижно
и струя фонтана застыла

> Седьмой речитатив

ственного твоего для Меня
Бога и не пожалел сына твоего един
теперь я знаю что боишься ты
не поднимай руки своей на отрока
нему с неба и сказал: Авраам! Авраам!

Но ангел господень воззвал к

Синица

когда осколком колокол
выходит из себя, танцуя танго
не наступая на подол
я чувствую как будто я синица
в груди моей тайфун кружится
я весь пернатая ладонь а воздух
воздухоплавателем стал

стоит небес расширенный кристалл
и баржа с мёртвыми плывёт
синица на корме поёт
что шар земной похож на волка
что в звёздном стоге он иголка
и нищий тянет сквозь ушко
себя как книгу всю в огне
а мать рождает в мир ребёнка
а он не хочет и кричит
и жизни-смерти перепонка
за ухом у него как шёлк

заборы тянутся и строится вокзал
смартфон шипит и мажет светом лица
и на корме с убитыми синица
поёт что Данте ей недосказал

Прощание с Сёрен

Если вынуть тело из воздуха
останется Сёрен Обю
с проросшей в воздушной яме розой

Если вынуть ратушу и кирху
останутся два воздушных айсберга
плывущих в ветре

твоя из воздуха могила
плывёт как лодка в плеске вёсел
чтоб был ты жив и был ты весел
и слеплен был из чернозёма

зачем ты на рассвете пел в трубу
и на губах качались маргаритки
и голова подобием улитки

ворочала тебя в твоём гробу

О рыцарь трепетный сознания
тебе бы мотыльком сражаться
бросаться в свечку в три касанья
и словно дева обнажаться

и ехать в город на осле
и выговаривая собственные губы
и тело, и скелет кидаться в трубы
органа собранного из человеческих длинных тел

Звезде есть имя, дню – предел
но беспределен твой Абсурд
он как слеза растёт наверх из глаза,
наоборотен словно ваза
с цветами, что её несут

махни махни рукою без руки
и грудью без груди вдохни глубоко,
твоё без ока видит розу око
и под стопой могилы глубоки

они шевелятся чтоб встать цветком и словом
губами шевелить и правду рассказать
и в воздухе невидимо летать,
простёганном как парус и суровом

Прижми их к сердцу, грудью бос
и так жужжа гнездом воскресших ос
иди по улице где ест стекло извозчик
минуя дам минуя прочих

Ты ямой начат шаром сжат,
глаголом свит лежишь у стенки
хватая сердце и коленки
как туфли на боку лежат

Себастьян

Стрела летела как траншея
открыта тяжести воздушной
и воздух в ней твердел и осыпался

А он стоит навстречу и открыт как рана
и стрелы в воздухе идут к нему и дышат
а он в цилиндре и с разбитыми очками
не замечает ни стрелы и ни стеклянных трещин

во рвах своих он ходит голый и поёт
как будто он не Себастьян а Даниил
и медленный стрелы полёт
бьёт как родник из тьмы подземных жил

и он рыдает как петух, что мечется недвижно
разыскивая голову, и гребень
ему спускается на темя,
шепча: ку-ку-ре-ку.

А он стоит на тающем снегу
и от него отходят пароходы
стеклянные минуя воды на пути в Вест-Индию

и Шлегель, господин посол, стоит с Региной на корме,
внутри орла летит орёл, тот, что летит в орле,
и крот поёт румынские стихи прибою и Овидию.

Регина, потерявшая уста, по палубе всё бродит и поёт
про розмарин, укроп, и [1855 год, 17 марта] рыба пьёт
печаль и пламя у неё из рук,
дельфин к словам летит как тяжкий звук.

А он стоит как знамя в ветре гол и прям
напротив ратуши на площади
среди воздушных непослушных ям
куда ныряют оком лошади –

удод урод кивал кричал сказал
ресницей выпал выбыл умер умирал

> Восьмой речитатив
[Ладонь Кьеркегора]

слышит хлопок себя – ладонь Сёрена
скрытая в ней. Человек пробуждаясь
без другой, суть любой вещи – эта ладонь,
несущей свечу, хлопающей в опере
из себя одной ладонью Кьеркегора,
белка на каштане выступает

Заповедник

До приезда в этот заповедник Тая с дикими слонами еще не сталкивалась. Мудумалаи сулили, казалось, сравнительно свободные вылазки в лес – к счастью для нас, местная администрация еще не так завинтила тут гайки, как в других заповедниках почти по всей Индии, обнося их колючей проволокой, рвами, блокпостами и камерами наблюдения, не говоря о тотальном круглосуточном патрулировании. Отчасти все это было и здесь, но здешние власти смотрели на нарушения режима еще по старинке сквозь пальцы.

Деревня наша называлась Масинагуди. Каждый день ранним утром или к закату мы уходили в заповедник. Главное было незаметно войти в него. Мимо озерца, за которым дамба и охраняемая территория местной электростанции, оставляя слева маленький лесной храм Дурги, окаймленный змеиными фигурками нагов. Затем оставалось быстро пройти метров сто по дороге и метнуться по редколесью к речке в зарослях, где уже можно было выдохнуть. Дорога вела к деревушке Мояр, что означает что-то вроде «чудес», на окраине этих чудес жило племя ирула. И всё, дальше ни путей, ни дорог – непролазные джунгли на сотни верст.

Одному, конечно, рискованней, чем вдвоем. Еще и потому, что с Таей я себя сдерживал, не уклонялся от тропы, не лез в дебри, да и возвращались засветло. Но одному – честней, потому что открыт, обнажен. И лес это чувствует, отвечая тем же.

Рай наш укладывался примерно в пару километров, начиная со звериной тропы вдоль протоки, к которой мы сворачивали, едва войдя в лес. Рай, который в любую минуту мог обернуться и адом. Стада слонов, бизонов, оленей, тигры, леопарды, медведи, птицы, змеи, не перечислить. Но всего этого ты мог и не видеть, лес притворялся тихоней, ни признака жизни. Сколько раз себе говорил: меняй оптику зрения, сбивай инерцию, учись держать порознь мысли и взгляд. И чаще оборачивайся. Есть у индусов среди духовных практик и такая – лесного тапаса, своего рода лесных Вед. Посвящение в нечеловеческий мир.

Когда-то на этой протоке лесники обустроили бетонные мостики, их там четыре с расстоянием в полкилометра друг от друга. Может быть, для себя, чтобы потом патрулировать лес, переходя по ним. Но, слава богу, в эту часть леса они давно уже не ходят. Хотя всякий раз я присматривался к следам у начала тропы. Да, наверное, для себя сделали, не для зверей же. Хотя обезьяны ими пользовались. И медвежий помет нередко мы там находили. А слону не пройти – слишком узко. Но, если надо – достанет тебя, подойдя с речки, она неглубокая.

Тигр ведь сделает все, чтобы уйти от конфликта, а от слона, если ты у него на пути, не спастись. Скорость атаки с места – сорок километров в час. Особенно непредсказуемы слонихи с

¹ Книга выходит в издательстве «НЛО» в 2022 году.

Сергей Соловьев родился в Киеве в 1959 году, окончил филологический факультет Черновицкого университета, учился живописи в киевской Академии художеств. Автор 19 книг прозы, поэзии и эссеистики, среди которых: «Пир», «Книга», «Дитя», «Аморт», «Крымский диван», «Индийская защита», «В стороне», «Адамов мост» и др. Лауреат премии «Планета поэта», финалист премии Андрея Белого, «Русского Гулливера» и др. В «Волге» публикуется с 2010 года.

детенышами. Но еще опасней одинокий слон в период гона – блуждающий многотонный ком оголенных нервов. С мутным, заволоченным взглядом и непрерывными ручьями слез. Но это течет не из глаз, а из подвисочных желез. Уровень тестостерона поднимается в это время у них в десятки раз. А еще есть загадочные слоны без бивней, которых в Индии называют макна, о них до сих пор мало что известно, хотя встречаются нередко. Эти гиганты легко одерживают верх над самцами с бивнями.

Ходил я далеко за последний мостик. Какой же там лес прекрасный, как легко и светло дышать. Олешки с замшевыми ветвистыми рогами и снежной пургой на бежевой шерстке, особенно когда бросаются наутек. Но прежде долго глядываются в тебя, присевшего и замершего на тропе, то вытягивают шею и выглядывают, поводя голову влево, вправо, то опускают ее к земле и снова стремительно поднимают, чтобы получше разглядеть, кто же это там – недвижимый, но живой. И бьют ногой о землю, сообщая сигнал тревоги, но еще неуверенно, и не бегут, вроде и не человек там.

А я и есть не человек. Уже не совсем, надеюсь. В Раджаджи, когда только приехали с Таей в Индию, уже через несколько дней шли с ней по тропе, и вдруг – в тишайшем и еще минуту назад пустынным лесу – со всех сторон повалили звери, прямо на нас, но и не обращая никакого внимания – шли и шли, олени всех видов, кабаны, павлины, и даже слон вышел. А мы сидели посреди тропы, прижавшись друг к другу, и лишь смотрели, не понимая, что ж это происходит. Олени рвали ветки над нами, кабанчики всей семьей трусили, приближаясь, и в последний момент замирали на миг и огибали нас, как куст. А на следующий день за версту уже не подпускали, как обычно. Те же звери.

Нет никаких ожидаемых сценариев с дикими животными. Есть ты, которым в какой-то мере располагаешь, и есть зверь, считавающий тебя и тоже располагающий – и собой, и тобой. В зависимости от той незримой фигуры, которая рождается между вами.

С Таей мы обычно шли до второго мостка и устраивались там в относительной безопасности, сидя посередине него так, что только наши головы были видны, направленные в противоположные стороны – сидели валетом, держа в поле зрения всю протоку. Временами я отлучался в дебри – недалеко, на разведку. Лес за ближайшими к протоке зарослями был исполинский, оплетенный лианами, пропитанный тьмой и рваными сверкающими просветами. Сказочный и действительно страшный, если поддаться этому чувству. Ждала. Возвращаясь, я останавливался на подходе и смотрел на нее из зарослей: она сидела пригнувшись, чтобы ее не было видно, и смотрела поверх бетонной ограды на протоку, куда выходят звери. И прикинула к окошку камеры, чтобы что-то приблизить вдаль. И переводила на ближнее цветущее деревце, снимая двух длиннохвостых изумрудных ангелов, пчелоедов, которые в игривом пылу залетали на мостик и чуть не садились ей на голову, в последний миг отпрядивая. И щемяще светло становилось от этой картины.

Случалось, я возвращался из леса уже в темноте и находил ее дома занятой своими делами так, будто никуда я и не уходил. Рассказывал ей, но со временем со всё меньшим воодушевлением и всё реже на том языке, на котором переживал это там. Однажды спросил ее, а если я и к ночи бы не вернулся? Мог бы подождать, что ответит, но поторопился продолжить, сказав, что где-то к полуночи надо бы идти к егерям. Не помню – кивнула, кажется.

Сказать, что любил ходить с ней в лес? Да, она умела быть с ним в ладу, а этому не очень-то научишь или приобретешь. Быть с ним, и при этом со мной. В едином ритме, жесте, взгляде. Во всем, что на виду, у поверхности, но чем глубже, тем больше мы расходились. Каждый в себя. Но я и с собой расходился, потому что был с нею. И не с ней. Балансируя на краю. Но с кем тогда все это происходит? С тем, кто и не с собой, и не с нею? Но помнит, как это бывает, когда делишь себя без остатка с другим, с другою, и каждый прожитый миг звенит, поет и на просвет виден, таким и останется навсегда. А здесь – чьи они, все эти дары несметные, отчужденные, с краю?

Да, любил. Но больше – с собой. Хотя ее не хватало рядом. И как просыпались любил, еще темно, как собирались в одно касание, пили кофе – порознь, но боковым зрением видя друг друга

и даже спиной чувствуя. Быстро, ладно, молча, не отвлекая по мелочам, продолжая укладываться на ходу – раз, и мы уже на тропе.

Темп ее был моему созвучен, нет – вся партитура была. Как ели, как спали, как шли, как жили. И в роскоши, и в нищете. Легко и умело. И спала на земле, и ледяной мылась, когда горячей неделями не было, или совсем без, когда никакой. Не жаловалась, не ныла. Случилось, месяц жили, обсыпаны язвами от пят до темени. Не до врачей было – джунгли. А потом вдруг такой ухоженной стать, ослепительной – в дворце нечаянном. Легко и естественно, как в прежней жизни. И взвалить рюкзак на себя – килограмм под тридцать, и идти, петь песни, ловя дыханье. Или переправляться через играющую радугой трясиной, под которой останки коров, людей, оленей, уходить по горло в нее и выбираться, спокойно, собранно – из потустороннего. И, раздевшись на том берегу, смывать грязь, радужную, въевшуюся, несмываемую. На виду у медленно проплывающих излучиной крокодилов. И просыпаться – ладонь в ладони, а за стеной лежит колдун с воткнутым в лоб топором, и кровь стекает на чуткую землю.

Каждый за себя, в своей стороне. И не оттащить друг от друга, такая тяга. Как волк и волчица, и бег сквозь ночь и годы, щека к щеке, такая нежность звериная. Разве что на спину не падала, не сдавалась, напротив – зуб за зуб. Может быть, и хотела, чтоб я пожалел, поддержал в трудную, но всем своим видом показывала: я сама, отлежусь – в себе. Может, за этим было – ну подойди же, возьми меня за руку... Но разве у нас поймешь на таком расстоянии – ближе кожи и дальше звезд.

Странно все это, такая гремучая смесь – и отвага, и трусость. Собранность, и вдруг паника. Мы, которые вместе, одним телом, и полное недоверие – в глубине. Да, помогала и выручала не раз. И предавала. Но и ей ведь было что мне предьявить. И предьявляла, наотмашь. И – не сразу, полуживые, приходили в себя, и друг в друга.

Идти-бежать-лететь, ладонь в ладони, мчаться на местных автобусах, тук-туках, мотоциклах, о, сколько ж их было, этих дорог лесных и разных под колесами мотоциклов – я позади водителя, а она за мной, с развевающимися на ветру волосами и прижавшись ко мне. И открывать места неведомые, и обмирая, видеть друг друга, и терять, терять...

Да, она очень любила лес, чувствовала его, что меня несказанно радовало, хотя так редко ей говорил об этом. Лес, но, как по ней, лучше б, наверно, без слонов и тигров. Медведей и леопардов. И змей. От которых и сам я мистически цепенел – с детства. Но и тянуло к ним потому же. Годом раньше я впервые держал в руках кобру. Правда, рядом со змееловом, но кобра была ближе – в руке. А потом он взял ее у меня и передал Тае. Какая нежная девичья кожа, сказала она, и какая теплая! Да, говорю, приходя в себя, действительно теплая, в отличие от меня.

Несколько лет спустя, в заповеднике Бор, я одержим был съемкой нильгау и каждый день ходил в джунгли, а она порой пропускала. И однажды, когда уже собрался идти, она вдруг в последний момент: я с тобой, ладно? Ладно, но на нашей дальней поляне с волшебным деревом ты меня подождешь, а я схожу к озеру, понимаю стадо нильгау на мысе и вернусь за тобой, хорошо?

Возвращаюсь, она сидит на дереве, где удобно устроилась с камерой в метрах двух от земли, сидит недвижно, и что-то с лицом у нее, таким же недвижным. Меня, кажется, говорит, не поворачивая головы, укусила змея. Я умираю. Где, когда, что значит «кажется»? Здесь, медленно встает, приспускает штаны, показывает, минут двадцать назад или больше. Немножко сознание терялось, и холодный пот. И сейчас? Нет, сейчас вроде легче. Стоит с недвижным лицом и взглядом вдаль. Одна точка, не две, с небольшим воспалением вокруг. И укус не похож на змеинный. Что же ты, вот так сидела тут и ждала смерти? Да, говорит. Но я же был неподалеку, ты знала где. Нет, продолжая смотреть в эту даль, нет. Каждый за себя.

Противоречиво было в ней всё и малопредсказуемо. Вот мы в краях, где промышляют тигры, ставшие людоедами, покинув маленький перенаселенный ими заповедник в поисках свободных территорий, а в округе лишь деревни и перелески, и тигры начинают таскать скот, сталкиваясь с людьми. Черт его знает, что меня так влекло встретиться с этими людоедами. Она уклонялась как могла, то взрываясь, то молчаливо следуя за мной. Шла, как обычно, если тропа узкая, позади

меня, но тут озиралась, нервничая – тигры часто бросаются со спины. Но при этом ходила за дровами в лесную тьму – далеко и надолго, одна, именно в те дебри, где и бродила та тигрица-людоед Т-16. Могли бы и вместе пойти, нет – сама. И при этом наотрез отказывалась спуститься в ночи к озерцу за водой, которое вот же, рядом. И взвинчивалась, чтобы я заложил ветками в нашем шалаше проем в изголовье. Мол, пусть жрет с ног, не с головы. Сидел у костра, утишенного до углей, ждал, а она спала в шалаше или делала вид, отчаявшись повторять, чтобы сделал ярче.

Несколько дней назад в Нагархале слонотоптан директор заповедника, патрулировавший лес в сопровождении трех джибов, полных егерей с ружьями. Егери кинулись врассыпную, директор смят в лепешку. Дело секунд. А в прошлом году затоптана француженка, а перед ней англичанин. Даже не в джунглях, а на краю нашей деревни. Потом Праба пришлет мне видео, снятое на телефон неподалеку от тех мест, где обычно хожу: индеец с большой семьей и детьми расположились на пикник, слон вдали мирно идет стороной, а отец семейства уже во хмелю, пошел к нему поприветствовать, тот повернулся к нему, показывает всем видом и оттопыренными ушами: не подходи ближе. И всё. Крупным планом. На глазах у семьи, детей. Даже опомниться не успели.

Здесь, в Мудумалаи, у Таи случилась первая встреча со слонами. Это действительно страшно, я знаю. Когда большое стадо с детенышами вдруг бесшумно подходит сзади. На расстояние дыханья. И некуда деться, только сидеть вот так, спиной к ним, у ручья, и ждать, ждать, не шелохнувшись. И слониха-вожак долго смотрит на нас, остановившись, пока стадо переходит вброд, прикрыв нас от них собой. Так не бывает, не может так быть, но остались целы.

Такой была первая встреча, за ней – еще и еще. Она пропускала дни, не выдерживая, ходил один, потом собиралась с духом и снова шли вместе. Просила меня не лезть на рожон, не заходить далеко и возвращаться до сумерек. Я старался, но как возвращаться, когда лес оживал к закату, всё только ведь начиналось.

Бывало и так, что бежала в сдержанной панике. Так она отшатнулась, когда стадо слонов спустилось с горы, клубясь в нашу сторону. Они еще далеко, сказал, не тревожься, я знаю, когда... Нет, отрезала тихо, я отойду по склону, а ты – как хочешь. Обернулся – ее уже не было. А когда стадо, как ожидал, прошло стороной, начал искать ее, звать, темнело уже, прочесал всю округу, заглядывал в рвы, овраги...

Несколько дней спустя пошел в лес, она осталась дома, сначала встретил оленшков, а потом малёха, нескольких дней от роду, выбежал из зарослей. Стоит, смотрит на меня, я ему говорю: такой же один ты, как я, и незрелый такой же, даром что на ногах крепче стою, и мама моя в далеком Мюнхене, а твоя где? Смотрит, делает неуверенный шаг ко мне. Нет, говорю, не я твоя мама, иди поищи-ка, пока не поздно. Повернулся, пошел.

Миновал второй мостик, и вдруг виденье: в косом луче стоит великан, олень-самбар, древний, могучий, с лесом рогов. Миг, и нет его. Не мог он вот так взять и исчезнуть. И привидеться не могло, я на него долго смотрел. Лишь луч остался гореть с пятном света, где стоял он. Так, подумал, наверное, и с Христом было. У сокровенного нет свидетелей. Больше одного быть не может. Но и он не сторож себе.

А потом шел вдоль протоки, тропа кончилась, берег обрывист, местами перепрыгивал с края на край, чтобы не спускаться к воде. В одном из таких мест, чуть разбежавшись, прыгнул – и, уже в воздухе находясь, гляжу: подо мной змея, длинная, скользит в воду. Для нее это было так же врасплох, грелась там на песке. И я как бы завис прямо над ней, в метре. И, кажется, даже ногами перебираю в воздухе, чтобы как-то пролететь дальше. И невозможно долго длится это – она скользит, бесконечная, для кобры слишком темная, но, похоже, именно она, а я вишу над ней, каким-то образом не падая, хотя прыжок уже выдохся, а продвигаясь по воздуху дальше. Уже половина ее ушла под воду, и тут это замедленное кино вдруг ускорилося, и я приземляюсь, пролетев дальше, за нее. Вглядываюсь в воду, но она уже переплыла на ту сторону и скрылась.

Еще прошел немного, отвлекаясь на птиц, прислушиваясь к отдаленному треску бамбука – похоже, слоны ломают его, подкармливаются, и тут от неожиданности обмираю: из тьмы зарос-

лей у воды доносится звук, который прежде никогда не слышал. Громкий, надрывный, похожий на рыданье, но как бы втягиваемое с воздухом в себя. И повторяется раз за разом. Вижу откуда, но не видно кто. Тихо, едва ступая, огибаю заросли, чтобы зайти с другой стороны. Медведь-губач! Смотрит на меня, отряс голову и пошел по тому берегу, а я на этом, между нами несколько шагов по неглубокой воде. И место открытое, как на ладони друг другу. Это он воду так всасывал. Еще придет ночью, не этот, другой, в мой домик, пока я сплю, поднимется по внешней лестнице на второй этаж и съест фрукты в вазе, оставленные на столе на веранде.

Эти губачи любят лесные плоды, корешки и термитов. Разрывают большими гнутыми когтями термитники, суют туда свою голую удлинненную морду и всасывают. И ходят по лесу, уткнувшись в землю, не слыша и не видя ничего вокруг. Потому и столько смертей при неожиданных встречах с ними. Читал я служебный отчет лесного департамента – несчастные случаи при столкновениях с медведями оказались на втором месте после слонов. Там же снимки медведя, рвущего крестьянина в поле, и еще семеро крестьян, пытавшихся остановить это вилами, лопатами и всем, что было под рукой, медведь изорвал всех восьмерых.

Присел на берегу, он прямо напротив меня, так близко я их еще не видел. То есть видел, но с джипа. Вики, водитель, молодой парень, сын егеря, выросший в заповеднике, нервничал, когда я просил подъехать ближе и выключить мотор, медведь был в шагах десяти и не обращал на машину внимания, но Вики все же отодвинулся вглубь джипа. Сейчас расстояние между нами было сильно меньше безопасного, вроде бы он неминуемо должен был броситься на меня, но нет – продолжал что-то вынюхивать, крутиться на берегу, порой взглядывая на меня, но без агрессии и даже интереса, потом повернулся спиной, чуть присел и долго опорожнялся. Затем подошел к невысокому деревцу, поднял голову, что-то высмотрел там и начал вскарабкиваться. Крона была густой и колючей, ветки тонкие, он все никак не мог там обустроиться так, чтобы достать, что хотел, и вдруг оступился, свалился вниз. Сел на землю и взялся лапами за голову, чуть запрокинув ее и раскачивая. Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. А он все сидел, шевеля губами, вытягивая нижнюю, будто жалусь: как же это могло произойти со мной, свалиться с такого детского деревца, еще и при свидетелях, вот стыдобище. Поднялся и побрел в заросли.

На обратном пути увидел у воды след леопарда. Вроде бы. Стертый, старый. Вспомнил, как с Таей после месяца скитаний по заповедникам, где в последнем жили с гигантскими крокодилами и колдунами-душегубами, оказались в краю тигров-людоедов, в гостях у Гиты, помощницы главного егеря, которого ждали наутро, а пока нас поселили в лесничестве, в каком-то vip-номере, и мы наслаждались горячей водой и неземным, настоящим, белоснежным постельным бельем, а утром, одевшись в чистое и нарядное, постиранное накануне Таей, сидели перед егерем, вернувшимся из лесу, где, копая котлован для водоема неподалеку от найденных недавно наскальных росписей, обнаружили динозавра. Обсуждали, куда он нас отвезет на неделю пожить в лесной сторожке. Пока разговаривали, ему все время слали на мобильный какие-то видео с волнообразным криком людей, он бегло смотрел, прося всякий раз прощения. Праздник? – спросил я. Он горьковато усмехнулся. Это была любительская съемка случившегося вчера в одной из деревень его района. Толпа крестьян с мотыгами и лесники с ружьями. И леопард, вдруг врывавшийся в толпу, перегрызавший горло одному-двоим и так же молниеносно исчезающий. И через несколько минут возникающий с другой стороны. Кровь, крики, попытки как-то оборониться, подготовиться к следующей атаке, и ничего не получалось. Он мог бы попытаться прорвать это оцепление, ускользнуть, спастись, но нет – почувствовав, что петля стягивается, он будет биться насмерть с ледяной яростью. Они забредают в деревни по ночам, а бывает, что и в дома. Уволакивают коз и попутно давят собак. И идут рожать на чайные плантации, если есть вблизи, там вода почище. У меня шрам на переносице от удара его лапы около года держался. И это он в вольере был, пойманный. В дальнем конце вольера и развернутый спиной. Я просунул объектив камеры в ячейку металлической сетки, чтобы поснимать его. Лишь миг – я даже не понял, что произошло и как можно было так телепортироваться – удар, и кровь залила лицо.

Вернулся к второму мостику, где мы обычно сживали с Таей, и перебрался на ту сторону, углубившись в чащу. Страшноватый там лес, ведущий незримую драму, в которой тебе нет места. Недвижная тишь, наполненная гулом предчувствий. Свежая слоновья тропа, ручей, рваные сети лиан висят, сквозь них – дыры неба. Присел на пригорке у ручья. Тень тут густая, как ночь. Если выйдут слоны – деваться некуда. И на дерево не взобраться – голые необъятные стволы.

Вот скажи мне. Вспомнишь ли ты хоть одну ее фразу, оставляющую долгий след – мыслью, интонацией, сочетанием слов, их свеченьем? Сiju, думаю, смотрю на воду, текущую у ног, и не нахожу, что ответить. Но тогда и ты мне скажи, ты, с другой стороны себя. Слышала ли она от тебя то, что ждала, на том языке, которым живет?

И тут я почувствовал чей-то взгляд в спину. Долгий взгляд, это длилось уже несколько минут, но теперь к нему добавилось и дыхание, чуть присвистывающее. Я медленно повернул голову и отшатнулся: ухмыляющееся чудовище с длинным раздвоенным языком уставилось на меня желтоватыми неподвижными глазами. На расстояние руки. Демон. С меня ростом, лежал, приподнявшись на передних лапах, и дышал в лицо. Вдруг дернулся и вразмаху понесся в заросли.

Что за день – призрак оленя, потом медведь, теперь этот варан. Вернулся к протоке, а там всё преобразилось: была тишь, ни души, а теперь обезьяны носились по исполинским бамбуковым кустам, как по мачтам кораблей, внизу бродили стада оленей, вдали стоял гаур по грудь в воде. И – я не сразу его увидел – слон, одинокий, с большими бивнями. Он что-то выуживал хоботом над собой в кроне дерева. Пригнувшись, я начал осторожно приближаться к нему от куста к кусту, замирая, когда он отвлекался от кроны и мог бы меня заметить. Но он уже давно заметил. И видел, как я приближаюсь, хотя и стоял в три четверти спиной. И вдруг выдернул хобот из кроны и, перейдя на бег, скрылся в чаще. Прошло минут десять, и он возвращается – с подругой. Голова к голове идут, она останавливается, рвет ветку над собой, подносит к распахнутому рту – розовому, влажному, какому-то бесстыдно вагинальному и улыбающемуся. Он ждет, опустив хобот, покачивая им у земли, что-то трогая там, якобы занят делом и поглядывая на нее своим утопающим в морщинах, лучащимся глазом.

А чуть в стороне еще одна слониха вышла и уже окунает хобот в воду. Я выключил камеру и открыто сiju, смотрю, как эта молодая женщина, нисколько не тревожась моим присутствием, занимается своими водными процедурами. Как набирает воду в хобот, полощет рот после еды, как изящно осьмушкой попы садится на краешек парашюта, разве что не одернув платье, как потом поднимает над собой хобот и что-то там несбыточное рисует в воздухе... Древние греки считали, что у слонов ноги негибаются в коленях, так и передвигаются на колоннах. Входит в купальню. Нега и счастье – и на боку, и задом вверх, и скрываясь из виду, оставляя игривый перископ над водой, и всплывая с разинутым ртом. А потом еще долго стоит на берегу, пока солнце садится, посыпая себя дымящейся в лучах красной пылью.

Тем временем еще одно стадо вышло к протоке, стоит в сухих зарослях, в полутьме, заштриховано черными ветками. Как театр теней. И хоботы у земли вяжут в узелки, и встречаются ими друг с другом, разговаривают. И зеленые ростки на черной земле светятся, его-то они и собирают неторопливо, этот сочный свет.

И вновь округа преобразилась, обратившись в тишь, будто и не было тут никого, лишь один лангур сидит, как дозорный, на верхушке бамбука, раскачиваемого на ветру. Солнце уже клонилось, пора возвращаться.

Местами тропа вьется в густых зарослях, спускаясь к воде. На повороте тропы высокий колючий кустарник, ветки спутались, застыл проход. Пригнулся, протиснулся, впившиеся ветки еще держат за спину. Высвобождаясь от них, еще не вижу, что и кто передо мной. В нескольких шагах. Слоны. Трое. С детенышами. Ну вот и всё.

Ближняя стоит вполоборота, повернув голову ко мне. На расстоянии вытянутого хобота. Если бы подняла. Маленький карий глаз с длинными ресницами. Не гляди на нее, чуть в сторону. Медленно, без резких, вдавливаясь в спину в кустарник. Тело не слушается. Слоненок выглянул

из-за ее ноги. Вот здесь она и закончит с тобой. Один шаг, и вонмет в землю. Глаз ее так близко, что по сторонам всё в расплыве. Бегу по тропе, с сердцем, бегущим чуть впереди меня. И кажется, что она сзади, догоняет, еще мгновенье...

Мои́ла

Я был в Мои́ле, а где была Тая, я не помню. В Москве, оформляя документы в испанском консульстве? Под Читой, у знакомой знахарки? На Бали, с дочерью? Не помню. Был октябрь, взял билет и улетел в Индию, попав в сезон дождей, затянувшийся, волочащий свой мокрый хвост по всему югу и взвинчиваясь циклонами. И меня волоча за собой, измотав, доведя до края, пока не оказался в Мои́ле, где наконец полечало. В пропащей деревушке в глубинке Карнатаки.

С самого начала всё было против, и все же поехал – думал, там переменится. Не тут-то было: отнималось всё, к чему протягивал руку. С порога был отнят лес в заповеднике Мудумалаи – новые правила, отрезаны подступы и любые возможности проникнуть. Вслед за этим камера накрылась, затем мобильный, потом место, где жил. И лили бесконечные дожди. Храмовые обряды и фестивали обычно зимой, до которой еще далеко. Росло раздражение и усталость, и главное – уязвимость, всё отнималось, куда ни ступи. Дело, конечно, не во внешних неурядицах, тем более, не бог весть каких. Но бывает вот так что-то накапливается, вроде само по себе ничтожное и во многом даже незримое, но ткется некий узор беды, пишет на твоей коже, тихонько обнажает до той уязвимости, когда каждую соринку чувствуешь, будто в глаз попало, весь гол, как этот глаз.

Двумя неделями раньше, когда из аэропорта приехал в Масинагуди, был праздник Дивали, победа добра над злом, света над тьмой. Небо над деревней рвалось петардами. Присел на окраине, где потише, с буренками и буйволицами, и думал, куда отправиться, в какие дали, за каким счастьем... Да уж хоть за каким, не помешало б оно. Вернулся к Прабе, у которого снимал жилье в те дни. Курица за домом завололошно взметывалась из травы, пригляделся, а там кобра с поднятой головой. Курица ее на себя отвлекает, птенцов спасая. Увела, успокоилась, да и кобра постояла так и прилегла. Взял палку, подошел, не вижу ее в траве. Кричу Прабе: тут у тебя за домом кобра... А он: да пусть. Ну пусть так пусть. Две ночи мы с ним слона с огородов гоняли. Огнем и криком. Есть тут сосед у нас, он чуть не каждую ночь кричит на всякий случай, выйдет с фонарем из своего домика и кричит – тяжело и гулко, как роженица. А потом весь день поле пашет. Что-то совсем не понять, куда ехать, куда жить. Зелено очень, в октябре я еще тут не был. Когда подъезжал, стада бизонов шли сквозь стада пятнистых оленей, по грудь в играющей в лучах заката изумрудной траве. Ночью думал о Маугли, о его десяти лет спустя, печальный рассказ получился бы, но правдивый.

Рай заколочен. Но все ж пошел в первый же день в джунгли. Нож, камера, дождь моросит, иду, а за озерцом – шлагбаум, кордон, которого не было, и не обойти. Подзывают меня двое в форме, с ружьями. Полицейский наряд при лесном департаменте. По первому разу мне удалось им голову задурить, и даже больше – пропустили пройти до ручья, где местное племя ирула постирушки справляет. Сказал, через часок вернусь. Не сдержался, пошел дальше в джунгли, куда обычно, но на поддороге прислушался к себе: не горячись, могут проверить у ручья, а тебя там нет. Вернулся, а там уже на ноги все подняты в деревне – и полиция, и лесники. Теперь можно ходить лишь до озера, посидеть у кромки леса.

Дождь все льет. Чувство щемящего конца надежд и путей-дорог. Как-то вечером окликают меня двое у деревенской харчевни: пойдём, говорят, чайку попьем. Оказалось, это те, кто меня тормознул у шлагбаума – начальник наряда и его помощник, но теперь они без формы и ружей. Пьем, разговариваем – о странах, о семьях, о детях... Наполовину на английском, наполовину

жестами. Я им – терять уж нечего – говорю, куда и как я все эти годы ходил. И что в этом вся моя жизнь, весь воздух, которым дышу. Слушают, кивают, пьют чай, никакой полицейской реакции, напротив, как-то сочувственно даже. И тут этот начальник говорит: мы по работе должны постоянно прочесывать лес, ходим на несколько дней, отряд у нас десять человек, ночуем в деревнях или в лесу. Ловим маоистов, их тут немало в округе. Пойдешь с нами? Да, говорю, но... как же эти ваши восемь, проговорятся ведь, и тогда вам тюрьма или минимум прощай работа. Кто проговорится? – удивленно смотрит на меня второй, – будут молчать, не пикнут. Допиваем чай, обмениваемся телефонами. Имя начальника – Шива. А твое, оборачиваюсь ко второму. Улыбается: Ганеш.

Еще на что-то надеялся поначалу, добился встречи с заместителем министра лесного департамента края. Прежде мне часто везло с егерями, а этот – просто чиновник, еще и трусливый. Говорю ему, уже давно не сдерживаясь, да и видя, что ему всё божья роса: если бы все жили по параграфам, мир бы кончился, не начавшись. Да-да, отвечает, согласен, но риск-то какой, вдруг случится что, а кто разрешил – я, выходит. И чай прихлебываем, а в дверях вся его свита стоит на цыпочках, прислушивается. Да, говорю, согласен, когда вас рожали, тоже риск был, и немалый, выходит.

Переехал севернее – в Карнатаку, но и там дожди, вопреки прогнозам. Вымотался и в какой-то мрачной деревне взял билет наугад на ближайший поезд, наутро выйдя в Тирупати. Там на высокой горе стоит храм, самый золотобрюхий в мире, куда текут миллионы паломников, оставляя по тонне состриженных волос в день, превращаемых в миллионы, но уже долларов, в США. Храмовый болливуд, елейный ад. К тому времени я уже давно не мог смотреть ни на еду, ни на кровать, чтоб хоть выспаться. И этот голос повсюду: ты не там, не туда, не сейчас...

Где ж она была тем октябрём? У отца в Братске? Который петли на заячьи петли ставит? В Севилье, взяв из Питера мальчика-умельца по ремонту квартир... Как же его звали? Чтобы помог перестроить дом. И сняла номер на двоих в ближайшей гостинице, а я все представлял себе непотребное, жгучее, а она смеялась в ответ. Мальчик не справился. С ремонтом. Уехал.

И какая разница, где. Где родилась, на кого училась, кем работала, сколько у нее было мужей, и вообще вся эта биография? Ее, моя, чья бы то ни было. Разве небо рассказывает земле, кем оно было, где носило его? И дерево не морочит голову соседу своей биографией, и зверь. Все они – вот, в настоящем, и все их прошлое, пережитое – в них, здесь, сейчас, в том, что видишь, чувствуешь. Это, а не биография с ее прихотливыми ответами, большая часть которых живет далеко в стороне от человека. Ответы, но куда ложающиеся – бог весть, а коснулись бы нас – едва признали. Но нам, людям, ведь так важно и нужно это – и в жизни, и в книгах – пусть во многом и иллюзорное, чувство жилого пространства во времени, что было до, что после, все эти связи, причины, хоть мнимый уют и упорядоченность в доме. Иначе, без этих костыликов прошлого и будущего по сторонам, трудно стоять, неудобно – где ты, где дом, где твоя жизнь? Здесь, в тебе, в голосе, жесте, глазах. И отец твой, и мать, и все что было с тобой – в тебе, так и настолько, насколько твое лицо сейчас – твое. Это не о невежестве преклонения перед одним настоящим, о котором говорил Пушкин. Не о беспамятстве. Время не линейно, верней, не единственно линейно. И не циклично ходящее кругами, теми же и не теми, мнимо припоминающими себя. Как мы и жили, и куда дольше и привычней, чем в этой стреле. Но оно, время, и особенно в Индии, еще и баньян: ни ствола, ни корней, ни ветвей, ни начала, ни конца, одно в другом, в этом дереве-роще, узоре превращений. Здесь, в этом мгновении. Где нас нет.

Милые речи. А сам-то живешь так? Разве что, может, изредка. Нигде нет – ни тебя, ни нас. Нигде так, чтобы сказать: вот. Даже наше сознание вне нас. Да, ромалэ?

Тая, Тая... Оборотень отношений. И где настоящее лицо того, что меж нами, и есть ли оно – бог весть. Но пока все это длится, кажется, что где-то впереди вдруг спадет эта пелена двойственности, и все сойдется в одно, где мы едины. А если нет, и останется та же изматывающая

неразрешимость, я все равно буду, вернее, надеюсь, что буду развернут к свету меж нами, пусть и кратко, иллюзорно...

В стороне от толп, текущих к золотобрюхому храму в Тирупати, зашел в департамент лесников. Сидят в нарукавниках, перекалывают бумаги. Кабинет начальника, вдоль стен выстроились подчиненные, чай на столе, трое вносят и разворачивают карту, он склоняется над ней и – не сразу – находит свои лесные владения, отмеченные как заповедник. Вот здесь, говорит, я бы мог вас поселить, и наносит точку где-то в горах, и вот здесь – в другом краю. А где, спрашиваю, побогаче животными? В первой, говорит. И какие же там? Долго листает галерею в своем мобильном, наконец находит – вот. На экране птичка. Но где-то, говорит, был и пятнистый олень, я его видел в прошлом году, не могу найти...

Почти все ушли за последние годы, все близкие, жизнь опустела. Отец, дочь, потом один за другим друзья. Вот и Индия отступает. Ходил в номере от стены к стене. Бежать? И как потом с этим жить? Остаться, ждать, прислушиваясь к себе, с этим ряженым раем за окнами?

Чехов пишет: будь деньги, уехал бы в Африку, надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, имеешь цель. А Печорин у Лермонтова: только не в Европу, избави Боже! – поеду в Аравию, в Индию – авось где-нибудь умру по дороге.

Однажды в Харнай проснулся среди ночи от укуса крысы. В подушечку указательного пальца. До крови, но не сильно, словно чуть прикусила, давая понять. Что же? Меньше указывай себе?

Набрел в интернете на баулов – бродячих поэтов-мистиков, восходящих к средневековой традиции на пересечении индуизма и суфизма. У них ежегодные фестивали, один из них в Бенгалии. Может, туда податься? Начал смотреть видео этих фестивалей. С первых секунд ясно – по лицу с запрокинутым микрофоном у рта. Не говоря об общей атмосфере попкорна. Мистики, их мать, самосожженцы неопалимые! С десятками миллионов просмотров. Не горит и не тонет. Злую от досады. И тут наткнулся на любительский ролик. Сорок просмотров, два подписчика. И человек делает то и так, когда не знает, выйдет ли из этого живым, когда не важно, перед кем это всё, и вообще, обитаема ли земля.

Земля, Авни. В прошлом году собирался из Бора переехать в небольшой заповедник Типешвар, он неподалеку – полдня на автобусах до Яватмала. Перед тем, еще находясь в Мюнхене, читал о нем, пробирался по гугл-карте, искал входы-выходы, тропы, переписывался с Сурией. А тем временем происходило там вот что, как выяснилось потом. Тигрица Т-1 по имени Авни из года в год убивала людей, на протяжении нескольких лет это замалчивалось, лесники ничего не предпринимали. Когда число жертв достигло тринадцати и крестьяне начали громить и жечь кордоны егерей и их джипы, власти зашевелились. К этому времени у нее родилось двое тигрят. Медленно, со всеми бюрократическими перипетиями, наконец было принято решение усыпить тигрицу, а если не получится – ликвидировать. Но обнаружить ее, несмотря на то что лес там не такой уж большой, никак не удавалось. Силы наращивались и были доведены до двухсот специалистов с подключением армии, полиции, снайперов, слонов и охотничьих собак, камер слежения, дронов и паропланов. И даже мужского одеколona «Келвин Кляйн», привлекающего диких кошек. Безуспешно. Бульдозеры прокладывали пути в джунглях. Махуты на ездовых слонах, выписанных из соседнего штата, поскольку в Махараштре их нет, прочесывали лес. У одного из слонов еще в дороге начался гон, стал неуправляем, убил махута, покалечил несколько человек. Разрешение на отстрел тигрицы выдали знаменитому стрелку Навабу Шафат Али-Хану, хотя и среди егерей недостатка в профессионалах не было. Наконец тигрицу заметили, позвонили стрелку, трубку взял его сын и с друзьями выехал на место. Убил. Сказав, что она атаковала джип, в котором он находился. При этом пуля была у тигрицы в боку. А усыпляющий дропик, с которого по закону обязан был начинать, оставляя пулю только на крайний случай, был воткнут вручную потом – для видимости. В животе тигрицы должны были быть обнаружены ногти и волосы жертв, они сохраняются в течение полугода. Вскрытие показало, что этих следов нет.

Начались поиски тигрят, уже десятимесячных. Стрелок награжден от правительства серебряной статуэткой тигрицы. Крестьяне праздновали успех запуском петард. Авни, что означает – Земля.

Слонялся по Тирупати, уворачиваясь от верениц паломников, убредая на окраины. Что же делать? Идти до конца, но куда? Вернуться домой? В таком состоянии интуиция сбита с толку. И все же поменял дату обратного вылета. И поехал проселочными на местных автобусах в сторону аэропорта, до которого было два-три дня пути. Первой остановкой и оказалась Могила. Маленькая деревня с древним храмом Могилишвара. Сел напротив него с чашкой кофе, который сварил в своей турочке у чайханщика, смахивающего на Будулая, и так легко вдруг стало, и Индия вновь такая моя, родная, странствовать бы и странствовать, куда глаза. Ведь у меня еще целый месяц... был. Подъехал мотоциклист с петухом под мышкой. Передал брамину, тот отсек голову петуху, окропил землю вокруг мотоцикла, ушли вдвоем в храм.

Дорога без дороги, автобус движется, как баркас в непогоду. Ты путешествуешь, говорил мне молодой 800-летний монах в вайшнавском храме, но зачем и что оно значит для тебя – испытание, некое развитие? Развитие чего? Хорошо ему спрашивать в этом возрасте служения по отцовской линии. В храме, где родился и уйдет с братией. А зачем, спрашивает, нам четыре тысячи глаголов в этой жизни?

Почти все. И Рашид ушел. Тридцать лет спустя как переселился в Индию и со временем став свами. Открывал ее мне, когда я впервые там оказался. Годы непростых, странствующих отношений. Когда он включался на полную, выдержать разговор с ним – даже молча, но находясь в реальном диалоге, то есть тотальном, не только интеллектуальном – больше часа было едва ли возможно. В наших беседах, соглашаясь с ним во многом, я порой провокативно занимал противоположную позицию. Помню один такой разговор, при котором уж не знаю, как мы остались целы. Полночи наворачивали круги у священного пруда в храме Марса: он – «восток», я – «запад», хотя могли бы и наоборот. Он с посохом, в багряной шали, я в белой, соприкасаясь плечами. Ты кончишь свою жизнь, бросал он мне, устав доказывать, как все твои кумиры – в ничтожестве перед смертью с непрожитой жизнью. Как они, которым неведома практика реального проживания и трансформации, у которых лишь одни слова. И эго. Я отвечал ему не менее жестко. Расстались. И обнялись наутро. Ханси, японка, с которой он жил последние годы, пишет, что перешел в самадхи. Не думаю. Хотя что мы тут можем думать?

Бывает, какой-то ландшафт, пейзаж на краткое время выбывает в самадхи, такое ощущение. А потом приходит в себя, оживает. Что-то происходит между вами, или это только в тебе, твоим взглядом...

Нет, не было в нем того благодного лада, который источают якобы достигшие, просветленные. Была мощная арена многоуровневой работы – конфликтной, парадоксальной, живой, этим и был интересен, и в своей силе редок. И ушел.

Но не тем холодным сном... О чем он? И темный дуб, и дремлющая жизнь в груди, и дальний голос о любви, и мир навек – свободы и покоя... Удивительно, ведь в то время Лермонтов о самадхи ничего знать не мог. О том одном из двух путей перехода, когда частично еще сохраняется сознание.

Вот и мне посветлело – там, в Могилах, с частичным сохранением.

Да, голос, хоть дальний, тихий, о любви. В сиянье голубом. В этом все дело.

Жизнь – тихходка, ростом полтора миллиметра, похожа на глубинного водолаза в скафандре. Ходит на тот свет как в соседнюю комнату, забываясь там на годы. Экстремальные условия ничем, на ты с апокалипсисом.

А некоторые мхи способны восстать из мертвых и через десятки тысяч лет. Анабиоз, близнец-антипод самадхи, вроде бы та же физика, но устремлен не к вершине, а к низшей точке, с возвращением при благоприятных обстоятельствах. Хотя в сахаджа-самадхи тоже возвращаются – Будда, Христос...

Как-то у меня в Гурзуфе в книжных полках поселились дивные летучие создания – что-то между осами-наездницами и львиными муравьями. Материнское сообщество с плавно заторможенным полетом. Они, эти эфемеры, оставляли клейкую кладку на страничных торцах книг. На Прусте, под сенью девушек. На замке Кафки. На Чехове. Шиферные трубочки кладки с темной мерцающей начинкой, будущими младенцами. Не на всех книгах, на избранных. Какое-то в этом было послание. И вылетали оттуда, рея по комнате, эти насекомые ангелы, чуть шевеля под собой длинными ниточными руками-ногами, и зависали у лица, исполняя причудливый танец. И тишь во все края за окнами.

В конце восьмидесятых, когда переехал жить в Гурзуф из Киева, достался мне при обмене участок земли на холме с крохотной дачкой и чудесным видом на море и горы. У многих в Крыму были такие садовые участки, называемые самозахватом, но это не мешало считать их частной собственностью, а спустя годы и узаконить. У меня прежде не было своей земли, воодушевился, сочинял сад, все цвело и плодоносило – от персиков до хрена. Пировал там с друзьями, когда приезжали. А за плетнем хозяйствовал доброжелательно прижимистый Гриша, служивший агрономом в Артеке, и мерял у себя рулеткой каждую лунку, сверяясь по методичке перед посадкой, и поглядывал на меня, втыкавшего палку наугад и уезжавшего на месяц, а палка распускалась побегами инжира. Счастливые годы безвременья, яйла над поселком, где еще водились стада оленей, пустынное побережье в несезон, книги, дачка, и где-то по ту сторону всего этого едва ощутимая жизнь страны с почти незамеченной мной сменой эпох. Гриша жил в том же доме, где и я, ниже этажом, в сплоченной семье – с женой, работавшей в ЖЭКе, двумя физкультурными сыновьями и тремя большими холёными собаками. Со временем отлучки мои становились все длительней – в Европу, Америку, и однажды я сказал Грише, чтобы присматривал за участком, а если хочет – может сажать там что-нибудь для себя. Вернувшись полгода спустя, увидел, что дачки моей нет, есть удвоенный и огороженный забором участок Гриши. И сам он удвоенный с поднятой дыбом шерстью к предстоящей схватке. Я представил себе все дальнейшее, вряд ли когда-либо разрешимое, как арабо-израильский конфликт, и отпустил. Не то чтобы вычеркнул из жизни, но выключил там свет и вышел. Да, непротивление нелегкое дело, когда не на словах. Особенно если касается земли, дома. Но всякий раз делаешь выбор из этих двух путей. И это вовсе не связано с пресловутой духовной свободой от привязанностей – материальных или любых других. По мне – напротив: привязывайся и во все лопатки, в этом твоя близость с жизнью. Но и умей отпускать. Как осень лето. Как и потом, когда Крым станет российским, а ты – иностранцем по отношению к своему же дому, и свет замигает и здесь.

Как странно, уже двадцать лет жизни в Мюнхене. Но там ли я, жил ли? Поначалу – да, и путешествия по Европе, а потом интерес поугас, началась Индия. Отъезды и возвращения. И всякий раз, идя по улице или гуляя в парке, задумавшись, вздрагиваю, вдруг слыша немецкую речь. И доходит не сразу, где я. И нередко спрашиваю себя, как бы дед, прошедший войну, отнесся к этому переезду. В тот день в сорок первом, когда Киев бомбили, бабушка с девятилетней мамой были на дебаркадере, оборудованном под плавучий санаторий, дед на весельной лодке переплыл Днепр под рвущимися бомбами, взял жену с дочкой и, когда они дома слишком долго собирали вещи в эвакуацию, вытолкнул их налегке, выбросил ключ, посадил в эшелон и ушел на войну. Считанные случаи в его жизни, когда, к удивлению знавших его, вдруг так решительно проявлял себя. В той самой жизни, где все мы в какой-то мере проявляемся, а о нем и этого не сказать, бог весть, в каком измерении он пребывал, кроме тех считанных раз. С той же безапелляционностью, когда родилась мама, прислал краткую телеграмму: назвать Майей.

Куда ж деть себя, где ты, жизнь, где ты, Мисюся? Покинул Тирупати и на следующий день к вечеру оказался в небольшом поселке на границе со штатом Тамилнад в заповеднике Коундинья. Зашел к лесникам, крестьяне возбужденно толпились на подворье. Оказалось, один из жителей убил дикого кабанчика. Вернее, кабанчик сам убился, сунувшись на огороженный проволокой под током огород. За кабанчика – штраф или тюрьма. Крестьяне пришли

заступиться. Когда поутихло, договорился, что завтра меня лесники свозят показать заповедник. Долго изучали мои документы и бумаги, фотографировали их и меня, звонили в город, согласовывали. Притом что, насколько я знал, заповедник у них пуст, только слоны, да и то раз в году в период миграции. Наутро едем. Тремя мотоциклами. Взбираемся на наблюдательную вышку, там они делают селфи со мной – их задача выполнена. И напоследок показывают в своих мобильных снимки людей, съеденных тиграми, видео со слоном, сбитым поездом в глуши – слон привалился к откосу, вздыхая и беспомощно озираясь на остановившийся за спиной поезд.

Перебрался из заповедника в Могилу, оттуда в городок Колар с двумя древними храмами. Первый – храм Шакти, фасады испещрены древними текстами, резным орнаментом букв, то есть буквально ни пяди невербальной нет, письменный храм. Другой – шиваистский, там присел в безлюдном дворике и долго смотрел жизнь на высокой башне, где выясняли свои отношения попугаи, совы, орлы и зеленые голуби.

Как ни парадоксально, говорю тому молодому монаху, сидя с ним на завалинке, но люди, желая счастья себе и друг другу, подсознательно его сторонятся – за его кратким всплеском неминуем спуск, если не срыв вниз. Смеется. К испытанию счастьем, как и его младшей сестрой – радостью, говорит, нужна смелость и открытость. Или блаженная слепота.

Вот у кого было хоть отбавляй смелости и открытости – у дочери. А за ними в глубине – неуверенность и отчаянье. Как и у меня, с этим зорким самонадеянным зрением – вроде бы видеть как есть, но и перерисовывать на ходу в то, что хочешь видеть. Блаженная слепота. Испытанных счастьем. Именно там и гнездится отчаянье. Какая улыбка у нее была – безогляднее не бывает. И глаза – яснее дня божьего. И ноги длинные, неземные – чтобы лететь... Лететь.

Сколько же путей-дорог у нас было с ней, когда чуть подросла? Отвезли нас на лодке в бухту на мысе Аю-Дага, договорились, что заберут через несколько дней, но шторм разыгрался, неделю лодки не было, ютились в отвесных скалах, как птицы, над заливаемой волнами бухтой. И я рассказывал ей об Ифигении в Тавриде, о храме жриц любви, который стоял на вершине этой горы, и срубленные головы мореплавателей наутро катились по уступам скал по обеим сторонам от нас и падали в воду, она прислушивалась, вздрагивая, и вдали уже проступал парус Ореста... А потом она еще подросла, и мы ушли надолго по горному Крыму, жили в пещерах Тепе-Кермен, и однажды после долгих скитаний поднялись на Мангуп и обомлели: на вершине залитого солнцем пещерного холма стоял большой вертолет и ни души вокруг, лишь пенье цикад. Прошли еще немного, раздвинули кусты, а там на полянке сидят обедают летчики. Разговорились, я пошутил, спросив, не станут ли они кудесниками для вот этой девочки, мечтающей немножко полетать? За скромный гонорар в сто долларов, что по тем временам были приличные деньги, но все же не для таких авантюр. Шутка не удалась – полетели! Мы с ней и летчик в накрахмаленной рубаше и галстук, несколько эллипсов вокруг холма с киношным зависанием у пещер. Как же она счастлива была!

Могила, Колар, потом деревушка с непроизносимым именем. Окраина, вдали за окном ночлежки – шамшан, жгут кого-то, звук барабанов. Где-то в той же стороне за шамшаном – аэропорт, утром вылет. Ну вот и все, еще выйти, побродить, проститься с днем. Ветерок оттуда, сладковатый дым, как листья жгут, листованой человек, прогорающий. В прежние времена для погребального костра брали два мана сандала, четыре мана топленого масла, пять серов камфары, полтора сера алоэ и десять ман твердого дерева. И лучше в Варанаси, чтобы избежать восьмидесяти четырех тысяч перерождений.

А что противостоит необратимости? Творчество? Черновик, переписывание, порой неудержимое, как у Врубеля? Входя в те пределы, которые вроде бы этой перезаписи не подлежат: в жизнь, отношения с людьми, временем, миром? И жизнь поддается. Порождая и чудеса, и инвалдов рая.

Вернулся, стоял у окна, к чему-то прислушивался внутри – дальнему, неречевому. Минуты настоящей близости с жизнью – бесчеловечны.

В последних лучах солнца пролетел ибис, истошно голоса, и потом еще долго стихал скрипучей жалобой небесного нежилого дома.

Тарибандер

Прошел год. Взяли рикшу, едем с ветерком вдоль океана. По пути подсаживаются женщины-рыбачки с корзинами, возвращаясь из Харнай с рыбного рынка в свою деревню Панчпандари, живущую одним бесконечным лабиринтом дворов и переулков с никогда не закрывающимися дверьми домов, где коровы, собаки, дети, рыба, коты и женщины давно срослись в единое существо. Рыба сушится, серебрясь по всей земле, и моросит, как дождь, подвешенная на нитях. Дети и коты болтаются по небу, стоящему на коровах. А женщины с хриплыми птичьими голосами могли бы взглядом класть на дно корабля, но некогда тратить себя на такие мелочи – у них рукопашный рынок на рассвете и закате, где они полыхают в грязи и гомоне такой красотой одежд и тел, что не сразу видишь восходящее над океаном солнце.

Едем мы и поем в голос: рыбака Соня как-то в мае... И рыбака, сидящая рядом, с удивлением поворачивает к нам голову, и на лице ее проступает неуверенная улыбка, и всё ширится, и наконец она кивает нам, понимая: да, да, но дело, видите ль, не в том. Потому что эти двое пришельцев неумно счастливы, и поют, поют, и бог с ним, что у него не очень-то со слухом, зато от души, а у нее – всё чудесно, и голова ее на его плече. И рикша отводит взгляд в смущении.

И вот Панчпандари, где нас уже знают, позади, едем дальше – к устью реки, впадающей в океан и выпадающей из него, с течением в обе стороны, смотря в какое время дня. Там рыбацкие корабельные доки, за которыми мусульманская деревня Тарибандер с двумя мечетями. А на той стороне реки – безлюдье до горизонтов, безвидный песок и небо. И заросший мангровым лесом берег реки с деревьями, забредающими в воду по грудь, а в часы отлива отступающими до лодыжек. И в зарослях – брошенные, оплетенные лианами корабли. На тот берег везет маленький сухенький Яма на доисторическом челне с противовесом, похожим на длинную, скользящую по воде оглоблю – древний прообраз катамарана. Паромщик стоит на корме с шестом, бос, просмолен, в высоко подоткнутой лунги и взглядом поверх обозримого. В челне, кроме нас, мусульманка в никабе, и мы горланом: поедем, красотка, кататься... Верней, горланю я, поглядывая на нее, Тая смеется, подпевая, а она все выше подтягивает свой никаб, но видно, что под ним улыбается.

Однажды обнаружив эти места, мы нередко сюда ездили в течение этих лет. Переправлялись на челне, шли по прибрежному песку к устью, раздевались догола и ложились у воды. Тая могла так лежать жизнь напролет, а я, опоясавшись куцым индийским флагом, наматывал праздные круги по золоту суши и серебру воды, и возвращался к ней, любуясь то вблизи, то издали. И счастье было таким первозданным, именно что. И такой радостный пес носился внутри, ну что ему скажешь, приходилось не подавать виду, ходил благороден, гол и задумчив вокруг якобы спящей красавицы.

Каждый час с обоих минаретов за рекой раздавалось пение муэдзина. Второй муэдзин чуть запаздывал, и получалось вынимавшее душу двуголосие, лившееся над этим безлюдьем и безвременьем, над пустынным берегом с выгаченными на сушу кораблями, над мангровыми лесами, над маревом океана с желтоволосой звездой над ним, над нами и сквозь нас. Я брел по воде и подпевал: «Рам, Рам», – успевая вставить этот ответ индуизма между двумя «Аллах Акбар», которые тянул муэдзин. И оба мира переплетались.

Было два дня до ее отъезда в Севилью, я собирался еще остаться, и, видимо, надолго, думая о дальнейшем путешествии, перебирая варианты. Что-то необычайное происходило с нами. Будто кто-то незримый взял нас в ладони. И такая нежность друг к другу, и тихая радость, и столько света... но с нестерпимой собачьей печалью в глазах. И какая-то незнакомая прежде бережность друг к другу. Страшно сказать – на грани понимания. И грань эта дрожит, как жилочка. Потому что расстаемся? Но не впервые и ненадолго ведь.

И вот неслись на этой разухабистой бричке-таратайке, смеялись, пели громко: «Капитан, капитан, улыбнитесь» и «Загулял, загулял мальчонка», и «Утомленное солнце», и жались друг другу, и она так щекотно вдруг подцеловывала в плечо и шею, и рыбачки смущенно отворачивались.

А потом переправились на тот берег, легли у воды лицом к лицу, и я тихонько ей: «всё вы, губы, знаете, всё вы, думы, помните...» Нет, улыбается, губы – помнят, думы – знают. Ладно, говорю, и снова: всё вы, губы, знаете... Она льнет поцеловать меня, но я смеюсь и чуть отстраняю ее: дело ведь, говорю, серьезное. Абсолютно, шепчет она. И тут эти два муэдзина затягивают свою песнь, мы уже сидим спиной к спине, она запрокинула голову, положив ее мне на плечо, и прикрыла глаза. Губы окаянные, думы потаенные, поем мы, и муэдзины тянут второй голос: Аллааа Акбар, и долгая их песнь, сплетающаяся с нашими голосами. Верней, создающая какую-то сводящую с ума потустороннюю акустику. Бестолковая любовь, головка забубенная... И я чувствую, как на предпоследнем слоге первого слова лицо ее чуть кривится от горечи, вкладывая в это подчеркнутое ударение всю безнадежность усилий. Муэдзин вдруг смолкает и проступает завыванье собак за рекой. Всё вы, губы, помните... Она находит за своей спиной на ощупь мою ладонь. Позову я голубя... Порывы ветра глушат голос, срывают его с губ, голова ее запрокинута, глаза прикрыты, ладонь в ладони. Пошлю дролечке письмо, и мы... Встаем, идем к воде порознь, я ныряю и плыву под водой, плыву... уже нет воздуха, совсем его нет. Она нагибается, споласкивает от песка ладони и идет вдоль берега, поддевая ногой нити воды.

Люба МАКАРЕВСКАЯ

Хочется речь
вывести
на веревочке
погулять

Слабую нежную
в своем трепете

Равную нам
в снежный
день.

Уже не помню
как ты выглядишь
но помню твой
запах

Возможно
у тебя никогда
не было
лица
внутри моего
сознания

И тебя самого
никогда не было

Только запах
от которого
мое тело
становилось

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах «Дружба народов», «Транслит», «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», «Незнание», на платформе «Ф-письмо», сайте «Сноб» и в ряде других сетевых изданий. Вошла в шорт-лист премии Bookscriptor в жанре «современная проза». В 2017 году выпустила альманах «След», посвященный теме насилия. Автор книг «Любовь» (2017), «Шов» (2019), «Еще один опыт сияния» (2022). Стихи переводились на испанский, польский и английский языки. В «Волге» публиковались стихи (2017, 2018, 2019, 2021).

длинным
бесконечным

Я жмурюсь
от удовольствия
и стыда
как кошка
на солнце
как на операционном
столе

Память – это
золотая медаль
на моем языке
и все слои
сняты

Твоя новая
женщина
ее волосы
брови
эпителий

Как огромная
огромная
огромная
эта пропасть
гулкая как
летний
дождь.

Огонь
на языке
у каждой
из нас

Звуки
воды
смеха
и смерти

Ты еще
помнишь
как страх
меняется
доверием?

И голос
ломается
как самое
хрупкое
из ребер

Когда
я прикасаюсь
когда
ты прикасаешься.

Они были
и я была

Любая жизнь
стремится
быть
зафиксированной
почти БДСМ
практика

Но что
поделать
с любовью?

С тем как
она учит
смотреть
на животных
и детей

Когда в сто
первый раз
за день
ты коснешься
глазами
новостной ленты
пожалуйста
вспомни

Что я хотела бы
быть размером
со снежинку
чтобы лежать
на твоём
языке
у тебя
во рту

Пока мир
как чужой
оборачивается
в холодное
пламя
в эхо
и гаснет.

Я вырастила
в себе
знание
его сияние
чистое
как кристалл

Как нагота
другого
становится
бесконечностью
в сознании

Слова
истончились
как после
любви
или смерти
их больше
нет.

Всегда есть
я
и другие
всегда есть
ты
и другие

И знание
из которого
мы вышли
неприкосновенные
словно дети.

Я видела
как она
превращалась

в свою
могилу
в память
о себе
самой

Ты же
словно
осколок
меня
самой

Если
нас
соединить
то получится
сверхчеловек

Или мотылек
без глаз
речь
без глаз

Синяя
река
ее холодный
властный
огонь

Его молитва
об ушедших
и живых
о первых
и последних
о нас самих
во власти
тьмы.

Мое желание
сойти с ума
и твоя
секретная
способность
так близко

Близко
как больничный
свет

Всегда есть
комната
дом
где ты
только мое
отражение
и я только
твое
отражение

Звезды
с неба
как скальпелем
срезаны
сорваны
как анютины
глазки
васильки

И разрезаны
надвое
чтобы темнота
не скрывала
нас
друг от друга

Укрывала
как черных
и злых
зверей
как в пещере
детей
на самом
краю детства.

Ребенком
я могла
плакать
просто
потому что
время долго
идет

Могу
и сейчас

Когда
идешь

в потоке
метели
нет ничего
кроме
нее

Уже
не различаешь
рук
лица
помнишь
только далекое
тепло
в температуре
честное
как первое
объятие.

Искала
тебя
в других
не находила
скользила
как по поверхности

Если бы
мы были
только пластиком
в слюне
витрин и взглядов
А не то что
есть наши
тела

Голые
осиротевшие
и их соприкосновение

Ты можешь
вспоминать
как счастье
свободу
забвение
всегда
по-разному

Как детство или
зиму

Теперь я
хотела бы
стать птицей
чтобы не помнить
ничего кроме
момента взлета
как не помнить
ничего кроме
одержимости.

Тело
фарфоровое
в своей
обнаженности

Кварталы
города
прежде
поделенные
на озноб и
влагу

Теперь
просто
стенограмма
сухая
карта памяти

Когда
достанешь
флешку
из телефона
положишь
ее на ладонь
или язык
как бритву

Вспомнишь
крик
две три
отметины
ниже локтей

Их движение
к запястью
как к лицу
как к смерти
или ласке.

Я шла мимо
кустов
и вдруг увидела
саму себя
белую
с перерезанным
горлом

За неделю
у кого-то
может родиться
ребенок
оторваться
тромб

А я вижу себя
белую
как снег
посреди тьмы
и листвы
с застывшим
взглядом
всю в крови

И хочу узнать
это мертвое
тело
это мертвая
я
все еще
думает о тебе
или уже наконец
нет

Только звездное
небо и
металлическая коса
над головой
только ее свист
только юность
только вечность
впереди.

СМЯТЕННЫЙ ХОЛОД ОСЕНИ

Рассказ-зарисовка

1. Обстановка

В пору листопада Москва пробуждает в умах поэзию. Ранней и поздней осенью славно писалось Александру Сергеевичу Пушкину. После аудиенции 8 сентября 1826 года в Кремле у императора Николая Первого Павловича и перед возвращением в ноябре того же года в Михайловское русский гений жил в Первопрестольной на Старой Басманной улице и размышлял над завершением пятой главы романа «Евгений Онегин».

Прошло 164 года.

Две Германии объединились. Президента СССР наградили Нобелевской премией мира. Удмуртия и Башкирия объявили себя союзными республиками, Армянская ССР провозгласила свою независимость. В столице Союза сотни тысяч митинговали с плакатами «КПСС капут!», «Сам вышел из КПСС – помоги товарищу!», «Бориску на царство!» и другими, не хуже. С трибун говорилось:

– Родная партия, верная социалистическому выбору, довела страну; зарплату платят, а товаров нет, в Москве пропал хлеб.

Власть теряла точку опоры, не знала, за что хвататься, как теперь быть, что делать, как себя вести.

2. Муж и жена Гавриченко

Ольге Аверьяновне было двадцать семь лет. Она уволилась из Госархива, ушла в кооператив, где платили почти в два раза больше, и шила спортивные костюмы. Но через полгода кооператив развалился. Женщину взяли в архив обратно, снова старшей научной сотрудницей.

Утро было ясное, небо – голубое, как весной. Гавриченко приехала на работу в югославских сапогах «Костанай» (чего стоило их достать!).

Начальник отдела собрал всех и объявил:

– Норма два дня на исполнение одного запроса устарела. Ввожу новую норму: один день на исполнение одного запроса.

Подчинённые молчали. Ольга Аверьяновна спросила:

– Это будет согласовано с профсоюзным комитетом?

Шеф не ответил.

Павел Чхартисвили родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский техникум автоматики и телемеханики и исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. 40 лет работал в Государственном архиве РФ, почётный работник этого архива. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Преподавание истории в школе», «День и ночь», «Север», «Урал», «Подъем», «Южная звезда», «Сура», «Байкал»; в «Независимой газете». В «Волге» публикуется с 2018 года. Живет в Москве.

После собрания Гавриченко пошла в хранилище за архивными делами. А там шла съёмка фильма. Режиссёр ей предложил:

- Сыграйте прокурора.
- Как? – удивилась архивистка.
- Сядете за стол и будете листать документы. Только халат снимите.

Так Ольга Аверьяновна побыла актрисой.

В это время муж её Терентий Остапович, сорокадвухлетний ведущий инженер, навещал свою подругу Виолетту Матвеевну Милашину. Подруге было тридцать восемь, её сын служил матросом на Северном флоте. Виолетте был необходим мужчина в доме, прежде всего в качестве опоры в жизни, как и всякой нормальной женщине. Гавриченко любил её и жену Ольгу. С женой у него совпадала большая часть интересов, но Ольга была слишком юной. Милашина же обладала уникальным жизненным опытом, к тому же была феноменально интересным человеком. Терентий Остапович не изменял жене физически, секс как таковой значил для него мало, ему было интересно не тело, а душа.

Вечером Ольга Аверьяновна рассказала супругу о съёмках. Это его рассмешило. Сообщила ему также, что начальник не собирается согласовывать повышение нормы с профкомом. Терентий Остапович ответил:

- Профком не станет противоречить администрации.

Они пошли в универмаг, пришли за полчаса до его закрытия. На втором этаже увидели небольшую очередь. Что дают? Японские зонтики фирмы «Три слона». Постояли, после чего Ольга Аверьяновна показала продавщице синюю визитную карточку покупателя со своей фотографией. Такие карточки выдавали в ЖЭКах москвичам, чтобы иногородние ничего не могли купить в столице. Ей продали зонтик, на этикетке были изображены три слоника. Когда выходили из торгового зала, очередь уже тянулась по лестнице. Но время работы магазина кончилось.

Вернулись домой. Жена сказала, что ходит, купит ещё один зонтик: племяннице. Наутро явилась в универмаг к открытию. Но выяснилось, что все зонтики уже проданы. Как же так? Ведь ночью магазин не работал.

Терентий Остапович прокомментировал:

- Они хороший товар продают в самом конце рабочего дня, для вида. После закрытия пробирают все чеки и забирают товар себе, для перепродажи по другой цене.

Над входом в ЖЭК висел плакат «Поддержим курс партии на трезвость!». Гавриченко выпивал редко и немного, но надо было отоварить полученные в ЖЭКе разноцветные, с печатью Моссовета талоны на водку. Он подошёл к очереди в винный магазин. В ней стояло немало пенсионеров, продававших своё место в очереди желающим. Среди них он увидел соседку по этажу. Она его пропустила. Мужчина, стоявший за ней, запротестовал. Женщина ему соврала:

- Это мой зять.

Через полчаса к Терентию Остаповичу приблизился его знакомый, спросил:

- Ты мне занял?

Что Гавриченко мог поделаться? Он сам влез без очереди. Если бы он ещё кого-то пропустил, их бы убили обоих. Терентий Остапович отрицательно повёл головой.

С того дня знакомый перестал с ним здороваться.

До закрытия магазина очередь не прошла. Люди записались на следующий день, номера писали фломастером на руках. Некоторые остались дежурить – держать очередь на ночь. Утром Терентию Остаповичу повезло: его очередь ещё не прошла. Он простоял час на холоде, очередь застыла на одном месте. Гавриченко пошёл ко входу в магазин. У входа стояли два крепких парня, они пускали в магазин кого-то из очереди и двух своих приятелей. Эти приятели, взяв водку у хорошо знакомой им продавщицы, шли к началу очереди, где водку продавали по двойной цене желающим, потом опять шли в магазин. Возмущённый ведущий инженер попытался пройти в магазин. Его не пропустили. Из магазина вышли двое и начали его бить, приговаривая:

– Пошёл вон! Это наш магазин.
(Магазин был государственным.)

Терентий Остапович упал. Кровь летела по асфальту.

Проходил сержант милиции, не стал вмешиваться. Гавриченко встал, обтёр лицо платком и вернулся к своему месту в очереди.

3. Супруги Логуновы

Онколог-уролог Илья Владимирович на митинги не ходил, но рыночных реформ ему хотелось. Он жил с женой и дочкой в двушке близ метро. С юности привык к утренней промывке мозгов политикой. Сегодня выбрал на книжном развале газету «Альтернативная позиция». Обратил внимание на разложенные продавцом удостоверения. Лежала красная корочка с названием «ЦРУ». Логунов спросил:

– Почему надпись «ЦРУ» – на русском языке?

Продавец задумался. Тут же красовалась «Моя борьба» Адольфа Гитлера с физиономией уса- того фюрера на обложке. Илья Владимирович подумал: ну и ну.

В вагоне метро было тесно. На кольцевой удалось сесть. Он вынул газету и прочитал, что свободный рынок и честная конкуренция послужат гарантией дешевизны продуктов и товаров, экономический либерализм неизбежно предопределяет демократический политический режим. Вот и славно, подумал он.

В хозрасчётной поликлинике Илья Владимирович объяснил семидесятилетнему посетителю, что у того весьма вероятен клинически незначимый рак простаты, и только; такой рак, в отличие от агрессивного рака, не убивает. Посоветовал старику успокоить родных, соблюдать диету, принимать таблетки, через год снова замерить ПСА и явиться для проведения МРТ органов малого таза.

Логунов полагал, что врач должен не поднимать пациенту настроение гуманным враньём, а сообщать истину.

В конце дня к нему зашёл поболтать сексолог Терехов. Илья Владимирович обычно налегал на темы о жизни и о её смысле. Сексолог кивал и рассказывал примерному семьянину о том, с кем вчера спал. Терехов любил женщин, не идеализируя их. Он считал, что хотя все женщины суетны и завистливы, даже лучшие из них, но они всё равно, в подавляющем большинстве, лучше и интереснее мужчин. С мужчинами (кроме Ильи Владимировича) ему было скучно. Ещё он умел в условиях тотального дефицита доставать спиртное, а на вопросы отвечал:

– Места надо знать!

Супруга Ильи Владимировича, тридцатипятилетняя Ираида Степановна, редактор, с утра спорила с прозаиком, не соглашавшимся изменить idiotские названия своих хороших рассказов. Так ничего и не добиравшись, оставила как было.

В издательстве квартальная премия издавна представляла собой определённый процент оклада, одинаковый у всех сотрудников. Но недавно директор заявил на собрании:

– Прекращаем уравниловку. У тех, кто в квартале работал лучше, процент оклада будет выше. Актёрский зал затаил дыхание.

И вот на доске объявлений появилась ведомость на премию за третий квартал. Все примчались её читать. До инфарктов и заявлений об уходе дело не дошло, но сколько было смертельных обид! В итоге директор решил отказаться от новшества и впредь не травмировать людей.

Он единственный в издательстве ездил в заграникомандировки и из экономленных командировочных составил себе состояние в иностранной валюте. Коллектив завидовал. Возмущённая Логунова повесила на доске объявлений дацзыбао о митинге во дворе.

Было прохладно, но народ собрался. Из подъезда вышел директор и пристроился к толпе. Сказал:

– Я полноправный сотрудник и имею право прийти на митинг.

Ираида Степановна говорила о его командировках и о том, что в эпоху гласности коллектив должен сам выбирать директора. Зачитала проект резолюции. Но коллеги в присутствии босса не поддержали реформатора.

4. Дети

Восьмиклассника Витю Гавриченко учитель спросил:

– Какая партия свергла якобинцев?

У парня вертелось в голове: бургундцы... нидерландцы... Наконец вспомнилось:

– Термидорианцы.

Потом писали сочинение на вольную тему. Гавриченко описывал хоккейный матч «Динамо» (Москва) – «Сокол» (Киев), в котором москвичи победили 5:3.

В конце урока учительница попросила Сашу Логунову прочитать своё произведение. Девочка вышла к доске, и у Вити дух захватило. Саша читала о вокзалах, расставаниях, встречах. На одноклассников повеяло чем-то взрослым.

После занятий Витя пригласил Сашу в Макдональдс. Долго стояли в очереди. Вошли. Там было чисто, красиво и продавщицы не ругались. У Гавриченко водились денюжки, поскольку он по воскресеньям продавал парфюмерию. Шиканул: два гамбургера, две кока-колы и два молочных коктейля. Десять рублей. Потом, когда шли домой, рассказал Саше о поведении покупателей духов. Подходит человек и говорит:

– Как дорого!

Гавриченко:

– Так ведь французские.

Подходит другой и говорит о тех же духах:

– Как дешево! Это не Франция.

Витя:

– Это Франция, Ульрик де Варенс, могу вам подороже продать.

Проводил Сашу до подъезда. Она поцеловала его в щёку. В холодный вечер в душе парня разлилось тепло.

5. Снова муж и жена Гавриченко

На прилавках уже не было почти ни черта. Но Ольга Аверьяновна всё равно боялась, что правительство отпустит розничные цены: тогда всё появится, но уже по ценам чёрного хода и заднего крыльца. И так плохо, и так плохо.

Возвращаясь из архива, зашла в подвал магазина за заказом, включавшим батон столовой колбасы, килограмм гречки, 250 граммов халвы, чай грузинский «экстра» и 56-граммовую баночку икры зернистой пастеризованной. Встала в очередь. В подвал вошёл мужчина и протянул продавщице пустую литровую банку. Через минуту она ему вынесла эту банку, полную красной икры. Мужчина так же молча взял банку и ушёл. Очередь разинула рты. Гавриченко оторопела.

Дома её муж читал газету «Свободный референдум». Узнал из неё, что цензура будет запрещена, что свобода жизненно необходима любому, к тому же она укрепит Союз Республик; государства, из которых уйдут советские войска, не станут членами НАТО. Оставалось порадоваться.

Он подумал о подруге. Милашина была личностью светлой и абсолютно позитивной. Вспомнил её упрёк: «Ты обленился и опустился. Бросай курить, начинай качать пресс и бицепсы».

Потом по второй программе Центрального телевидения показывали встречу московских читателей с русской советской писательницей. Супруги Гавриченко привыкли к тому, что всем известные люди нередко, собрав полный зал, несут чепуху. Но дама удивила. Её спросили:

– В вашей повести «Вечер в Валмиере» русский мужчина из Красноярска встречает прохладной осенью красивую латвийку, влюбляется в неё и объясняется в любви. Это вами придумано или было на самом деле? Улвис Калныньш, корреспондент газеты «Циня».

В ответ прозвучало:

– Это не придумано, это было, это было всегда и это будет всегда, что бы ни говорили и ни писали в Риге и Москве.

6. Опять Логуновы

Ираида Степановна возвращалась с работы. В подземном переходе озябшие пожилые люди предлагали проложить тапочки, зажигалки, перчатки, батарейки, «Красное и чёрное» Стендаля, «Свой круг» Людмилы Петрушевской, носки, дипломы, дыню, тёмные очки. Женщина с толстой пачкой газет кричала:

– «Дайджест» – вечерний информационный бюллетень!

Логунова купила «Дайджест».

В универсаме, предъявив визитную карточку покупателя, приобрела 240-граммовую банку килек в томатном соусе, которыми в восемьдесят седьмом году угощалась в Москве британский премьер-министр госпожа Маргарет Тэтчер. Ещё Ираида Степановна ухватила (повезло) последние девять люля-кебабов. Всё пригодится к юбилею мужа.

Дома, сняв пальто, села в кресло с «Дайджестом». Новости были судьбоносные: защитник съел доказательства из дела; слепому инвалиду подарили телевизор; выпивший автомобилист не сел в машину, а пошёл пешком; публичные дома возвратятся; генетики доказали, что отец всегда старше своего сына; на совещании из шкафа неожиданно вышел человек; презервативы – лучшим из лучших...

В это время её муж шёл от метро к дому. Бодрящий холод обволакивал тихий переулок. Медленно кружились и падали листья, раскрашенные талантливой колеровщицей – природой. О чём мыслит человек, которому в воскресенье стукнет сорок? Илья Владимирович подумал: впереди полжизни. И ещё подумал: попрошу Терехова раздобыть вино.

Всей семьёй смотрели по первой программе ЦТ популярную информационно-развлекательную программу «Взор». Ведущий объяснял, почему даже во время перестройки длинная очередь в мавзолей:

– Это городская достопримечательность. Если бы там лежал не лысый дурак Ульянов, а величайший египетский фараон Тутмос Третий – Наполеон Древнего мира, то хвост, состоящий из гостей столицы, был бы ещё больше.

Затем Саша смотрела «Марафон-15», в котором ей нравилась рубрика «Между нами девочка-ми». В своей комнате слушала записи Ласкового мая: «И об осени забыли мы, но она поспешила напомнить школьной формой, холодным дождём... и трава, и жёлтые листья... пожелтели аллеи, тропинки... я так жду в осенний день немного лета... и осени дым, и осени дым».

Ираида Степановна легла спать.

Илья Владимирович жалел, что совсем забыл латынь. Да и студентом он её толком не знал. У него всю жизнь было хобби: стихосложение. Он напевал под три аккорда на самодельные мелодии свои стихи гостям, те хвалили и уверяли его, что он поэт. К чести Логунова, он в этом со-

мневался. Сейчас подумал о концерте Юлия Кима, на котором был недавно с женой. Вспомнилась строка из песни: «Ой, правое русское слово – луч света в кромешной ночи!..».

Ирина Степановна проснулась и спросила:

– Ты что не ложишься?

Супруг зачитал:

Юлий Ким, Юлий Ким,
Я хотел бы быть таким.
Пусть очки, пусть малый рост.
Он с гитарой, он не прост.
Боевитость и азарт,
Одарённый тонкий бард.
Настоящий менестрель:
Попадает точно в цель.
О любви и о войне,
О тебе и обо мне...

Жена подала мысль:

– Пошли Юлию Черсановичу.

Она вспомнила, как в первые годы замужества, когда Илья находился в соседней комнате, у неё таяло сердце от счастья, что он здесь, рядом.

Логунов ходил, садился, вставал, всматривался с надеждой в законную тьму, мечтая продолжить стихотворение. Но никто из космоса больше ничего ему не диктовал.

2021

Катя СИМ

ПОЛДЕНЬ

1.

Я нарезал бумажные маски
Чокнутого, енота
Для Даши – овцы-сноходца
Мы играли весь день, а наутро
Она сказала, что больше не будет играть
Моя овечка
Я думал о ней, засыпая, всё лето
Считая долговязых девочек

2.

Сокрыто опыление спички.
Вертлявый огонёк – заговори со мной, пусть тут смартфоны, умные часы
Ведь я такой же глупый огонёк. Я говорю о звёздочках в глазах
Как будто тело всё ещё держалось, когда бог ветра разбивал слизней.
Они останутся навеки в языке?
Я так любил прививки и кирпич, и бережные своды остановок.
Гвоздь гостяной, останови лицо – оглох я.

*Он шёл тропкою палочек и снега
Волнился пузырьками уж из выхлопной трубы
ты сам хоть видел радиоприёмник
и вертикально смятое метро*

– тот миг знаменье, муравей и инженер
Он на высоком дереве сидел
упал

Я рад быть тем, кто смотрит из себя
И только так сравнимы со звездой
Когда мой друг не получает медотвод

Катя Сим родилась в Самаре в 1991 году. Стихи публиковались в журналах TextOnly, «Цирк Олимп+TV», «Флаги», на сайте «Полутона», портале «ГРЕЗА», в антологии «Воздух чист... Книга русской и французской поэзии» (Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2018), в альманахе «Чёрные дыры букв», в поэтической антигазете «Метромост» (Нижний Новгород), самарских изданиях. Куратор региональных литературных акций. Лонг-лист Премии Аркадия Драгомощенко (2019).

Другой зачем-то за волосы таскает
А я им всё сравнимы со звездой

Да будут луковицы бабушки сажать
И выведут грубейшие цветы
Их руки волосатые и коромысло

Хотя бы дача если нет земли
Хотя бы в очереди кто заговорит

3.
я комиссар, я пионервожатый
топчется тлеющий куст вроде мальчиков с выпускного
я народ, я рабочий, я тоже мыла
в богатых коттеджах икеевские унитазы

прораб оксана наставник учитель воин
учила их мыть залезая туда руками

нет нет зелененький вавилон
никто не умер

я не помню не помню оксана точно не говорила

4.
Схлопнуть до следа проявленную ревность/ненависть к отражениям.
Мы определили его как небесного сына/коготь/поглощающую(емую структуру)/ворону

В узнавании разбить фонарик (в декларации молчания больше насилия – змеи длиннее, принуждают к стыковке).

Слизь рассматривать безопаснее, чем кражу.

Скрытая интервенция: ворона решила, что спрятала /конфету/. Значит, дело в богах?
Мама говорила, стыдно смеяться над младшими.

Властное извращение – переходящая иерархия силы духа.
Ну-ка вызовите слизь на этическую комиссию!

Полдень на гипсовой голове медусы драпировки – упрощение змей. Разрезать близнецов? Их границы сцеплены слизью, кто из нас умеет что? Я её понимаю – запертую в разряженном поместье, трагедия – ярмарка, коробка с чудом – бумажные зверьки. Она думает о природности пресыщений, может, в силу желудка мыши.

Смещение общественного договора: как телефон, отрезанный от зарядки, видишь – даже в городе безопаснее перемещаться по островкам света, формации тени, фильтруп базар, но удивительно тут: дедушка, дедушка, порвался пакет, выронил крабовые палочки

А что ты нам еще покажешь?
Опять воронки? Гиперпрыжок на склон

Просто длинная прогулка от любого здания на краю города до вокзала.
Вижу – что? Растянутый прогиб зелёной ограды, лишённый ценности.

5.
Тень дерева на билборде
(не двойник – следующий за следом). Если плотность – мера, постели в низине, гири птиц.

на мелководе, белой неглубине – служебный свёрток.
Чаше урны. Я почувствовал за стеклом переплетение ног в толстых тёплых носках.

Я был одним из снежных тополей – не из бутылки, а из зонта, замерзший и праздный, как скачущая стая башен второго города. Кто теперь знает, что такое проволока? Я шёл за своим потным телом. Дедушка, поющий в купол аптеки, не следует превращениям – есть места, например, пол грузовика-скотобойни. Туша пронзительно неподвижна. Я не взлетал – застыл под балконом, звал пуговицу, грохал ногами

6.
газ, слепок доисторических птиц.
Кассир в магните дёрнула плечом – нырнула в стук двери и чужого бедра. Видение древесной пыльцы, медный рикошет арки. Чувствует ли отражения ветер, тень выделения ив? Пол – песок башенки, палочкой пишу заклинания, ищу точку, где пропасть пальца до склона. Ламберт, в квартире грибной дождь, бережно к предку – длящейся свечке, чем дальше отходишь от тела, тем быстрее изнашивается шов. Когда я вернулся из магазина, на моей кровати сидел стражник с зазубринами зубов.

Я ведь в десятом классе, записываюсь в церковный хор. Терплю колючий платок терции, вы знаете, как тут пахнет? *Весь мир до основания разрушим*, ору тебе под окном, где твоё переосмысление, *русское поле экспериментов* твою

не мать недопустимая грязь, обрубок истории, непроизводящий могильник. На зелёном полотенце вышивка журавля – голосовые складки – подспудные потроха.

А вот светящийся шарик – фонарь сломанный язык, лифт крана луна
Нужно ходить в глаза
Треть от виска – это рука песка
И я ничего не слышу
Небо проходит выше
Треть и рука – это рука песка
И небо проходит выше ветки рука

7.
Стыдно рабочие светят в инеевый люк
Переэкспонированные отверстия ягод
От глаза отслаивается вонючее чучело, но

в автобусе не отсаживается никто
Как же наказание? спрашивает Ламберт
Сестру мы оставили на полке
Меня вводят в гипсовый ящик,
Как укол полудня

8.
Рассеивающий шар

9.
У женщины из корзинки выпала рыба
Из скрученных южных звёзд – на склон.
Рыба в пыльце сосен длилась – как положено, человеком в слякоти, стай ног
В будущем у тебя будет электрический фен
Мы это всё снимем и выложим в тик-ток

10.
Это хорошо, что ввели маски.
Прости, деревце, курю на тебя.

Башенка на возвышенности: внизу грохот, роят, что ли, пуговицу, утраченную в багря-
ном снегу
носятся палки-собалки
в стрелах кедровых огоньков

что уж написалось

ты, ожог склона (буква в иной высоте
множестве)
под мокрыми искрами веток, перед прогулкой зуба голубь-труба, попрыгунчик в хо-
лодном паре посмотри, пожалуйста – здесь ли свалка
или не здесь

11.
у Анны опять техническое эхо, и это

12.
В разряженном месте краденое солнце

НЕСЕРЬЕЗНО

Рассказ

– С тобой нельзя говорить на серьезные темы, – Иванов оторвался от дороги и посмотрел на Петрова.

Петров давно уже за Ивановым замечал странные вещи. Иногда ему казалось, что Иванов намного старше и мудрее Петрова, но они были одного возраста, и Петров терялся, что же ответить Иванову. Вот и сейчас он, как ни старался, все не мог подобрать правильных слов и только и выдавил из себя:

– Почему?

– Потому что ты серьезные вещи воспринимаешь серьезно, – сказал Иванов и опять уставился на дорогу. В принципе это было правильно – глядеть на дорогу. Как-то раз они ехали ночью в Николаевку (зачем они ехали, Петров уже не помнил, это была ночь, видимо, купаться в море), и Иванов отвлекся от дороги, когда они спорили о чем-то важном или, может быть, наоборот (они часто спорили просто так), не имеющем значения, и машину вынесло на встречу, и они чуть не въехали в груженую фуру. Тогда Иванов сумел вырулить, а потом они стояли на обочине и молча и потерянно курили минут двадцать.

– А как я их должен воспринимать, – удивился Петров и развернулся всем телом от окна и уставился на Иванова.

– Несерьёзно, – сказал Иванов.

Они ехали уже час на ситроене вдоль виноградных полей. Иногда Иванов останавливал машину и выходил наружу. Он брал в руки виноградные кисти и внимательно рассматривал их. Потом говорил: «Не тот», – и они с Петровым обратно садились в машину и продолжали движение.

Петров давно хотел сделать свое домашнее вино. Утром он собрал «лидию», висящую над крыльцом, докупил шесть килограммов «молдовы», но потом позвонил Иванов и сказал, что он знает поле заброшенного, никому не нужного винограда, и хотя Петров не верил, что в Крыму в сентябре может быть заброшенный, никому не нужный виноград, он почему-то сел в ситроен Иванова и они поехали в сторону Бахчисарая.

Иванов опять отвлекся от дороги и посмотрел на Петрова.

Петров притих. Эта бескрайняя крымская степь, сливающая в своей жирной зелени с далекой синей проступью неба, казалась Петрову чем-то более важным, чем этот непонятный и, как ему все более казалось, ненужный разговор. Еще вчера Петров не понимал, как можно просто взять и куда-то поехать по первому звонку, а сейчас он ехал с Ивановым даже не зная куда, хотя ему завтра с утра нужно было на работу.

В конце концов они свернули на проселочную дорогу и поехали между рядами виноградных квадратов. Петров жил в Крыму уже второй год и в принципе знал – чем мельче виноград, тем он

Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Выпускник МГУ им. Ломоносова, учился в литературном институте им. А.М. Горького. Стихи и проза печатались в журналах «Новая Юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крещатик», «Новый берег», Ното Legens и др. Автор книги прозы «Чай со слониками» (2018), «Пылилки» (2021). В «Волге» публикуется с 2014 года.

лучше для вина. И вот сейчас они ехали и искали именно мелкий черный виноград, не более ногтя мизинца, и когда Иванов его заметил, то остановил машину и вышел наружу, открыл багажник и достал остро оточенный нож и огромный холщевый мешок из-под картошки.

– Пойдем, – сказал Иванов и двинулся к виноградному ряду, присел у ближайшего куста и стал резать кисти и складывать обрезанные грозди в мешок.

– Ты уверен, что это ничей виноград, – спросил Петров.

– Восприятие жизни это не череда правильных ответов, – сказал Иванов, продолжая срезать виноград.

Петров помялся у межи, но все-таки приблизился к Иванову. В отличие от Петрова, на Иванов были спортивные кроссовки, солдатские штаны и рубашка с длинным рукавом. Так как Петров не понимал, куда он едет, то надел сланцы, и теперь куски твердой южной земли забивались ему в обувь, и Петрову было неудобно не только собирать ничейный виноград, но даже стоять. Он отошел к машине, вытряхнул комья земли и опять подошел к Иванову.

Виноград брызгал на солнце алым красным соком, и Петрову казалось, что он это уже где-то видел или что это уже с ним происходило когда-то, хотя он в детстве собирал только картошку, а не виноград.

Квадратные грубые пальцы Иванова быстро обрабатывали куст за кустом. Петрову было неудобно тащить за Ивановым мешок, но он вдруг представил, как раньше до него в прошлых жизнях собирали виноград, и Петрову стало легко.

Ему почему-то казалось, что в прошлых жизнях он жил у моря, имел поле пшеницы, давил вино и собирал оливки. По вечерам он изучал труды Гесиода, а его жена ткала ткань и качала люльку с младенцем. Иногда она отрывалась от младенца и тихо и тепло смотрела на него, и от этого взгляда тогдашнему Петрову, какому-нибудь Петрополусу, было легко и весело, и нежность и сила проникали в его твердое мужское сердце.

– А виноград собирать – это серьезное дело?

– Гляди, – ответил Иванов и взглянул на пыльное облачко, которое возникло где-то на линии горизонта. Облачко приближалось к ним, а когда поравнялось, то они увидели старый ржавый советский жигуль, из которого на них укоризненно смотрел прожженный солнцем человек.

На какое-то время шестерка затормозила, потом человек охнул и поехал куда-то к видневшимся вдали беленым постройкам.

– Пойдем, – сказал Иванов и, подхватив у Петрова мешок, двинулся к машине.

Петрову было интересно, что сейчас происходит, но он почувствовал: что-то пошло не так, тем более что Иванов все делал споро и быстро, словно его несерьезное дело стало вдруг серьезным.

Они бросили мешок винограда в багажник, потом завели мотор и двинулись к шоссе, но Иванов, подстёгиваемый беспокойством, поехал не по обычному пути, а свернул в еле заметное ответвление, словно чего-то боялся, тем более что от беленых хат выдвинулись уже три пылевых облачка и стали продвигаться в сторону ситроена.

– Понимаешь, – сказал Иванов, – любое событие должно восприниматься отстраненно.

– Почему, – Петров с опаской поглядывал на приближающиеся пылевые облачка, тем более что ситроен Иванова уперся в огромную грязевую лужу, которую было никак не объехать.

– Потому что справиться с событием можно только осознав его отстраненную несерьезную неизбежность.

Слово «неизбежность» не очень понравилось Петрову. Иванов затормозил у лужи. Вышел из машины и постоял какое-то время, как будто изучал поле предстоящей битвы, потом сказал вслух: «Ха», сел за руль и, от души выжав газ, въехал в лужу. Ситроен повело вправо, потом влево, сзади уже слышались какие-то крики, но, отстраненно проревав, машина выбралась из грязной жижи и буквально через пару поворотов выскочила на асфальт, а крики остались где-то возле

лужи, словно те три пылевых облачка превратились в живую плоть, которая так и не смогла преодолеть препятствие.

– Будущее так скорбно, что смешно воспринимать его всерьез, – Иванов опять отвлекся от руля и посмотрел на Петрова, – мы живем в эпоху всеобщей всехорошести творца. Толстой не въезжает на тройке в церковь. Кьеркегор не преследуется всей Данией. Все, что нам остается, это только несерьезность.

Петров заметил, что у него из кармана торчит кисть ничейного винограда. Он достал виноградину, отполировал ее до блеска и отправил в рот, словно собирался давить вино уже сейчас, не дожидаясь приезда домой, словно ему хотелось в процесс виноделия внести хоть каплю серьезности.

Эта серьезность казалось Петрову не просто важной, но и нужной, отличительной чертой жизни. Ему вообще в последнее время стало казаться, что мир все более желает сделать его краткий миг пребывания каким-то неважным и ненужным, сведя все к неосознанному удовольствию, и вот сейчас, крутя в руках кисть ничейного винограда, он вдруг понял, что так жить не может и не хочет, и весь этот разговор о несерьезности стал ему докучать.

Впереди по ходу движения стоял пост ДПС. Из будки вышел гаишник и поднял жезл. Какое-то время Иванов раздумывал, надо ли ему останавливаться, но потом он посмотрел на Петрова и понял, что если сейчас не остановить машину, то Петров испугается, и поэтому Иванов затормозил.

Гаишник подошел медленно. Было жарко, несмотря на сентябрь. Солнце щедро давило на фуражку гаишника, и Петрову было понятно, что рано или поздно все это должно было произойти, но он не знал, что же должно произойти.

Иванов вышел наружу и по просьбе гаишника открыл багажник. Какое-то время они вдвоем смотрели в дно багажника, а потом гаишник присвистнул и что-то сказал Иванову, тогда Иванов отошел от гаишника и наклонился к форточке Петрова:

– У тебя пятьсот рублей есть, – спросил Иванов у Петрова.

Петров нехотя полез во внутренний карман и достал последнюю пятьсотрублёвку, больше у него ничего не было.

Иванов выхватил купюру из рук Петрова, и они пошли с гаишником куда-то вглубь ДПС. Потом пошло время, и за его течением ничего не изменилось. У Петрова были свои отношения со временем. Если бы время было его другом, он бы все успевал, но и недругом Петрова время не было, потому что Петров никуда не спешил. Ему все чаще с возрастом казалось, что он чье-то продолжение и возник неслучайно, но тут пришел Иванов и сел за руль.

– Даже случайность несерьезна, – продолжил Иванов и завел мотор.

Теперь они ехали молча. Вино лучше всего бродит молча. Тишина – это обыденный спутник вина, и ничто не может изменить в человеке восприятие мира, если он, как Иванов, родился на юге и свое бытование видит в спокойствии и несерьезности.

– Быть, быть, главное быть, – вдруг воскликнул Петров и подпрыгнул на сиденье.

Иванов заулыбался и включил авторацию.

«Бу-тададада, Ра-тададада, Ти-тададада, Но-тададада», – пело радио, и Петрову стало хорошо от того, что этот странный вечер подходил к концу, что завтра на работу и, что солнце алыми лучами облизывает горизонт, к которому уходило шоссе, и по которому стремил их белый си-роен.

Макс НЕВОЛОШИН

ГДЕ СИДИТ ФАЗАН

Рассказ

Допустим, я остался в Мюнхене. Стал бы теперь бургером в кожаных штанах, пил бы Löwenbräu. Хотя я и так его пью, не в этом дело. Просто интересный был момент: развилка, точка ухода в альтернативную жизнь. Без диссертации, степени, Новой Зеландии и Австралии. С альпийскими озёрами, Швейцарией и Веной. В пугающе уютном, домашнем городе. В неизменной компании женщины, с которой не надо быть сильным, храбрым, успешным, вообще никем другим.

Сначала нелегально, а какие варианты? Я там за год понял кое-что. Тридцать лет совка – хорошая закалка: где угодно выживешь, тем более в Европе. Тем более ко мне жена приехала. Она ещё не была женой, но шло к тому. Соблазн остаться грыз меня насквозь. Лежу в постели с девушкой мечты и насилую извилины: что делать? Какой план? Через день она уедет, потом вытаскивать сложнее. Немецкий я освоил, где чёрная биржа труда знал. Шварцарбайт, мойки-стройки, уборка конюшен – два человека. Жесть, но мы бы справились. Не это меня остановило.

Моё невозвращение стало бы проблемой. Во-первых, для приятеля, который запихнул меня сюда. Приятельство наше было компромиссным, вымученным. Напоминало пьесу в театре К. Барабаса. Но время актёрского бунта ещё не пришло. Во-вторых, я сломал бы планы тех, кто готовился ехать следом. Фонд Sonnenstrahl, оплативший учёбу, кисло бы воспринял инцидент. Немецкие коллеги тоже. Я не фанат кидать людей, Платон мне друг, но майка ближе к телу. Судьба один-то шанс даёт нечасто и не всем.

Диссертация – вот главная причина. Незащищённая, а лучше – беззащитная. Продукт «любви горячей, самоотвержения, трудов, усердия» и т.д. Аспирантура, три года зависания на острие, на высшей точке чёткова колеса. Сотни незаметных часов в Ленинке. Мягкая упругость клавиш, щёлканье литер по бумаге. Шрифт как спасение от хаоса. Толкотня умов, холодный блеск интриг. Экзистенциальная свобода, догадки, изумления, осознание всё более глубокое, что ты по-прежнему не знаешь ничего.

Если бы я защитился в мае... Обрёл бы законные полчаса славы, ваковские корочки. И осенью – grüß Gott, München. Может, видел бы сейчас другие горы за окном. Моими рецензентами были два профессора, старых, заслуженных хрена. Оппонентом – миловидная дама без глупостей, завлаб психологического института РАО. Научный руководитель объяснила мне, что расклад сил на кафедре мутный, однако эта троица – гарантия успеха. Главное – молчать, кивать, благодарить.

Макс Неволошин родился в Самаре. Работал учителем средней школы; после защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. Публиковался в «Новом журнале», «Топосе», «Дружбе народов» и др. Автор двух сборников рассказов: «Шла шаша по соше» (2015) и «Срез» (2018). С 2003 года живёт и работает в Сиднее. В «Волге» печатались рассказы (2016, 2020).

С оппонентом мы встречались дважды в институтском коридоре. Всякий раз дама куда-то спешила. «Диссертация в порядке, – был её вердикт, – есть пара скользких мест, я их там отметила. Именно о них спрошу вас на защите. Важно, чтобы это сделала я, а не кто-то другой. Конкретику согласуем по телефону».

Рецензенты отнеслись к делу серьёзнее. Оба пригласили меня домой. Квартиры их были с похожим музейным душком. Лепнина, абажуры, тиснёные обои. Кабинеты, заросшие диванами, бумагами, шкафами. Что-то в рамках курсивом под стеклом. Остро не хватало чая в подстаканниках. Чтобы дымок, мельхиоровый звон и горничная в фартуке с подносом.

Я быстро догадался, что первый рецензент диссертацию не читал. Он ещё быстрее понял, что меня это устраивает. Хитрый, подвижный старикан, лицо в красивых розовых мешочках. Санта-Клаус без фальшивой бороды. Дальнейшая беседа отличалась светскостью. То есть готовностью забыть собеседника раньше, чем он удалится.

К наезду рецензента номер два я оказался не готов. Настолько, что захотел выйти и сверить адрес. И обрадоваться, что попал не туда. Он раскатал меня, как прапор салабона – весомо, грубо, но без мата. Виртуозно прошёлся по грани, ни разу не соскользнув, а было куда. Спец по военной психологии, генерал-майор в отставке. Возможно, в прошлом его где-нибудь контузило.

«Вы издеваетесь? – он потряс моей рукописью. – Какая... ынт... досрочная защита?! Да я этот текст... мм-бт... к совету близко не пушу! Диссертация сырая, как недельная портянка! Кха-к-кхэм... Дилетантизм и выпендрёж! Ну и соискатели пошли... О бабьих хвостах больше думают, чем о работе. Ничего. Не из таких буратин выстреливали. Работать! – он хлопнул диссертацией о стол. – Пахать! Ещё как минимум до осени. Записывай, во-первых...»

Диктовал он быстро, я конспектировал почти автоматически. Отдельные фразы потом удалось разобрать:

- ...введение жидкое – добавить мяса...
- ...иностранные термины заменить отечественными...
- ...невнятно – отделить мух от плевел...
- ...логика хромает – кто на чём стоял...
- ...всю главу переписать в русле Ломова...
- ...слишком много Фрейда – заменить Ананьевым Б. Г.

Меня охватил ужас. Я бросился к научному руководителю.

- Ольга Павловна! Это что-то странное... Фёдор Кузьмич, он вообще... как бы... здоров?
- Вопрос неправильный, – усмехнулась начальница, – вторая попытка. Кстати, он уже звонил.
- Что мне делать-то?

– Вот. Не соваться к нему до осени. Учесть все замечания, сделать косметические правки.

– А если снова завернёт?

– Не завернёт. У него метод такой: сначала шумит, потом хвалит. Ты же понимаешь, деду надо удержать самооценку. Показать, что он ещё не реквизит.

– Да, но откладывать защиту, переделывать готовую работу?

Начальница поморщилась.

– Объясняю. Фёдор Кузьмич – тёмная лошадка, бомба с секретом. На защите его может понести. Поэтому важно, чтобы он был с нами. Тогда ситуации обратная. Его положительный отзыв – бетонная страховка от сюрпризов. Если кто и вякнет не по делу, – он порвёт.

Расстроился я не особенно сильно: грамм на двести и поговорить. Вадим, по счастью, оказался дома. Помню, тема Мюнхена возникла именно тогда. Однако не раньше, чем я поделился событиями дня. Не раньше. Но до второй бутылки точно. Мой сосед по комнате – друг, враг, педант, невротик – уважал точный расчёт.

– Хочешь поехать в Мюнхен на год? – сказал он как бы вскользь. – С октября по июнь. Интернатура в местном университете. Всё, кроме билетов, оплачено: жильё, стипендия. Решать надо быстро.

– Я предпочёл бы Итон. Или Стэнфорд.

Он покачал головой.

– Без шуток. Своё место отдаю. Цени, сынок.

– Тогда не понял. Что за интернатура? Что за место? Рассказывай.

– Всё просто. Или сложно, – начал он, – шеф осенью уходит с кафедры, сам знаешь. А без него мне защититься не дадут. Ты сразу две не мог взять? Идём, по пути расскажу.

Несколько лет мы ошибочно считались друзьями. Этот альянс удивлял многих, включая нас самих. Шло время окончательной фильтрации людей. Случайные, чужие не оказывались рядом. Всему существовал мотив. Я был адаптером Вадима для контактов с миром нормы. С бесхитростными чувствами, логичными поступками. С лиризмом забегаловок, нетрезвым женским смехом, интимом общежитских дискотек. Я был одёжкой, по которой нас встречали. Взамен мне удавалось заглянуть в его реальность. Примерить обсессивно-компульсивное расстройство. Впустить сквозняк абсурда в предсказуемый сюжет.

Скучных индивидов в поисках гармонии тянет к маргиналам. Путь тупиковый, что выясняешь годам к тридцати. Гармонии нет, есть только приключения на свою задницу. В юности среди моих друзей преобладали фрики. Один мог на спор закусить фужером. Этот фокус часто помогал нам расплатиться в кабаках. Фокусник окончил школу с пятью двойками. Впоследствии стал мими-олигархом. Другой приятель на собрании филфака пытался сжечь билет ВЛКСМ. Отчислили немедленно. Сейчас он – знаменитый журналист. Ещё один, скрываясь от долгов, фиктивно утонул. Записку нашли быстро, тело – месяцы спустя. Лет через семь некто похожий был замечен в дауншифтерской тусовке на Гоа. Чтобы подняться над собой, – размышлял я, – необходимо быть отчасти сумасшедшим. Подцепить эту заразу в лёгкой форме и развить иммунитет.

Меня не беспокоили компульсии Вадима. Балетные движения у окна. Выбрасывание в форточку невидимого сора. Книксен на пороге общежития. При этом всякий раз сосед чего-то бормотал. Сперва мне показалось: «дай нам, Господи, святой час», затем: «чур меня, чур, нечистая сила». Наконец, прислушавшись, я уловил: «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Словом, учебное пособие, которое всегда рядом. Спит, ест, ходит в общий туалет. Порой совокупляется, когда тебя нет дома.

Без шуток, я сочувствовал Вадиму. Не только из природной мягкотелости. Я знал, что в голове его живёт шуршащий страх. Боязнь нелепых ситуаций, потери контроля, ошибок, идиотов, вообще людей. А как иначе? Люди – главная проблема. Дай возможность – накосячат, кинут, солгут. Но и страх одиночества тоже. Потому что одному за всем не уследить. Потому что на войне кто-то должен прикрыть твою спину.

В последний год аспирантуры Вадик много стрессовал. Ритуалы его сделались затейливей и чаще. Выражение фоторобота подолгу зависало на лице. Пару раз в неделю он ходил на тренировки. Психодрама, транзактный анализ, НЛП... Помогали они слабо. После них хотелось выпить. Вадим с энтузиазмом обратился к алкоголю. Выпивка творила чудеса. Сосед мягчел, тянулся к обществу, имел успех у дам. Очки его взволнованно блестели. Чудаковатость выглядела стильной, язвительность – загадочной. Скептицизм принимался за мудрость и жизненный опыт.

Удивительно – хотел о Мюнхене, а получается о Вадике Дроздове. Как он пролез в этот рассказ? Сочинительство напоминает мне прогулку с любознательным ребёнком. Расслабишься, отпустишь – бежит невеста куда. Задумаешь, допустим, новеллу о грибах – выходит повесть о собаках. А проницательный читатель видит комплекс неудачника. Или, не дай Бог, тоску по хох-

ломе. Что же, прицепить дитя на шлейку? Или проследить, куда оно спешит? В какой чулан успело сунуть нос?

Дроздова в моей жизни было лишнего. В метафизическом пространстве – тоже. Кстати, вычистить последнее значительно трудней. Однако в этой тёмной комнате роль бывшего соседа видится иначе. Тут у него звёздная роль. Миссия. Без него я не попал бы в Мюнхен. Город, который отредактировал меня, нет, переписал заново. В новой версии я знал, что счастье – производная времени и места. Но больше все-таки места. Что хорошо там, где мы есть, надо только это место отыскать. Что город можно полюбить, как существо. Мало того, он способен ответить тебе взаимностью.

«За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно...» Эта строчка некогда казалось мне абсурдной. Какой резон платить за угол, если там не жить? А просто – убедиться, что он существует. Увидеть свою выемку в стотысячном пазле земли. Искать, ошибаться, не разминуться – возможно ли? Впрочем, есть надежда, что поиск идёт с обеих сторон. Места тихонько, исподволь отбирают себе людей, подают им знаки. Мюнхен получился репетицией отъезда нас всем. А хотел бы стать премьерой. Сходя по трапу, я почувствовал тепло. Необычное для октября, ровное. Затем бегущая дорожка, текущие огни. Зал, наполненный сдержанным эхом... Таможенник равнодушно соскользнул на английский.

– Цель приезда?

– Учеба, – ответил я. И улыбнулся внутри.

Marlboro, Camus, Panasonic... Lufthansa, Adidas... Задумчивые манекены, деликатный свет из ниш, гламурная отрава дьюти-фри... Совершил посадку рейс компании Дельта из Майами... Ароматы кофе, горячего пирога с ягодами, чего-то новогоднего, трогательного, еле уловимого (ваниль? корица?). Джазовая тема бара. Знакомая по фильмам речь. Звучала она тихо и совсем по-человечески. Европейцы, как водится, демонстрировали стильный пофигизм, решительно отказывались быть толпой. Даже торопились они элегантно. Цветные, обтекаемые чемоданы двигались за ними будто сами. Я замедлил шаг. Город пытался мне что-то сказать. «Entschuldigung», – прозвучало за спиной, и люди обогнули меня, будто остров.

Над головами встречающих мелькнула знакомая фамилия. Мой взгляд поймала девушка в оливковом плаще. Тревожная улыбка, прохладная ладонь. Криста, аспирантка, из особых примет – веснушки и новый фольксваген. Хорошенькая немка – такой же оксюморон, как плохой автобан. И пусть, нам отвлекаться ни к чему. Тем более, что на спидометре – двести. Ландшафт воспринимался приблизительно. Моего немецкого хватило на короткий диалог.

– Как долетели?

– Пациент скорее жив...

– Сейчас поедem в кампус. Поселю вас, отдохнёте. Завтра можно посмотреть Октоберфест. В понедельник ждём в лаборатории. Это рядом, вам любой покажет.

– Спасибо, Криста. Вы чудесная.

– Никаких проблем.

За окнами темнело примерно с нашей скоростью. Уплотнились здания, вспыхнули огни. По салону двинулись тени. Уютно замерцала приборная доска. На светофоре Криста включила радио. Группа Eagles угадала моё состояние: «Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy...» Бесцеремонно вклинилась заставка новостей. Я узнал слова «Москва» и «танки». Фамилию «Хасбулатов» диктор искажил.

Утро. Теоретически я понимал, где нахожусь. Комната выглядела чистой, светлой и пустой, как новая жизнь. Минимум предметов в стиле IKEA, умывальник, зеркало. Остальные удобства

– извне, но главное – свободны. Я привёл лицо и тело в относительный порядок. Тишина на этаже удивляла сама себя. Будто дом, привычный к шуму, кто-то разом обеззвучил. Затем удалили людей. Тут, словно по ошибке, вдали проснулись кухонные звуки, голоса. Их тотчас приглушили. Задно мой аппетит сместили влево от нуля. Не хотелось даже кофе. Я поспешил на улицу.

Так не бывает, – вот первая мысль. Я этого не вижу. Пространство, населённое людьми, не может быть настолько безупречным. В реальном городе всегда найдётся трэш. Какая-нибудь лишняя труба, архитектурное безвкусие, шум стройки, теснота, ненужный запах... Мюнхен этот факт опровергал, как идеальное эстетическое высказывание. Метафора навывлет, афоризм по шляпку. Сказка, отшлифованная временем, гравюры фон Каульбаха или Доре. Возникло смутное, знакомое по книгам чувство: я вспоминаю город, в котором не был, а он – меня. Очная ставка зазеркалья с бытием. И наконец глубокий вдох: я дома.

Это чувство испугало меня дважды. Второй раз – в Сингапуре через много лет. Ощущение шпиона, «спящего» агента, который долго выживал бог знает где. Потом о нем забыли, он смирился, оброс историей, привычками, друзьями. Чужбина стала родиной, легенда – биографией. Другая жизнь – абстрактной, как линейный интеграл. Пустота в душе неплохо заполнялась алкоголем. Но где-то в пыльном шкафчике сознания хранился город-ключ. Невыразимый эпитетами и глаголами, сверхфокусный, кукольный мир, лавка игрушек за час до открытия... Шли годы, и однажды кто-то вычислил таинственную дверцу. И выступления бородавки надавили на засов.

Синхронно этот кто-то изменил настройки дня. Добавил чёткости и яркости, перенасытил воздух кислородом, убрал шум и гравитацию. Я двигался, не замечая собственного шага, вернее, город медленно скользил навстречу. Открывались новые улицы и здания – светлые, бежевые, кремовые, всех тонов песка. Близки окон в тёмных рамах напоминали о картинной галерее. Карминовая черепица – о спинах древних рыб, фахверк – о гигантской азбуке. Мансардные балконы для эльфов и цветов выглядывали из крыш.

Эклектика отсутствовала напрочь, хотя дома имели лица. Одни сверкали витринами, радовали глаз знакомой лексикой: Müller, Apotheke, Deutsche Bank. Другие затаились в палисадниках среди остроугольных елей и тлеющих красок осени. Дома были разными, но совпадали, как шестерёнки в часах. Будто город создавался целиком каким-то гением дизайнера. И – лёгкая, сквозная тишина, в которой можно потерять или найти всё что угодно. Скоро я узнал, что воскресенье здесь немое до полудня. Верующие – в кирхах, остальные спят. Но тогда это казалось спецэффектом. Совпадением героя, зрителя и автора.

В тот день я полюбил ходить пешком и одиночество. До того прогулок избегал, а одиночество старалось избегать меня. С годами любовь опасно усилилась. Порой я чувствую соблазн уйти и раствориться в пейзаже. Как Лев Толстой или Гоген, песочком, босиком. Чтобы потом спросили (если спросят): а где он, этот... как его? Ушёл куда-то. Ну и бог с ним.

К полудню впереди открылся парк, блеснуло озеро. На берегу паслись упитанные гуси. Готическая вывеска «Biergarten» украшала перекладину ворот. Десяток посетителей углубились в тайны своих кружек. Я это понял как знак. Единственная денежка, пятьдесят марок, купленная в обменнике на Тверской, беспокойно шевельнулась рядом с сердцем. Не увлечься бы. Далее – неясная стипендия, финансовый туман. Да гори оно! Знак есть знак. И я уселся за ближайший столик.

О подобном заведении упоминалось где-то у Войновича. Там были вывеска и парк. И озеро с гусями. Я вспомнил, что писатель живет в Мюнхене. Даже огляделся повнимательней, а вдруг... – Grüß Gott, – сказали над плечом.

Войнович стоял рядом. В тужурке с логотипом, в сине-белом фартуке. То есть, это был официант, но здорово похож. Коренаст, богатая седая шевелюра, диссидентский прищур. Я не удивился.

– Недавно в городе? – уверенно спросил он.

– Первый день.

– Нравится?

– О-оо... – я качнул головой.

– Пива? – ещё твёрже сказал он.

– Безусловно.

Он распахнул меню. Читать не имело смысла. Цены смотрелись почти вменяемо.

– Хм... – помедлил я, – а какое пиво самое лучшее?

Войнович поднял бровь.

– Löwenbräu, конечно. Ты в Баварии, дружок.

Я совершил долгий заныр в кружку. Уф... Повторил. Затянулся первой в этот день сигаретой... И поймал ощущение небытия. Паузы. И понял, что никуда отсюда не уеду.

Тот же город шесть месяцев спустя. Ночь, слегка разбавленная утром. Девушка мечты пошевелилась рядом тёпленько. Пробормотала нечто вроде: «Ты не спишь? Я тоже попытаюсь...» И поуютней завернулась в одеяло. Сейчас она проснётся, я скажу: «Останемся?» И она вдруг согласится, что тогда? Закончатся каникулы, появятся студенты. Левого человека в общежитии вычислят на раз. Значит – снимаем жильё. Значит – деньги. Стипендии не хватит, интернатура – по боку. Немедленный поиск работы, не когда-нибудь – сегодня. Заждали нас там, ага.

Страшно рисковать. Страшно оставлять любое барахло – в шкафу ли, в голове. Стать никем. Пройти сквозь нищету, забить на диссертацию и степень. Но – с любимой женщиной и городом – вместе, сразу – мало?! Стать нотой, жестом, частью этого манерного, замедленного праздника. Или заткнуть уши, отвернуться... вернуться. За верный угол ровного тепла... Ну, так плати, застрелен.

А если она скажет «нет»? У меня тоже диссертация. И мама нездорова, и вообще. Нельзя так – в омут головой. Без визы, нелегально, как мыши в подполье. Без нормальной работы, медстраховки... пять лет, десять, сколько? Нет, защитимся и уедем по-людски. Это будет правильно. Только мир непредсказуем, а жизнь полосата. Ну как через год закроют дверцу? Запретят сюда, не выпустят оттуда. А сейчас мы уже здесь, вместе – уникальный шанс. Возвращение эстетически ущербно, неприемлемо. Это как лечь в несвежую постель. Вернуться и до конца дней терзать себя: ведь было же, было. Вот оно, в руках...

Утро поменяло розоватый цвет на бледно-фиолетовый. Погасла утомлённая реклама гастронома «Tengelmann». Автобус пересёк квадрат окна. Холодно... Я вдруг осознал, что давно нахожусь не в постели. А бессмысленно разглядываю улицу, собирая с подоконника невидимые крошки. Я догадался, что сейчас произойдёт. Остановись, безумец! – прошептал рассудок. Но что-то в тёмной глубине сознания, неодолимое и подлое, одержало верх. Движением танцора оно выбросило «мусор» в форточку. Виновато оглянулось и произнесло: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Янис ГРАНТС

Метель

один меняла шила на мыло
из пригорода
в замешательстве:
шила нет.
мыла нет.
свистнули.
в придачу:
любви нет.
квартиры нет.
теперь и работы, получается, нет.
(хватит ныть).

сообщил кому следует.
всяк.

идёт без намерений.
метель как замужняя
его бывшая жена –
в харю,
в харю.
могли бы давно забыть,
но – нет.
(алименты).

Стихотворение

монах
под окаянной трубой,
копящей цилиндрическое небо,
проводит одиночный пикет
против любой любви,
кроме единственной,
дарованной ему.

магазин закрыт.
(и что?)

Янис Грантс родился в 1968 году во Владивостоке. Публиковался в журналах «Знамя», «Урал», «Волга», «Новый мир» и др. Автор книг стихов «Мужчина репродуктивного возраста» (2007), «Бумень. Кажницы. Номага» (2012), «Стихи 2005–2014 годов» (2014), «Конъюнктивит» (2015), детского сборника «Стихи на вырост» (совместно с Дмитрием Сиротиним, 2011), книги прозы «Луи с грабаркой» (2017). Живёт в Челябинске.

разносчик пиццы погружается
в заочное образование на балконе.
видит зажигалку, как нечаянную кляксу
типографской краски в учебнике,
с воодушевлением запоминает угол зрения,
записывает этот текст
и плачет,
предотвращая свои намерения.

Девочка

нокаутующий треск шлюза
кодирует
дополнительное распоряжение
дежурного капитана:
клин клином.
свёртывание воды совпадает
с божьей коровкой,
кудахтающей
на воротах.
рогоносец с титановой
тазовой костью
в ярости
применяет глазные капли,
обесцвечивающие
зрачки и яблоки.
треск шлюза –
колоратурное сопрано,
завёрнутое в ошейник неба
по приказу
командного
пункта.
а
девочка?

Тишина

кормить грудью
тихий океан.
голос тонущего в молоке.
тонет.
надо же: тонет.
(пасынок, жертвующий тишиной).
как вышивка
из заглавных слов:
выдолбить новую звезду
на небосклоне,
похожую на клеймо,
и притвориться,
окоченев.

ручаюсь:
так больше шансов
быть родом из океана.
быть корнями в воде.

надо же: тонет.

Адвокат

адвокат
(о, 25 лошадиных сил,
достойная меблировка офиса)
услышал:

хуже уже не будет. некуда хуже.
небо висит и висит в ацетоновой луже.

подумал:
у меня сильный насморк.
инфекция.
температура.

ответил:
ателье «зебра».
вам кого?

Отстранение

разумеется,
мы беспопшлинный товар
под открытым небом.
а вот и нет!
занятия отменены.
школа передаётся наследникам.
прочь!
сплавляясь по раскалённой реке,
мы спасаемся бегством.
ругань флейты,
пламя летучей мыши,
штопанные бутылки –
это кадр будущего фильма
длиною с напёрсток,
где мы –
несгораемые,
пасмурные, лохматые
устанавливаем торжественные речи
во славу свободы!

лётчик высшего сорта
салютует нам сверху
как имя существительное женского рода.

дальние гудки отовсюду.
сторонись!
берегись!

Ветеринар

Михаилу Корюкову

ветеринар дрожит.
вероятно, порочен.

пейзаж, как жертва победителя:
кровавый закат,
по окрестностям
разбросаны кости деревьев
(кости убитых?
иезекииль, 37?)

глубокая старость на этом краю
сродни решению присяжных
о виновности очевидца.
бдительная деревня
словно в ожидании злодея:
лает ожесточённо,
рвётся с цепи,
щетинится на все часовые пояса.

словарный запас ветеринара
не очевиден –
воспалены голосовые связки.
он дрожит, будто порочен.
добровольно.
поздним вечером.
клянётся молча,
не зная содержимого клятвы.

дети скотников и доярок
вот-вот
найдут его.

Ледокол

ледокол, как мороженое,
тает, если его скулы
воспалены причалом, а
немедленного,
необъятного льда – нет.

встречающие напоминают

гардероб театра,
где пуховики теснятся на вешалках,
не теряя форму, цвет и запах
своих обладателей.

швартовы.
трап.

как ты вымахал, сын!
папа, ты видел медведя или
только девственный лёд?
девственный?
ты сказал «девственный»?
кто тебя научил?

причал-зал-ожидания-
гардероб-театра пустеет.

только одна исландка
смотрит на тающий
ледокол без интереса,
словно это мужской парик
с распродажи.

Автостоп

помешанный на машинах
идёт пешком по шоссе
вдоль кукурузы.
голосует.

техас.
майолика неба.
меньшинство облаков.
глубокие морщины ковбоя,
как театральный грим, –
слишком уж нарочиты.
(он закрыл цех.
обрабатывающая промышленность
осиротела).

мрамор дороги – всего лишь
прямая (из космоса)
без признаков чего-либо.

вэлкам, говорит она,
постукивая маникюром
цвета кукурузного поля
по рулю.

Санта

санта-клаус разносит подарки.
на рождество.
техас.

техника безопасности –
превыше всего:
не пить,
не седлать,
не участвовать в жертвоприношениях.

санта-клаус – что святой под парусом
(это ещё почему?),
или разносчик пиццы
(а это почему?),
или салют из двадцати одного орудия
(ну, совсем не то).

первый же мальчик свирепо
разрывает свёрток
(словно знает, что грузовик
из магазина уценённых товаров).
его мама вдруг запекает
(на какой-то весёлый мотивчик):
санта-санта-добрый-санта,
я на антидепрессантах
день-деньской сию-сию,
ля-ля-ля и жу-жу-жу.

катастрофический масштаб бедствия,
про себя оценивает санта-клаус
и прячется за декорации.

Облако

в-четвёртых,
склочное (не сварливое, а обглоданное-курсив-клочковатое)
облако
будто собирает пожертвования,
шарахаясь от одного к другому.
(от чего к чему?
вымарано).
ниже:
лошадь переменного тока везёт
несостоятельного должника к его кредитору.
контекст:
неизвестное квадратного уравнения известно –
четырёхста четырёхзначных чисел.
лошадиный подшиппник снуёт в ушную раковину:
тш-дум-крх-здыгррр.
в-пятых,
неразборчиво.

Дмитрий РАСКИН

МОСКОВСКИЙ ГОСТЬ

Рассказ

Негосударственный международный такой-то университет время от времени направлял в филиалы лучших своих профессоров на неделю, дабы приобщить провинциальные подразделения к высокой науке, поднять их образовательный процесс, вот так, на неделю, до международного уровня. Филиалы как могли отбрыкивались. И не потому, что были равнодушны к высокой науке или же сознавали полную свою невозможность соответствовать международному уровню даже одну неделю. Просто очень уж дорогой была эта неделя. Университет выставлал совершенно немилосердную смету, из которой явствовало, что час профессора будет стоить дороже, чем в каком-нибудь Гарварде или же Йеле. А командировочные! А гостиница! И еще какие-то совершенно зашифрованные «накладные расходы». Главбух университета не сознавалась, «шифр» не выдала бы и под пытками, а «расходы» удваивали смету. Выкачивать деньги из филиалов сейчас, когда государство решило окончательно прихлопнуть негосударственное образование и филиалы работают уже без права нового набора, и ясно, что скоро потеряют лицензию, а головной вуз лишится аккредитации! Но директора филиалов подчинялись насилию. Лучше все-таки доработать до конца и чтобы ректор не «ушел» тебя раньше, чем это сделает государство, правда? Не в восторге были и профессора. Потому как университет явно не заплатит им как в Гарварде, и даже как в плохоньком колледже какой-нибудь Айовы или же Канзаса не заплатит. Но Андрей Всеволодович Казаков, профессор кафедры философии, любил такие поездки. Ему нравилось путешествовать, знакомиться с городами, осматривать достопримечательности. Разве сам когда-нибудь выберешься, например, в Ульяновск или, скажем, в Воронеж, а тут такой повод. И воздух сменить в легких, отдохнуть от ритмов всегдашней своей трудовой, да и семейной жизни. И дорога ему нравилась: поезд, перестук колес, сколько-то лирики в этом и почему-то легкой жалости к самому себе. К тому же бывают интересные попутчики. Андрею Всеволодовичу нравилось доброжелательное (с презумпцией доброжелательности) и ни к чему не обязывающее общение. Поэтому, приличия ради, поворчав немного, он согласился прочесть курс немецкой классической философии (пусть и не его специализация) в филиале замечательного города N.

На перроне его встречает блондинка в норковой шубе. Мария Александровна Шведунова, замдиректора по воспитательной. Энергичное рукопожатие, улыбка уверенной в собственном обаянии, привыкшей дозировать это свое обаяние женщины. Лицо «печеное яблоко», ей где-то около пятидесяти, но выглядит лучше, и не только потому, что «яблоко» еще не слишком-то запеклось.

– Рады приветствовать вас, Андрей Всеволодович, на нашей N-ской земле, – ему полагалось такое ее, служебное, обаяние.

– Земля, как я понимаю, без ложной скромности встречает меня всем тем замечательным и очаровательным, что у нее есть? – это такой стык комплимента и иронии у него. Ее реакцию он не понял. В любом случае, женщинам обычно нравится его снисходительный тон, тем более что у

Дмитрий Раскин родился в 1965 году. Учился в Горьковском пединституте, кандидат культурологии. Автор нескольких книг стихов и прозы. Публиковался в журналах «Артикуляция», «Крещатик», «Новый континент», «Артикль», в альманахе «45-я параллель» и др. В «Волге» печатались рассказы (2019, 2020, 2021). Живет в Нижнем Новгороде.

него получается настолько по-доброму. Андрей Всеволодович уверен, теперь она несколько увеличит дозу своего обаяния и сделает его не только лишь служебным.

В командировках такого рода как-то само собой получалось, что Андрей Всеволодович начинал играть такого вот столичного профессора: вальяжного, даже несколько барственного, скептического, острого на язык при всем добродушии, чуть-чуть неотмирного, книжного, может, отчасти киношного (или нет уже таких профессоров в фильмах?), иронизирующего над своими регалиями (потому как достоин большего!). Играет себя такого, каким он, в общем-то, и был, только без всегдашних своих рефлексий, комплексов и неврозов.

И внешность его как раз для такой роли: хороший рост, профессорская борода (как он сам говорит, слишком профессорская), профессорский животик, благородная (во всяком случае, он надеется!) седина.

У вокзала их ждал огромный джип. Наверняка попросили кого-нибудь из студентов. Выбрали с самым представительским автомобилем. Ну так и есть.

У входа в учебный корпус его встречает директор и еще два зама: по учебной работе и по науке. Сейчас поприветствуют его «на нашей N-ской земле». Опять угадал. Только зам по науке добавил «на нашей древней и славной N-ской земле».

Андрея Всеволодовича представили коллективу. Точнее, коллектив представляют ему – все стояли в ряд, а он этот ряд обходил, пожимал руки. Запомнилось только: профессор Очумелов и доцент Околесин. Последний зачем-то вручил ему свою визитку.

Мария Александровна без шапки оказалось очень похожей на Тому, первую любовь Андрея Всеволодовича. Он это заметил сразу же, на вокзале, но подумал, что показалось, а теперь сходство стало уже явным. Только Томе тогда было двадцать. «Надо же!» – мысленно улыбнулся Андрей Всеволодович и опять же мысленно пожал плечами.

Со словами «Мария Александровна наша будет заниматься вами вплотную» директор откланялся. Слава богу, конечно. Потому как годом ранее Андрей Всеволодович приехал в один такой филиал, так тамошний директор в надежде, что Андрей Всеволодович поможет ему с докторской, окружил его настолько назойливым вниманием, явно хотел, чтобы он чувствовал себя обязанным.

Представляя его студентам, Мария Александровна торжественно, тоном конферансье в консерватории перечисляла все его титулы и почетные звания. Видимо, заплатив университету за него такую сумму, филиал хотел получить здесь по максимуму, может, это будет одним из аргументов в пользу повышения платы за обучение в следующем семестре, кто их знает.

– Почетный профессор... член международного общества... консультант, – продолжает перечислять Мария Александровна. Не хватало только, чтобы она назвала его «иностраннным консультантом», тогда бы он был уже Воландом.

– И прочее, прочее, прочее, – улыбнулся, перебил ее Андрей Всеволодович.

Мария Александровна осталась на лекции. Что ж, он не против.

– Итак, дорогие друзья, – говорит он студентам, – как вы уже поняли, отчество у меня такое же, как у Ставрогина, но я не столь демоничный и довольно-таки добрый.

По реакции аудитории на эту его дежурную шутку, то есть по отсутствию таковой, он понял, что фамилия Ставрогин не вызывает никаких ассоциаций, не говорит им ничего вообще. Но он привык работать и с неподготовленной, с не обремененной избыточным образованием аудиторией. Время такое, что он привык ко всему что можно, и ко всему, к чему привыкать вообще-то не следует. Он может читать глубоко, а может и популярно. Когда популярно, можно поупражняться в артистизме, в каламбурах и парадоксах, тут бывают свои маленькие открытия, почему бы и нет! Мария Александровна слушала его восхищенно. Он понял, она будет сидеть на всех его лекциях. А студенты не то чтобы прониклись, не то чтобы понимали, о чем он сейчас, но поддались его обаянию, и он чувствует уже те их «флюиды», что позволяют ему войти в столь ценный для него преподавательский раж ли, драйв.

После трех пар (он будет читать по три пары, тогда за неделю закончит весь курс) Мария Александровна повела его, уже уставшего и выжато, обедать. Он не дал ей платить за него, несмотря на все ее уверения, что все оплачивает филиал. «Наш замечательный ректор и так уже ободрал ваше богоугодное заведение, – сказал Андрей Всеволодович, – и я не горю желанием стать его подельником». Она была удивлена, что он так вот о ректоре. Андрей Всеволодович только не понял, посчитала ли она его раскованным и свободным или же решила, что о ректоре так нельзя, даже если этот профессор по существу и прав.

После обеда она намеревалась показать ему город, но он уже не в состоянии, к тому же он с поезда все-таки. Попросился в гостиницу. Благо кафе, учебный корпус, отель – всё здесь рядышком, в полшаге.

Осмотр достопримечательностей начался на следующий день. Она вещала тоном экскурсовода, отточенными, затверженными фразами. Он радостно кивал, где положено – удивлялся, где предполагалось восхищение – восхищался. Чувство такта, продолженное до монотонного такого конформизма. А так что – тяжеловесное, приземистое, претендующее на некий смысл прошлое, безвкусное, самодовольное настоящее, особенно там, где оно заявляет своей архитектурой права на роскошь и величественность. И при чем здесь классическая философия? И прошлое, и настоящее, казалось, сами понимают, что ни при чем.

Она водила его по музеям и выставкам, и мысль одна – даже те картины, скульптуры и инсталляции, в которых угадывался, присутствовал талант, стоили ли они того нескладного, с ущемленным самолюбием, полунищего, с огромным количеством вина и водки бытия, которое вы брали себе их создатели, как ныне живущие, так и те, что давно уже лежат на местном кладбище? Кстати, это он и о себе, пусть его жизнь вполне удалась.

Зима выдалась не столько даже холодной, как сырой и ветреной, и им то и дело приходилось заходить погреться в кафе ли, кофейни. Он много говорил, много импровизировал, был изобретателен и парадоксален. На него так действует, что Марина Александровна, то есть теперь она для него уже Машенька, похожа на его Тома? Только Тома уже целую жизнь как не его, да? И к тому же, то есть *прежде всего*, ну похожа и похожа, что с того?! Другой же человек. Только Тома в своем нынешнем возрасте (они ровесницы с Машей), скорее всего, что выглядит так же.

Мария Александровна была тронута его вниманием, потому что оно неподдельное. Мало ли кто за эти годы приезжал к ним в филиал. Красовались перед ней, производили впечатление. Просто так, потому что нужно красоваться и удивлять, а если еще и удастся – залезть к ней постель. И удивляли, и поражали воображение, и было чем удивлять, а кое-кто и действительно залез, но интереса к ней, именно к ней, так и не было.

Она говорит о том, что давно уже как одна, а сын вырос, уехал в Москву, живет своей жизнью. Филиал... а что филиал? Все понимают, ему осталось недолго, а найти работу здесь, на «славной и древней земле», нереально, да к тому же она за все эти годы так привыкла быть начальством. Она вжилась, вросла в филиал, и вот теперь... Он видит, конечно, из какого теста она слеплена, из какой ткани сшита. И всю ограниченность, все предрассудки этой ее среды видит. Попробуй их тронь – не поймет. Тома посложнее была, конечно. И вдруг – а что если и Тома сейчас стала чем-то в этом же роде: сколько-то обабилась, сравнялась с «пейзажем», с той жизнью (она же учитель, теперь уже завуч в гимназии), над которой сама же когда-то смеялась? Это бабское ее начало, вот его-то он, тогдашний самонадеянный, глупый юнец, и испугался в Томе. Просто понял это уже потом, много позже. Маленькое такое, малюсенькое начало, но оно же разрастется, наполнится токами жизни – их общей жизни! Разбухнет от них. Испугался, что бабское возьмет верх, захочет ремонта, новой мебели, деторождения, так, по инстинкту, потому что положено, ототрет Достоевского и Кьеркегора? Да и не в Кьеркегоре дело! Самодовольство и безраздельность правильной и в целом счастливой жизни?!

И такая же жалость к себе самой, как у этой пятидесятилетней Маши, была у тогдашней двадцатилетней Томы. Даже интонация жалости та же. Тома жалела себя, потому что ей тяжело с самой собой, тяжело далась ее юность и тревожило будущее. В том числе потому, что в нем, как

она уже догадывалась, не будет его, Андрея. Маша жалеет себя по итогам обычной своей «среднестатистической» жизни, отсутствие будущего ее не слишком пугает, ей не нужно будущее, ей бы продлить настоящее, ей привычно и хорошо в настоящем, а оно скоро кончится. Он всегда высокомерно относился к страхам Тома перед будущим, к ее жалости к самой себе, к жалобам на жизнь, а жалобы Маши – он сейчас здесь с ней на равных. Понимая цену этим жалобам, да и самой Марии Александровны-Маши, он на равных. Искушение грехов, да? – иронизирует Андрей Всеволодович. Он вдруг понял, что хочет ее. И хочет сильно. Тогда, при всем тестостероне юности, добиваться Тома было страшно. И понимал, что, «добившись», ему придется решать и решаться, и он не сможет уже отказать. А сейчас ни к чему не обязывает. Сейчас можно взять то, что он любил в Томе, что ему дорого в ней. Взять только лишь потому, что любит и ценит, без всех «сопутствующих и прилагающихся» обстоятельств. То есть сейчас это будет честнее и чище? Только ма-а-ленькая такая, малюсенькая деталь – это не Тома. Можно, конечно, себе объяснить, что сейчас Тома примерно такая же (он уже объяснил), но... Ладно, хватит. Пожалуй, на этом и хватит.

Он доволен своей жизнью и в принципе счастлив. А что касается остального... Лена, жена, считала, все в порядке у них. Страсти после двенадцати лет совместной жизни, как известно, затихают, а они продержались несколько даже дольше. Их связывает, он знает, что их связывает, и согласен, конечно, согласен – заботы, цели, долг, обязательства, дети и внуки, жизнь. Всего лишь жизнь. А сейчас захотелось чего-то, что меньше, много меньше и не имеет смысла, но ярче этой «всего лишь жизни»?

Он был чист с Леной, но не от того, что так уж любил честность. Понимает просто, что обман дался б ему тяжело, съел бы столько сил и нервов. (Супружеская верность как средство профилактики стресса?) К тому же ему в отношениях с Леной очень важно было быть морально правым. Кстати, он понимал, что ей гораздо легче было бы с ним, если он оказался бы вдруг неправ. Не говоря уже о том, если бы вдруг виноват. Но она, конечно же, хотела его «неправоты» и «вины» в мелочах. Только лишь в мелочах.

Лет десять назад на юбилее у ректора – тяжеловесное славословие, жирная лесть, чего уже стоило одно только присуждение юбиляру совместным решением Ученого совета и Совета попечителей высшего ордена университета (у заведения, оказывается, есть ордена!). Орден был с лентой, и ректор теперь похож на парадный портрет Екатерины II. Столы выглядели так, будто на них составили все натюрморты малых голландцев. Только у голландцев полнота жизни и радость бытия, а здесь морг, причем чванливый, самодовольный, с претензией на то, что в нем только и есть смысл, а всё остальное, всё *несъедобное*, так, вроде бумажных цветочков, украшающих все эти блюда с окороками... За столом он общался с Дарьей – с Дарьей Олеговной в смысле. Пресс-секретарь ректора. Увлеченно пересказывала ему свежие сплетни. Он не вникал. Дарья была эффектная. Застолье было долгое, и душно от съеденного и выпитого, от шума и смеха. Они с Дарьей вышли покурить (в то время Андрей Всеволодович еще курил). Перекур затянулся, стояли у окна (там была урна), болтали, потом пришли покурить другие, они с Дарьей решили вернуться в зал, но по пути она вспомнила, что ей надо зайти к себе в кабинет, взять какую-то папку. В кабинете она, если применить книжное и несколько выпрненное слово, ему отдалась.

Он был разочарован. Она действительно эффектная, яркая, и у него никогда еще не было женщины выше его ростом. А все получилось так пресно. Ей неинтересно, несмотря на все его усилия, неинтересно, пусть она сначала и попыталась что-то такое изобразить... Она принялась говорить об университетских делах и склоках сразу же, как он кончил.

Папка, за которой они и зашли, не была предлогом. Ей действительно нужна была эта папка. (Там фотки, которые она хотела показать Галине Ефимовне из бухгалтерии.) А если б была не нужна – ничего бы у них и не было.

Андрей Всеволодович как человек, впервые вляпавшийся во «внебрачную историю», мучительно думал, что же будет дальше. Но не было ничего вообще. Дарья не придавала значения и просто выкинула из головы. Наверное, это для нее просто секс «по ситуации».

В последний день было нечто вроде прощального ужина в кабинете директора. Профессор Очумелов шумно и долго ностальгировал по Союзу, у доцента Околесова был свой взгляд на основные проблемы современной геополитики, но в целом все получилось довольно душевно. Однако Андрею Всеволодовичу пора. Они с Марией Александровной идут в театр (ее с ними нет, потому что пошла за билетами), а потом ему уже надо будет на ночной поезд. Директор одобрил их выход в театр, у них замечательный драматический. Правда, уже немного не тот. Смена поколений, что поделаешь. А в свое время были мамонты, монстры сцены, были *имена!* Да и главрежи меняются слишком часто. Но сейчас появился новый, молодой, да ранний, из Москвы, рано, конечно, еще делать выводы, но он уверен, что Андрей Всеволодович в любом случае получит удовольствие.

Ни в какой театр они, конечно же, не пошли. А уедет он утренним поездом. Посидели немного в кафе, почти что уже не разговаривали. И так все ясно. Андрей Всеволодович думает сейчас о том, что такой вот итог его жизни – Кьеркегор давно уже ничего не может дать ему, и он давно уже ничего не может добавить к Кьеркегору. А то немного, что вроде бы удалось... не удержал, заболтал, что ли... А Маша? Конечно же, это не любовь. При чем здесь вообще любовь? О чем это он?! Он понял вдруг, что это начало любви – ни сентиментальности, ни новой волны ностальгии по Томе, ни тоски по другому варианту судьбы и жизни – любви.

Андрей Всеволодович расплатился, и они пошли к нему.

Решили пойти в гостиницу другой дорогой, чтобы не мимо окон учебного корпуса. Он еще не был на этой улице.

– Маша, а что за табличка? – спросил просто так, механически. До мемориальных ли знаков ему сейчас.

– А это о том, что здесь будет поставлен памятник Сталину, – глянув на табличку. – Уже к лету. Конечно, немало плохого было у него, но было же и хорошее... и люди верили к тому же, это тоже надо учитывать. Ну да, раз это нужно народу... И его роль в войне и победе.

Вот и всё.

Повторял, прокручивал в мозгу до бесконечности: «Вот и всё. Вот и всё». Станный вкус этой фразы.

У развязки этой истории был еще и несколько комичный момент – в кафе, когда Мария Александровна вышла, Андрей Всеволодович принял ударную дозу виагры.

Александр МАКАРОВ-КРОТКОВ

САТУРАЦИЯ

вместо
приветствия
они произносили
слово
сатурация

они не помнили
что оно
значило

видимо
что-то важное

раз
им позволили
жить

можно ли
теперь
говорить

несколько дней
в июле
например

или
в каком другом
месяце

Александр Макаров-Кротков родился в 1959 году. В 1982 году окончил Московский государственный институт культуры. Первые поэтические публикации появились в середине 80-х в самиздате, а в 1989 году — в эмигрантских изданиях «Континент» и «Мулета» в Париже. Также с 1989 года начал публиковаться на родине. Печатался в различных журналах, коллективных сборниках и антологиях как в России, так и за рубежом на русском и в переводах на основные европейские (и не только) языки. Автор восьми книг стихов. Лауреат и участник ряда отечественных и международных фестивалей. Живёт в Москве.

сколько ещё
дней
осталось

подумал

сказать
уже
не успел

не говори
так

и так
не говори

поймут
не так

ничего
не вышло

ничего
страшного

друзья
покидают меня

говоря
на прощание:

где-нибудь
пересечёмся

наверняка

какое облако

ну ты что
совсем

такое облако

а там
уже совсем
близко

вот
например

дальше
можно
не продолжать

и говорят
что знают
что творят

а вот были б они
антиподами

мы бы
тогда
посмотрели

кто-то спрашивает
да какая разница

кто-то отвечает
да есть же
разница

оказывается
all we need
это прямое высказывание

ВОТ
Я
И

знаете
мне это
нравится

ХОТЯ
ВЫ конечно же
знаете

ЧТО
мне нравится

ХОТЬ
и делаете вид

ЧТО ВАМ
интересно

ЧТО
мне нравится

да и какая
к черту
разница

ЧТО
мне нравится

если
даже мне
это неинтересно

нет
я не понимаю

или

да
я не понимаю

разница

конечно
есть

вот
только
я не понимаю

всё
не так плохо

даже то
что кончается

ты знаешь
я попытаюсь

а как же те
кто не знает

глядя в окно
так бы и вышел

нет не в окно
конечно

хотя что мешает
спросите вы

морозец поносец
всего понемногу

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-15

(В русском жанре – 75)

Однажды (11 декабря 2018 года) я писал М.О. Чудаковой:

«Дорогая Мариэтта Омаровна, если найдёте минутку, ответьте, пожалуйста, на вопрос: какие были основания у Булгакова показать Шполянского властелином женщин? О Шкловском я ничего на этот счет не знаю, а в “ZOO” автор-герой даже жалок. А если Булгаков придумал всё это, то зачем? Ведь подобный мужской ореол у читателя (и читательницы тем более) вызовет восхищение, но прототип Шполянского автору ненавистен».

Она ответила мгновенно:

«Похоже, что были!

Отбивал у Тынянова – друга! – одну из первых красавиц Петрограда Вету Долуханову. И потом – известно было, что он – человек биологической храбрости. Этот запах всегда кружит голову нам, женщинам».

Словам Чудаковой, разумеется, нельзя не верить, и тогда еще большей загадкой остаётся случай, когда Шкловский, в апогей травли Пастернака находившийся в Ялте, не поленился сходить на почту, чтобы телеграфно присоединиться к общему хору. Впрочем, нет, не загадкой: им двигал не страх, а зависть.

Поскольку антипастернаковскую акцию они проводили в Ялте вдвоем с Сельвинским, можно предположить их взаимную аккумуляцию: «Нас тоже не печатали! Наши публикации тоже осуждали! Мы вообще неконформисты, но мы же не...»

Недавно во сне меня стали донимать строки, которые, как это и бывает во сне, я без конца повторял, но более всего злил не повтор, хотя во сне это очень утомляет, как и повторы одной мелодии, а злило то, что я, точно их не помня, повторял «хлебнувший крови сокол», отчётливо сознавая, что у Пастернака не может сокол хлебнуть, и только наутро, проверив, успокоился:

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Эти стихи я впервые услышал от друга детства, одноклассника Илюши Петрусенко. Он, что я понимал даже тогда, обладал куда более тонким восприятием литературы, чем я.

Отец украинец с Украины, с матерью они разошлись, когда мы учились в начальных классах. Он был жесток с сыном, который показывал нам синяки на заду, заработанные за двойку. Синяки

были с крылышками, от форменного ремня отца, который служил в гражданской авиации, но не летчиком, а техником на земле. Был он человеком не только жестоким, но и беспутным, вечным перекати-полем с амбициями. Спустя много лет Илья нашел его в Одессе, где он жил с какой-то подругой, вконец опустившийся, но с теми же претензиями, которые вели его по жизни, всё более ожесточая.

Мать еврейка была врачом. В нашем городе была тогда целая плеяда женщин военного выпуска мединститута, ушедших на фронт. И Анна Григорьевна прошла всю войну, и её сын полагал, что это было её самое счастливое время, и показывал небольшое фото группы молодых людей на пляже с надписью «Варна, 1944».

Литературные произведения, бывало, рождали в жизни тургеневских барышень, или роман Чернышевского «буквально перепахал» Владимира Ильича, или строки Сергея Есенина «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей» вызвали волну самоубийств, но я лишь недавно впервые встретил человека, которому книга с детских лет задала жизненные позиции.

В нашем сельском посёлке, где хозяева постоянно что-то строят, ремонтируют, сажают и убивают, я обратил внимание, что один мужчина при мне построил амбар, гараж, обнёс участок забором, и всегда без чьей-то помощи. Бывали и гости, но к своей работе хозяин их не привлекал, как и жену с дочерью. Я решился его о том спросить.

Родился и вырос он в уральском селе, где в скудной школьной библиотеке за *хорошими* книгами, как «Граф Монте-Кристо», была очередь. Однажды он прочитал «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», и дав книгу как положено в срок, тут же записался на неё. Так он прочитал «Робинзона» трижды и решил, что человек в состоянии всё сделать сам без посторонней помощи, чему все шестьдесят лет жизни и следовал.

На последней странице прейскуранта ресторана «Пекин» четыре бледных резиновых штампа: 15 апр 1978, 17 апр 1978, 18 апр 1978 и 19 апр 1978. Отсутствие 16 апреля объясняется воскресеньем. Еще в интернете про этот день я узнал, что родился Иван Ургант, в Донецке миллионный житель, а все советские газеты напечатали «Призывы ЦК КПСС к Первому мая».

В тот день я впервые, а по существу и однажды, если не считать какой-то буковской тусовки, побывал в «Пекине». Пригласил пообедать пасмурным весенним днем Олег Михайлов с девицей. Кроме меня был Дмитрий Анатольевич Жуков, сегодня известный лишь как отец путинского соратника, а тогда преуспевающий писатель, автор множества книг, как в жанре научной фантастики, так и исторических биографий, а также переводов с английского. Сейчас прочитал в Википедии, что он якобы «из-за отказа от вступления в КПСС был отстранён от загранкомандировок». В свою любимую Югославию на моей памяти он ездил бесцельно, бытовала же версия исключения Димы Лося (прозвище) из КПСС за какие-то профессиональные, по линии ГРУ, преступления. По выправке и манерам он принадлежал дворянскому роду, а в остальном это был обычный представитель отряда патриотов-единомышленников.

Прейскурант вделан в нарядную ярко-зелёную обложку с фигурками китайской графики. Его схватил со стола Олег, пребывавший в давнишнем запое, когда барышня капризничала, как и положено невесте, а тем более «невесте».

Отпечатанный голубым шрифтом перечень блюд и напитков на ч/б машинке впечатали их почти полную замену, ведь то было время конфликта с Пекином не в кавычках. Так что кур по-сычуански, жаркого «сы-бао» и компота с семенами лотоса отведать не довелось.

”””

С детства я не боялся лечить или вырывать зубы. До Ольги Тобольской. В те времена в Саратове дантисты резко делились на две категории. Немногие с высшим образованием, а остальные – выпускники двухгодичной школы при медицинском училище (в СМИ стоматологического факультета не было), как и Ольга, наша соседка, сноха саратовского поэта.

У меня тогда не на шутку разболелся верхний зуб, и тут при лестничной встрече Ольга предложила мне свою лечебную помощь. Работала она в какой-то сомнительной энгельсской поликлинике, куда я и поехал на своем мотоцикле «Ява-250». Увидя ту чуть ли не фанерную избушку на территории клейзавода, и вероятно к нему же относящуюся, надо было повернуть назад, но увы. Расписывать пребывание в Ольгином кресле не стану, улыбка не сходила с её лица и тогда, когда, не сумев вырвать зуб щипцами, она окликнула: «Тетья Паша, иди сюда!» И вручила подошедшей коренастой санитарке небольшую кувалду, которой та стала бить по вставленному мне в рот долоту. За долгую последующую жизнь мне больше не встретится стоматолог, который не в состоянии удалить зуб щипцами. А времени, проведенного в обществе Ольги и тётки Паши, стало достаточно, чтобы на многие годы поселить во мне животный ужас перед креслом стоматолога. Остается удивляться, как за рулём «Явы» я преодолел дорогу до Волги и мост до Саратова.

”””

Дневник Чуковского. 14 марта 1928. «Осип Мандельштам, отозвав меня торжественно на диван, сказал мне дивную речь о том, как хороша моя книга “Некрасов”, которую он прочитал только что. Мандельштам небрит, на подбородке и щеках у него седая щетина. Он говорит натужно, после всяких трех-четырех слов произносит м-м-м, м-м-м, и даже эм, эм, эм, – но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызвала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священнику, выходящему с дарами из “врат”...» Далее о том, что М. считает его книгу о Некрасове романом, потому что там есть настоящий герой, каких не бывает в советских романах.

2021

Татьяна ГРАУЗ

СЛОВА ПРИЗНАЮТСЯ В СВОЕЙ СПОСОБНОСТИ БЫТЬ [# 2]¹
(о некоторых особенностях поэтики Елизаветы Мнацакановой)²

В этой работе мы сосредоточимся в основном на стихотворении Елизаветы Мнацакановой² «Посвящение»:

Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках
когда спущусь дыханьем незаметным ветра
в зеленеющие скверы
и на оснеженные просеки лесные,

• • •

Когда вернусь, когда спущусь
к вам
в тихих строчках,
когда сойду
дыханьем незаметным
ветра
в зеленеющие скверы
ветра
в скверы,
ветра, ветра, где, где
молчаливые
где де де де ти ты тихо ти ти тихо
где де де де
ти ти тихо

• • •

Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках,
когда спущусь дыханием незаметным
ветра
дуновением

• • •

и на заснеженные просеки лесные
• • •
где тихо ти ти тихо де
ти

• • •

Когда спущусь, когда у
вижу, вспомню
сутолоку улиц
привокзальных

¹ Также см.: Татьяна Грауз. Слова признаются в своей способности быть // Дискурс. 30 сентября 2019. <https://discours.io/articles/culture/slova-priznayutsya-v-svoey-sposobnosti-byt>

² Елизавета Аркадьевна Мнацаканова (нем. Elisabeth Netzkowa (Mnatsakanjan); 31 мая 1922, Баку, Азербайджанская ССР – 10 сентября 2019, Вена) – русская поэтесса, переводчица, эссеистка, музыковед. Переводила немецкую и австрийскую поэзию (Новалис, Гёльдерлин, Р.М. Рильке, Г. Тракль, П. Целан, И. Бобровский, И. Бахман. Х.К. Артман и др.).

• • •
и лица лица лица молчаливых
у сквера
улиц лица
где де де де ти ти тихо де
ти
• • •
и вспомню сутолоку
привокзальных
улиц
• • •
где де де
ти ти ти тих
• • •
Когда вернусь, когда спущусь, когда
увиджу,
как разрослись деревья, птица,
небо
• • •
и де де де и де ти тихо
• • •
и вспомню сутолоку
улиц
при вокзальных
• • •
Когда вернусь, когда спущусь, когда
увиджу,
• • •
Быть может, потеплеет
возле
сердца,
Быть может, пожалею,
что не с вами, что
не
ваша
• • •
что
не была
• • •
не с вами
• • •
что не была
что не не с
вами
• • •
не с вами
не была не
вашей
• • •
Когда сойду, когда спущусь, когда увиджу
как разрослись деревья, птицы, небо

Акустические возможности стиха Елизаветы Аркадьевны Мнацакановой необычайны – слова, ею произнесённые, уходят от прямого значения и в то же самое время стремятся к нему. Каждая строка – как бы проста она не была по семантике и лексике – повторяясь и чуть видоизменяясь, развиваясь¹, становится похожа на чудесную (иногда страшную) волну. «Дословесные» формы языка про-являются в её поэтических текстах подобно природой стихии: ветру, эху лесному, гулу городскому или грозовым раскатам грома. Будто речь, ещё не обретшая привычного нам смысла, рождает на наших глазах новую [живую] органику слов. Расшатанные решётки лексических конструкций создают пространства с акустикой особой интенсивности. В графическом облике стихотворных текстов Мнацакановой видны хрупкие [хрусткие] составчики-слоги, ранимые и ранящие своей беззащитностью. Тут-здесь-сейчас явленное бытие слова прикасается к нам [проникает в наш душевный мир] своими обнажёнными кончиками, своими незаживающими царапинами и болезненными заусенцами. Женские всхлипы, лепет полудетского говорения – таким представляется не застывший ещё в схемах и данностях мир Мнацакановой, проплывающий перед нами в тихом сиянии горя и радости, проникающий в нас как сокровенный [незаживающий] рай.

где де де де ти ти тихо де
ти

Обычно графический и визуальный облик стихотворных форм Мнацакановой сравнивают с нотной партитурой. Как мы знаем, поэтесса имела музыковедческое образование, писала книги и статьи о творчестве В. А. Моцарта, И. Брамса, Г. Малера, С. Прокофьева и мн. др. Однако форма её стихотворных текстов напоминает не только созданную с помощью буквенных знаков собственную музыкальную нотацию², но, возможно, это ещё и не открытые пока химические формулы новой «биологической» жизни стиха. Мнацаканова создаёт особую магическую «химию» словесных «формул-партитур». Из органических цепочек: Д-Е – Д-Е – Т-И и т.д. рождаются [фрактально разветвляясь] таинственные смыслы, в которых слово про-являет себя и свою бытийственную сущность. *Де де де ти ти ти* может быть не только бормотанием и/или детским лепетом, но и «отголоском» пра-слов, достигших нашего восприятия, входящих в зону нашего познания из тех пространств, в которых бытие не обрело ещё свой язык. Можно предположить, что «Посвящение» описывает процесс [почти по Плотину], когда «энергия» изливается, *сходит* на поэта – и через поэта – в мир, претерпевая множественные этапы этого схождения. Из невыразимого – туда, где слово обретает «плоть» и свою пока ещё зыбкую и неточную форму. Процесс «нисхождения» энергии происходит в пространстве, существующем в состоянии «единства» и не имеющем чётких временных координат. Хотя в нём есть деление, к примеру, на времена года [зеленеющие скверы лета соседствуют с лесными оснеженными просеками зимы]. Однако эманация происходит везде: и в пространстве внешнем (скверы, улицы, просеки) и в пространстве внутреннем (*возле сердца*). **Слово** *сходит* – и происходит единение «внешнего» и «внутреннего».

Слоговая и буквенная кодировка и раскодировка языка, которую делает Мнацаканова, обладает сильным энергетическим полем. Благодаря чему накапливается множественность семантических значений (слоёв) не только слов, но и слогов, букв. В *ДЕ* и *ТИ* скрыты (закодированы) рождённые органикой самого языка формулы пра-слов, в которых тайно существуют и *дети*, и *тишина*, и странно блестящая пау-*ти*-на и т.д. и т. п. (ряд может быть бесконечным, вспомним числовой код Фибоначчи, где каждый элемент представляет собой сумму двух предыдущих чисел).

В своём тихом подводном течении речь Мнацакановой стремится к обретению понятийности, однако движение стиха эту «понятийность» размывает, разрезает. С помощью буквенных пикселей

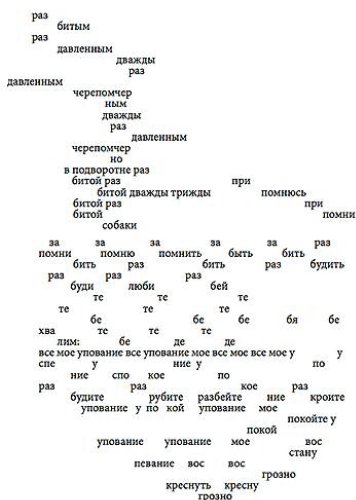
¹ В стихотворении «Посвящение», например, эпитет оснеженные (1 строфа, 4 строка) меняется на заснеженные (4 строфа, 1 строка); благодаря этому крошечному «сдвигу» меняется атмосфера зимнего пространства – она как бы «застывает».

² Вспомним, что буквенная нотация фиксируется в древнегреческих памятниках уже в середине III века до н. э.

создаётся своеобразная инсталляция, словесные полотна разнообразной формы, в которых пульсируют «языки пламени» [смысла].

Делая графическую запись текста, Мнацаканова иногда рационализирует её – и тогда стихотворение напоминает, например, нотный знак «бемоль» (этот знак, выражающий понижение высоты ноты на один полутон, возник в «классической линейной нотации» где-то в XVII в.).

№ 21



Можно предположить, что стихотворный текст, образующий контур знака «бемоль», – это аналогия «классической линейной нотации», в которой движение музыки выражено более чётко, но в то же время менее свободно, чем это было, например, в буквенной или невменной нотации. Поэтесса довольно редко создаёт аналогии такого рода, чаще всего она уходит от прямой визуальной «рационализации» и идёт по пути звукового, а следовательно, энергийного движения, существующего в силовом поле языка: строка → слово → слог → буква → межбуквенный интервал [пробел]. Тогда мы буквально видим «ход» звучащих буквенных формул, движущуюся живую органику словесного пения/говорения. На наших глазах происходит рождение новой семантики текста, изменение «устоявшихся» и всегда неустойчивых значений слов, в каждом из которых заключён весь подвижный космос языка.

Когда тексты Мнацакановой переполнены стихией «земли», тогда главной движущей силой слова оказывается хтоническое начало и на «первый» план выходит тема смерти. Тогда стихотворные «формулы=партитуры» напоминают заговоры, заплочки. Но даже в этом тёмном горестном (поминальном) голосоведении возникает контрапунктом высокий звук литургического песнопения, преобразующий этот наполненный скорбью плач и формирующий пространство стиха, в котором из глубины самой речи рождается свет благодарения. Присутствие невыразимого – основная черта поэтики Мнацакановой.

Когда вернусь, когда спущусь, когда
увиджу,
• • •
Быть может, потеплеет
возле

сердца,
Быть может, пожалею,
что не с вами, что
не
ваша

Когда поэтесса вступает в стихию воздуха, её слово обретает не только зыбкость и неустойчивость/подвижность, но и странную/чудесную летучесть смыслов. Тогда происходит своеобразный акустический резонанс и мы буквально чувствуем в её строках звенящий шёпот листвы, в которой гуляет, переливаясь и сверкая красками полдня в своём подвижном единстве и многомерности тихий божественный день. Кажется, что само дыхание жизни пульсирует в этих строках:

Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках
когда спущусь дыханьем незаметным ветра
в зеленеющие скверы
и на оснеженные просеки лесные,

• • •

Когда вернусь, когда спущусь
к вам
в тихих строчках,
когда сойду
дыханьем незаметным
ветра
в зеленеющие скверы
ветра
в скверы,
ветра, ветра, где, где
молчаливые
где де де де ти ты тихо ти ти тихо
где де де де
ти ти тихо

Через букву/литеру, через замедление и странное, как бы в другой системе координат возникающее ускорение проявляет себя то, что находится за пределами нашего восприятия. С помощью простых средств языка: слоговых «формул», межсловесных и межстрочных пауз создаётся возможность [явить и] явиться тем пространствам, о которых так трудно и почти невозможно говорить с помощью слов. Слоговым пунктиром – *ти ти ты тихо ти ти тихо*, в котором интимный шёпот *ти ти* сменяется на *ты* (будто голос автора на мгновение фиксируется на субъекте и/или объекте), а потом опять происходит расфокусировка, зыбкое движение воздуха внутри тишины, когда трудно-уловимый мир только намечен и вот вот отв от уже и явлен. Кажется, этот подвижный и текучий, наполненный сияюще-скорбной интонацией жизни и снов о жизни [так как разговор довольно часто ведётся из пространства, где авторский голос как бы позабыл о своём «я» – «уже не ваша, не с вами»] мир Мнацакановой лишён центра, как лишены центра картины древних китайских мастеров. Однако это предположение может быть обманчивым. «Центр» в её поэтических текстах – везде, в каждом слове. В каждой букве сокрыт тайный «центр» м и р о з д а н и я .

• • •
что
не была
• • •
не с вами

• • •

что не была
что не не с
вами

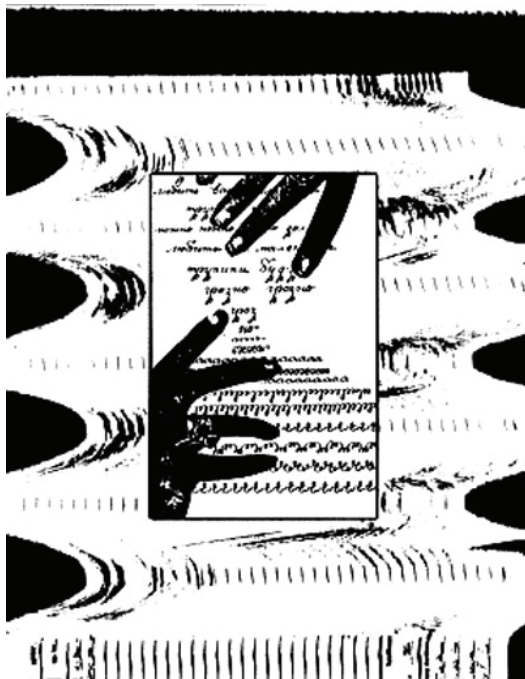
• • •

не с вами
не была не
вашей

• • •

Когда сойду, когда спущусь, когда увижу
как разрослись деревья, птицы, небо

Он везде – и поэтому воспринимается иногда как несуществующий. Он не имеет границ, не имеет начала и конца. Возможно, поэтому стихи Мнацакановой ветвятся в циклы, а, казалось бы, завершённые поэмы, в сущности, не хотели бы иметь завершения. Может, поэтому в книгах поэтессы возникает дополнительная – дополняющая стихотворные тексты – реальность: сделанные ею графические работы (картины).



В визуальных работах Е. А. Мнацакановой рукотворная запись довольно часто перестаёт быть «считываемой», почерк становится неразборчивым, слово «убегает» от смысла, превращаясь в волнообразную линию, а рука-творящая застывает на листе бумаги тёмным [невесомым] пятном, как будто то, что делает поэт и художник Мнацаканова – это лишь зыбкие тени в ослепляющем пространстве света.

Александр ШАРЫПОВ

(1959–1997)

«ПИШЕМ ОПЕРУ» и др.

Публикация, подготовка текста Владимира Орлова (1964–2021)

От редакции:

Большую часть нынешней публикации Александра Шарыпова (третьей по счёту в «Волге»¹) составляет цикл «Пишем оперу» – три эссе, посвященные участникам группы «Два двенадцать»²: Анатолию Гаврилову, Владимиру Пучкову, Леониду Швабу, плюс три коротких рассказа.

Предполагалось, что Владимир Орлов напишет к настоящей публикации предисловие и комментарии, но внезапная его смерть (в ночь с 5 на 6 декабря) планы эти, увы, скорректировала.

Работа над публикацией прервалась в конце ноября. Последнее письмо Владимира Орлова – от 28 ноября, 17.17: «...я посмотрел набранное с точки зрения опечаток и немного поправил (выделено желтым). Особенно важно исправить в названии (оно и в тексте встречается) про Гаврилова – “Двойка мала” (В наборе было ошибочно: Двойка. – **Прим. ред.**) – это не совсем точное воспроизведение югославской песни 1960 года, переводится как “Маленькая девочка”. По крайней мере, я так понимаю. Можно, если что, сделать сноску. Постараюсь вычитать также текст про Шваба и Владимира Ильича Ленского: вдруг и там были неточности? Что касается порядка, то сначала вступление и три текста про приятелей в том же виде, как на фото: сначала Гаврилов, потом Пучков и Шваб. Затем я бы дал Ленского, и в конце (если считаешь нужным) – Дядю Сашу и два маленьких текста».

Еще фрагмент письма, от 26 ноября: «...я посмотрел про Пучкова – второй, длинный, вариант лучше (В машинописи было два варианта текста про Пучкова. – **Прим. ред.**) А перед этими

¹ <https://magazines.gorky.media/volga/2020/7/ohlomony-i-anahorety.html>

² С сайта Владимирской областной библиотеки: «В конце 1988 года, в самый разгар Перестройки, несколько владимирских прозаиков и поэтов создали первую в областном центре неформальную литературную группу. А поскольку это событие случилось 2 декабря, то и группа получила название “Два двенадцать”. И вошли в неё: Анатолий Гаврилов, Алексей Добрынин, Вадим Забашкин, Дмитрий Кантов, Владимир Пучков, Андрей Филинов, Александр Шарыпов и Леонид Шваб» (<https://library.vladimir.ru/meropriyatij/2-dekabrya-devyataya-gostinaya-proekta-vechernij-albom-dva-dvenadcat-tridcat-let-spustya.html>).

Владимир Орлов отмечал: «...название отсылает не только к дате создания группы – 2 декабря 1988, но и к строчкам из песни Высоцкого». <https://magazines.gorky.media/volga/2020/7/ohlomony-i-anahorety.html>

Александр Иннокентьевич Шарыпов родился 24 ноября 1959 года в Великом Устюге Вологодской области. Окончил Владимирский политехнический институт. После службы в армии жил в г. Радужный и работал в научно-исследовательском лазерном центре. Печатался в различных журналах и газетах в России и за рубежом. Лауреат литературной премии им. Н. Лескова и премии международного фонда «Демократия». Награжден Пушкинской стипендией Гамбургского фонда Альфреда Тепфера. Умер 22 декабря 1997 года. В 2001 году во владимирском издательстве «Фолиант» издана посмертная книга его избранных произведений «Убийство Коха». Наиболее полное собрание прозы А. Шарыпова – книга «Клопы» – увидела свет в 2010 году в издательстве «Колибри».

тремя текстами (Давойка мала, Черный ворон и Кто ты? Тебя я не знаю) дать то, что в самом начале – от “Содержание первой...” до “Господи, благослови”. Тогда и мое какое-то вступление (или комментарий) сочинится – про журнал “Два двенадцать” и его авторов».

Были и другие, многие поправки, все они здесь учтены.

Таким образом, состав и порядок настоящей публикации таков, каким он виделся Владимиру Орлову. Исключение составило эссе «Владимир Ильич Ленский как зеркало русской революции»¹.

Публикуемые ниже тексты Александра Шарыпова набирались к печати по фотографиям с машинописи, хранящейся в архиве В.Л. Забабашкина.

ПИШЕМ ОПЕРУ

Содержание первой, основной части этого журнала отбиралось таким образом, чтобы читатель видел лица авторов его более или менее четко и, так сказать, в фас.

Произведения, в который авторы поворачиваются другим боком, подмигивают в объектив, уходят от фокуса и так далее, вошли во вторую часть.

Авторы здесь с трудом узнают друг друга. Здесь хулиганы выступают как почтенные граждане, а почтенные граждане – как малые дети. Здесь поэты склоняются к суровой прозе. Здесь прозаики исследуют окружающий литературный мир доступными средствами. И так далее. Одним словом – приложение.

Может быть, когда-нибудь здесь появятся свои рубрики; но пока решено обойтись без них.

Нижеследующее произведение, возможно, подпало бы под рубрику «Литературные портреты». Но разве это портрет? Так, штрихи отдельные. Несколько теплых слов. Как хотелось бы сказать больше! Все стесняемся. А пора бы уже понять: сами о себе не напишем – никто не напишет. Господи, благослови.

Давойка мала

При одном имени сего любезного человека все раны моего сердца растрavляются, – как говаривал К.Н. Батюшков. – Перу недостает искусства выразить все чувства мои.

Будь я поэт, мне помогла бы рифма: любовь – морковь; две придут сами, третью приведут... Зачем я не поэт?

Толя!.. О Господи. Неужели тебе вправду перевалило за полвека?

Как Вас теперь называть?

Anatoly? – как выговаривала фрау Хильмер, приходящая подобно памятнику на ум мой всякий раз, когда я вспоминаю про обычай толкать мешки с мукой, сообщая им о несчастьи с хозяином, как это принято в Германии.

Или – как это произнес хранитель Пушкинского музея, почтительно подойдя во двореке Дома журналистов... Не помню (сзади сидел еще бронзовый памятник и записывал...)

Или как у Толстого: «Наташа смотрела на толстую Georges, но ничего не видела, не слышала, и не понимала ничего из того, что делалось перед нею; она только чувствовала себя вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеко, столь далеко от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел...»² Анатолий?

¹ В процессе подготовки выяснилось: опубликовано в журнале «Соло», 1993, № 10. https://imwerden.de/pdf/solo_10_1993__ocr.pdf

² Здесь и далее цитаты приводятся в авторской редакции.

«Ана»: вос-, вновь, подобно-; анализ, анамнез, аналогия, – «пост» в постмодернизме («Иностранная литература», 1/1994).

«Толь»: кровельный картон, пропитанный дегтевыми продуктами и посыпанный мелким песком, употребляется для изоляции от влаги. Для изоляции от провинциальной плесени.

Эх... Как говаривал Батюшков: «Тысячи воспоминаний теснят мое сердце...»

Гаврилов, срывающийся с зажженной спичкой на другой конец стола, где женщина еще только достает сигарету из пачки.

Гаврилов в бессознательном состоянии, пытающийся словить губами мелькающую перед его глазами белую руку Анжеллы, рассказывающей что-то за столом.

Гаврилов, со словами: «Давайка мала...» уходящий в ночную тьму, когда товарищи его ловят такси и падает снег...

Гаврилов, танцующий жигу под затертую пластинку Азнавура «Pour faire une jam».

Гаврилов в борьбе со стихиями...

Умиrotворенный, обессиленный после огорода, он мерно покачивается в кресле автобуса. Рука его обнимает занавеску, висок уперся в стекло... Что напоминает ему это мерное покачивание? Первые лета юности, родину? Все, что ни есть сладкого для сердца нежного и доброго? Когда он уже почти засыпает, занавеска выскальзывает из рук и хлопает его по лицу. Вся последующая дорога проходит в борьбе с занавеской. Он завязывает ее узлом – узел развязывается; запикивает за сетку над головой – занавеска сваливается ему на лоб всякий раз, когда он хочет уснуть. «Сколько терпения, – думаю я. – Какое упорство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком!»

– Пусть тут я проиграю, – отвечает он на призыв не сдаваться, – но все равно, когда-нибудь, я выиграю в чем-то главном!

«Дверь вдруг открылась, к дивану стремительно подошла женщина в простыне и стала грубо и нервно срывать с Суровцева одежду, он попытался что-то сказать, но попытка его была придушена таким глубоким и долгим поцелуем, что он едва не задохнулся.

Безропотно отдался он во власть нервных, дрожащих и необычайно сильных рук, ног, губ...

“Я... сирота...” – попытался он снова что-то сказать в короткой паузе, и снова его монолог был придушен впившимися губами...

Женщина, не давая опомниться, властвовала до рассвета.

Утром она исчезла, и Суровцев разрыдался». («Элегия»)

Настоящий писатель, по-моему, – тот, кто (помимо всего прочего) способен плакать.

«Лев Семеныч! Будь мужчиной – не отлынивай от слез», – воззвал Кибиров к Рубинштейну, знаменуя начало нового сентиментализма. Вечерний Гаврилов относится, несомненно, к этому течению в литературе.

Постмодернизм начинается у него рано поутру: он относится к тому счастливому типу людей, у кого анамнез «вчерашнего» отсутствует почти полностью.

«Со мной случилось нынче что-то новое, необыкновенное, не знаю, хорошее или дурное, должно быть хорошее: ... случилось то, что я проснулся с небольшой головной болью и как-то странно забыв все: который час? Что я пишу? Куда идти?.. забыл молиться. Все забыл. Удивительно! Сейчас читаю свое письмо Анатолию Федоровичу и не могу вспомнить, кто это» (Л.Н. Толстой. Дневники. 12. 5. 1908).

Постмодернизм (М. Эпштейн, «Знамя», 3/1996) «устремился к прошлому, но при этом стал присваивать ему атрибуты будущего: неопределенность, непостижимость, многозначность...»

– Эх, ветеран, ветеран... Когда ты возьмешься за ум? – Гаврилов, бредущий по заснеженному полю на рассвете; ветер в лицо, – значит, так, – тихо в конце пути. – Что я хотел? А, ничего не надо...

Впрочем, почему ж неопределенность?

Гаврилов Анатолий Николаевич, – не начиная с Лединых яиц, как говаривал К.Н. Батюшков, – зачат был в Германии в мае 45-го оstarбайтерами (об этом он сам признавался мне, когда мы прогуливались по коридорам гестапо) – и рожден в греческой колонии Мариуполь в день траура по Ленину, 26-го января 1946-го (т.е. там же, где родился ахматовский сирота Д.В. Бобышев за 10 лет до того). Образование получил в основном в армии, в каптерке у композитора Беринского (он же Вегерт, он же Войцеховский) – где сидел с вывихнутыми пальцами после игры в футбол – в то время, когда Беринский представлял из себя, по выражению босого писателя, «сапоги с носом».

– Мне нравятся художники, изображающие тело женщины – такие, как Рубен, – желая блеснуть эрудицией, говорил Гаврилов.

– С! – поднимал палец Беринский.

– Что «с»?

– Рубен-с.

Впрочем, закончил он и литературный институт, но при оглашении сего факта обижается, подозревая оглашающего в сарказме.

В Иллинойском университете по его книге изучают русский язык.

Студенты университета им. Гумбольдта выражали ему свое одобрение постукиванием по пюпитрам.

Бондаревско-забашкинский союз писателей отказал ему в приеме «за неуважение к русскому народу».

Да, есть в нем что-то от немца. Настольные книги: «Доктор Фаустус», «Игра в бисер» – т.е. все то, от чего у людей (вроде меня), воспитанных на французских романах, происходит в голове такой шум, будто лопаются сосуды, перестраивающиеся в перпендикулярном направлении.

В рассказах: курбель, форвертс...

Впрочем...

Октябрь 1995-го. Дом фрау Хильмер, Иоахим-Фридрихштрассе, Берлин.

– Надо мне, – я говорю, кугельшрайбер купить.

Он:

– А что такое кугельшрайбер?

– ??.. Ну, ты даешь! У тебя в каждом рассказе – курбель, дрекель, штрекель; а что такое кугельшрайбер, не знаешь!

Он – тихо, после паузы:

– Давно п... не получал?

Дала ему что-то и «ненько Украина» – вне сомнения...

Очи Гаврилова.

Чи в вас улита якась отрута,

Чи, може, справді ви знахарі...

А ПЛЯСКИ его – не половецкие ли? Академик Лихачев пишет, что в районе поселка Шлаковый были зимние кочевья половцев...

Есть в нем что-то и от греков. «Мышление у меня тромбозное, – говорит он. – Я и пишу короткими фразами – потому что в длинных путаюсь и приходится рубить их на куски». Тяжесть процесса явственно представляется мне при виде жил, вздувшихся на его руках... – Да, но как же тромбозное? Как же в таком случае «удается создать полнокровную жизнь», как написано в аннотации к сборнику? Не так ли, как Эмпедокл учил, что «мысль есть омывающая сердце кровь»?

И есть в нем что-то сиротское. Семья советских народов его не принимает.

Весть о ГКЧП принял с облегчением: «Теперь писать не надо – все равно не напечатают...»

Лето 1991-го. Объединение «Союзпромонтаж». Трибуна с гербом. Гаврилов читает «Б и У».

Гробовое молчание. Он читает: «Но где же розы?». Вопрос из зала: «И это все?» Он читает «Розу». Молчание. «Можно и накостылять за такие анекдоты», – говорит угрюмый рабочий. (На афише почему-то значилось: «Анекдоты, гитара, конференс».) «Вы лучше своими словами расскажите», – предлагает сердобольная монтажница. Гаврилов начинает еще что-то – и не заканчивает, ибо народ идет мимо.

– Не уходите! – останавливает их Гаврилов. – Сейчас мы вам споем, – и запевает с трибуны:

Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги...

Почему-то вспомнился дирижер Софроницкий, ухившийся за кулисы, когда за его спиной падал чей-то номерок.

А может, снять сериал по его книге – какой-нибудь «Просто Мариуполь», серий этак 400 – а по сериалу опять написать книгу – и тогда они все поймут?

«Поправляя этуод ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этуод вдруг ожил. “Вот, *чуть-чуть* тронули, и все изменилось”, – сказал один из учеников. “Искусство начинается там, где начинается *чуть-чуть*”, – сказал Брюллов, выразив этими словами самую характерную черту искусства» (Л.Н. Толстой).

Ну что ж. – «Мне бы хоть черточку! Хоть бы самую махонькую черточку, только одну, но только такую, чтоб уж этак руками можно взять было, чтоб уж вещь была, а не то что одну эту психологию», – говаривал также и Порфирий Петрович...

Дорогой Гаврилов, режущий на кухне сало.
– По чуть-чуть? – спрашивает он, наклоня бутылку к рюмке.
И сердце оттаивает у меня...

Черный ворон

Всякий, кому случалось проходить в темное время суток по улице Чернышевского позади кинотеатра «Факел», чувствовал: тут что-то не то. Не по себе как-то: мир оседает, и что-то вьется, и в то же время тяжесть какая-то... Деревья, как небесные раки... То бишь не раки – реки во мраке; но все равно...

«Подъезжаю ночью к Владимиру, – рассказывал наш современник Распутин, – тихо, темно, ни огня... И на весь город одно окошко светится. Господи, думаю, что же за душа там бессонная, что за беда там у ней стряслась? И защежит сердце, защежит....»

Там что-то вершится, незримое глазу,
Там с ангелом борется новый атлет!

«Володя! – писал Б. Черных, – тебя окружили евреи...»
«Никак не могу я уяснить себе, что у тебя беда и голова моя идет кругом», – писал Л. Шваб.

В окне, где сырими краями угла
Стекала по капле стекольная мгла,
Склоняя к ознобу...

Однако, выйдя уже к «Новинке», прохожий останавливается и недоуменно пожимает плечами: что за беда? И атлет этот совсем не новый – а еще в 1989 году собрание сочинений его вышло тиражом аж 8 экземпляров...

Его портрет висит, например, в моем доме. Висит – и висит... Но бывает, в чаду, в кутерьме, посреди чудовишной пьянки, взгляд его останавливает и пронзает меня, как писал Абрам Терц, «до кости мозгов»: «Что ж ты делаешь, подлец?» – и я возвращаюсь за стол, протрезвев и посуровев, и товарищи мои глядят на меня и не могут понять причину столь внезапной перемены. Одна поэтесса, насмотревшись на этот портрет, сказала: «Стыдно!.. Ах, как стыдно...» Нет, беда...

Беда в том, что есть у этого человека – как бы это сказать? – другое лицо. «Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, – писал Абрам Терц, – трудность заключается в том, что он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного»...

Доступность – и непроницаемость. Нечто, располагающее к панибратству – в соединении с замурованностью. Кажется, что он был всегда, что он вышел из пожелтевших, потрепанных книг конца прошлого – из Федора Тютчева, Федора Сологуба, Федора Карамазова, из дождливой темноты Скотопригоньевска и Чермашии, забыв переменить котелок и зонт. И в то же время кажется, что его нет и не было никогда, что его выдумали сочинители анекдотов.

Пучков Владимир Павлович... Родился в 1951 году и так с тех пор и живет (будто бы) во Владими́ре...

С отличием закончил Литературный институт, но за дипломом в Москву не явился...

Служил в войсках противоракетной обороны; однако выясняется, что и войск таких вовсе нет...

Шкляревский с Золотусским ждали его на вокзале, чтобы принять в Союз писателей – он не приехал...

Нет, прогулки с Пучковым, в отличие от его пращура по перу, не получится. Встречу с ним назначать надо в тепле: по крайней мере, не умрешь от переохлаждения.

Можно, однако, прийти на ул. Чернышевского днем. Постоять у калитки в сомнениях. Витает; но другое:

Окна не загораживай, не стой
В дверном проеме смутным силуэтом...

Распахнуть дверь в его дом, – увернувшись от цербера, с истошным лаем бросившегося на встречу и удержанного в последний момент Валентиной (лат. Valentina – сила), спросить хозяина – обрадованный хозяин выскочит навстречу – сказать что-нибудь вроде: «Черных звонил: ты обещал стихи в “Очарованный странник”?» – «Да. Сейчас», – скажет он; деловито поставит чайник, прижмет чуть ли не к печке каретку сломанной машинки; может быть, после неоднократных напоминаний, даже еще вставит в нее лист; закурит и – ...

И, откуда ни возьмись, полетится из его уст нечто такое римско-варенуховское – какой-то нескончаемый лихоевский эпос, настолько не вяжущийся с его стихами, что сидишь и думаешь: да Мастер ли это? Не Фагот ли?

Фантаст Альфред Бекстер, чтоб шупачи не прощупали сокровенные мысли, учит вертеть в мозгу для шума и помехи назойливую песнь. Вот и тут что-то вертится и генерирует шум – что-то о Швабе («Если бы не Леня Шваб, не было на брюхе шва б»), о каком-то Льве, о Льве Прыгунове («Прыгунов-с-шестом», – уточняет хозяин), о воздушном шаре и мочевом пузыре, о чае и расписных самоварах («Это что! А вот у моего соседа есть самовар в наколках»), о том, куда все деньги уходят (закуривая новую сигарету) – а так хочется съесть чего-нибудь, например – гуся!

– У тебя же сад есть, – говорит гость, с трудом удерживая нить, – взял бы да посадил на грядках...

– Посадил я как-то окурки, – мгновенно реагирует хозяин, – знаешь, выросли! Длинные такие; жалко, без фильтра...

От фильтра – к ментолу; к женщинам; к губной помаде:

– Она красит губы, – замарая с бутылью сидра, – она красит половые губы!

Тут уже не выдерживает Валентина:

– Женатый человек, – восклицает она, разгибаясь с тряпкой в руке, – а говорит такую ерунду! «Этот старый человек, – сказал о нем Лев Толстой, – дошедший опытом своей жизни до убеждения в том, что мысли и слова не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные – первые, которые приходили в голову».

Одурев от чаю и дыма и вспомнив, что «великий звук просторен, словно сени», распаренный как кадка гость идет в сени; следом хозяин, объясняя, что такое Антиноева сила святая и зачем собака шаркает ногами после того, как сходит по нужде; но и сени оказываются 2 х 2 (тесны, тесны приюты певцов владимирских!) – дальше, дальше, «там, на улице, у входа, подстерегает всех свобода» – туда, туда, в сад!

Холодок в саду...

И лист, отрываясь, встает на ребро –
Кружиться ему до упада,
А в воздухе тонко блестит серебро...

Для взгляда нужен холод и простор...

Атлет выходит с сигаретой на крыльцо, отводя взгляд...

Щекочущая аура листвы...

В продолговатом коконе гуденья
Пчела плывет, вытягивая в пенье
Свой золотой, мохнатый хоботок,
С цветка перелетая на цветок.
Она поет, сама себя не слышит,
Ее полет тяжелой негой дышит...

Но что же, однако, мешает расслабиться окончательно?

Какая-то, черт ее дери, неподвижность. Излишняя – не то симметрия, не то асимметрия... Деревья стоят, как небесные раки... Да, бишь, не раки! Как железный инвентарь. Но все равно... Взгляд падает на железную тачку с прикованной к рукоятке цепью.

А в воздухе тонко блестит серебро,
И кто-то глядит, улыбаясь хитро...

Он же и глядит с крыльца. О, я знаю эту улыбку – так улыбаются помощники президента, все те, кто нами властвует заочно...

А где обещанная свобода? Река – стальная. Кольца воды – железные. Голос атлета – бронзовый. Пустота – и та гранитная! Сад предстает глазам решеткой углерода. И цепкий голод паутинной ткани... И нет совсем людей! То есть вообще, во всем этом мире – ни одного человека!

Вот там, на дне, где дно небесной посуды прогнулось под тяжестью – что там такое? Затвердевшие грома? Камни на дне? Холмы? Волхвы? Так вот она, свобода – толпа окаменевших тел!

Щекочущая аура листвы.
Среди ее прозрачных обещаний
Слепое тело каменной совы
Как древний слух, растет из темноты...

Да, да, помню – у Филинова, 8, 8, 88, у черного пианино, невинный разговор:

– А что это у вашей газеты тираж не указан?

– Где? Наверное, планка отлетела...

И атлет, улыбаясь, тихо, отводя глаза:

– Вот так когда-нибудь отлетит планка – и начнется террор...

В наступившей тишине один Филинов, сглотнув, севшим голосом нашелся сказать:

– Старик, ты не прав...

Вот он стоит на крыльце, улыбаясь, окидывает взглядом хозяйство...

Расцвела буйным цветом малина,
Разухабилась разная тварь,
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится горбатый главарь, –

И вот не надо бы об этом, нехорошо, но раз уж возникла такая мысль – все рано отвечать за нее придется, – и ведь было! – корчась, как пламя в кустах низкорослый, проскрежетал же Ильин:

– Все глумитесь, Владимир Лазаревич?

Тот самый Ильин, про которого:

Вот так – обиженно и гордо –
Уйдет Ильин – он мог быть лордам! –
Уйдет, и плохо без газет, –

писала О. Ручко – та самая, которая еще писала:

А кто – Пучков.
И так рифмуется со мною,
Хоть он пижон, и без очков.

Пижон, пижон! – Да, но вот, значит, было же время, приходил же он? Да и не он ли бегал кросс в любую погоду? Играл в «Днепре»? Не про них ли сказал В. Маслаченко: «Краковский что-то говорит Пучкову: он недоволен. Пучков разводит руками» – ? Да я и сам помню, как он приходил – в салон. Литературный салон во Владимире! – можете вы себе это представить? Чего только не вспомнишь! Салон Бычковой! Он еще сказал, выйдя: «Онанизм какой-то...»

А у Рычкова в театре... Стоп! Стиль дурен, когда сочинитель повинется лишь связи слов, а не порядку и движению мыслей.

Однако ж – что такое сама фамилия его? Что-то римское... Пучок прутьев с топором посередине, *fascis* по-латински...

– Wie bitte? – переспрашивают немцы. – Putsch... Putsch... koff?

Нет, тут не связь слов, любезный Владимир Лазаревич! Тут дело фантастическое, современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое! Не вы ли 20 лет назад, отведа его в дальний конец коридора, трясли пальцем перед его лицом: «Никогда не приноси больше таких стихов в студию!» Яблоко у него, видите ли, в кармане царит... Да это ж террорист, хуже Ивана Помидорова!

В саду костенеет засохший терновник.
Срубить бы и баста! Но дрогнет рука –
Он детских соблазнов невольный виновник,
Опора для взора, прозор в облака.

Это еще вчера, а сегодня:

И холодок в саду, как на столе порядок,
(новый, новый порядок!)
Он словно на беду, на откровенья падок,
И вот рядами числ сверкает сад, раздет,
Как обнаженный смысл, и в нем опоры нет!

Не дрогнула рука, стало быть!

Это он еще туда прорубился, к себе в сад, – а ведь он, того гляди, перешагнет, буквально, через плаху порога и прорубится сюда, к нам!

Но что же это за стихи были такие крамольные? Вот и кажется мне, что не хватает тут какого-то самого первого, медузно-головного стихотворения, объясняющего все последующее окаменение! Про что оно было?

Полураспада пряный аромат... На листьях кристаллический осадок... Про третью мировую, что ли?

Я не был в бою,
А их было столько!
Но в память мою
Вонзились осколки...

Да, да, именно осколки...

И дышит за листвой
Прохлада острыми, как жало, языками...

Острыми языками дышит! Только топор у Пучкова еще острее: по прохладе, по этому язычеству природы – так! И вот уже:

Холод раздвоен, как жало у змеи...

По гранитной пустоте, по каменному небу –

Сад, ледяными кусками наколотый крупно...
Звездное небо с отколотым краем...
И каждое слово сверкает краями,
Как небо ночное краями раскола...
Дыханье крошится...
Дымящийся костер дробится...
Повсюду крошатся просветы...
Воздух морозный проламывается внутрь...
Колкие звуки срываются прямо в рай...

Оттуда выйдет ночь. Ее продольный срез
Напоминает мне структуру минерала.
Я пыль рукою стер, и верхний слой исчез,
И каменная жизнь расколом засверкала.

Это что? Да ведь он прорубился уже? Вот уж печатают его «Стропила», а за ними «Октябрь», «Звезда» и «Новая юность»! Вот он уже идет, Барбаросса с улицы Чернышевского – как Шваб напроорочил:

Фридрих идет, как Бетховен,
Рукою власы шевелит,
Он наш, он шутлив и греховен,
Он смертен и даровит, –

Вот уже И. Шкляревский, со вздыбленными волосами, еле дошел до трибуны в Ярославле:

Где причмокивала грязь
И прокручивали шины,
Ходит ворон, черный князь,
По комкам замерзшей глины,

Воду мертвую клюет,
Ничего не понимая,
А над ним зима поет –
Страшно, как глухонемая, –

– у меня, говорит, волосы дыбом встали!

Полноте, махнет рукой критик, что тут такого – пожалел поэт птицу, никак она добычи не дожидется... – А зима? Сама себя не слышит? А та, что всех огромней и страшней? Сова каменная? –

Уже раскрыла огненное зреньё,
И за добычей...

А все эти, которые спят на дне? Музыка, оглохший Бетховен писал, высекает огонь из человеческих сердец. – А что, если вся эта толпа окаменевших тел засверкает, забьется под тонкою тканью – да как запоеет?!

Тут уж палец не поможет – трясина, не трясина – ведь что она запоеет? Вы думаете – романсы? – «Нет, никогда скалистый этот гул» на мотив «Нет, не тебя так пылко я люблю»? – Ошибаетесь! Вот где вы ошибаетесь! Кого люблю? У него же во всем мире нет ни одной женщины! Да ведь это было уже – вспомните, ходил же народ, размахивал транспарантами:

«Народ и партия едины,
Как два конца одной дубины», –

Всю страну развалили; а ведь это его, Черного ворона, стихи! А чем кончится? И это уже мы предсказывали – пели уже; в зарубленной Рычковым пьесе «Охломоны и анахореты»:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.

И лист, отрываясь, встает на ребро,
Кружиться ему до упада,
А Ленин глядит, улыбаясь хитро,
Сквозь ломкую логику сада.

Он знает, куда паутина летит,
И видит, в какие провалы
Спускается лист, где терпенье скрипит
И красные дышат мангалы.

Он смотрит туда, где за дальней чертой
Гуртом собираются тучи,
И воздух, в цветное стекло налитой
Становится злее и круче.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами.
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.

Но пал произвол, и восстал весь народ,
Великий, могучий, свободный...
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный.

Кто ты? Тебя я не знаю

Да мне, этого собственно, и не нужно (пишет он в письме), мне кажется, что чувство родства может и не включать понимания. Это самое родство настолько тонкая материя и, я думаю, нет ничего важнее на свете, чем родство, близость или как там это называется. И пишем мы, может, затем, чтобы породниться с кем-то, кого и на свете, может быть, нет. Не знаю.

Он говорит (объясняет Сэлинджер), что единственные люди, с которыми ему хотелось бы пойти выпить, или на том свете, или у черта на куличках.

Но почему мне кажется, что он чуточку пьян? По-моему, именно таким кажется человек, которого ты очень любишь, а он вдруг входит к тебе на террасу, расплываясь в широкой-широкой улыбке, после трех труднейших теннисных сетов, выигранных сетов, и спрашивает: видел ли ты его последнюю подачу? Да. (Симор: Введение.)

И я так ясно понял: довольно выдрючиваться, простоты и душевности не хватает сейчас миру, и только в них – простоту и душевность – все упирается (пишет он).

Да, но рассказ мой превращается в букет цитат и скобок. И пусть оно так и будет.

При этом речь идет не о каких-то цветистых украшениях текста, а скорее о том, чтобы эти мои кривульки помогли вам понять: насколько я хром и косолап душой и телом, когда пишу эти строки (Симор: Введение).

Только что прогремел гром (он пишет в другом письме) – завтра, может, будет дождь, первый после лета, на улице темно, но не страшно, и голоса на иврите.

Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой.
По т-му Македонскому переулку
Парень идет молодой.

Он идет со своей подружкой,
Она хороша собой.

У нее голубые глаза
И короткая серая юбка.

Тучи опускаются ниже,
Но тут
1-й Македонский переулочек кончается
И некуда дальше идти.

Улыбка то появлялась, то исчезала на его лице, без всякой связи с улыбками всех окружающих, а то и наперекор им. И его улыбки даже в нашей нестандартной семье всегда казались неожиданными... Мне кажется, что светская улыбка ему вообще была несвойственна, и все же, говоря точно (хотя, может быть, несколько пристрастно), любое выражение его лица казалось вполне естественным (Симор: Введение).

Они поворачивают обратно.
Они всегда гуляют вдвоем,
Потому что с детства смотрят
Одинаковые сны.

Они размахивают руками,
Но тут
1-й Македонский переулочек кончается
И некуда дальше идти.

Люди, которые его совсем не знали или знали мало, может быть, только как участника или бывшего вундеркинда радиопрограммы, иногда тоже терялись от неподобающего выражения, вернее – отсутствия подобающего выражения, вернее – отсутствия подобающего выражения на его лице, но, по-моему, только на минуту-другую.

Парень молодой и его подружка
Поворачивают обратно.
В воздухе нестерпимо
Пахнет грозой.

Они идут, не считая шагов,
Им невдомек, что это ловушка –
Из 1-го Македонского переулка
Обратно не возвращаются.

А причина тут была самая простая: полное отсутствие у него всякого притворства (там же). Томик Мандельштама услужливо раскрывается на одном из его любимых стихотворений:

С миром державным я был лишь ребячески связан.
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,

И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Ума не хватает, и это печально. Не потому (пишет он), что я не могу быть своим среди них, я этого и не хотел бы, но это такое беспокойное чувство – осознавать себя подростком во взрослом теле.

Учительница (в другом письме), молодая оболтус (ница?) из Австралии, спрашивает меня: «Леонид, какое самое большое упущение было в вашей жизни?» Я честно подумал и захохотал. Ну, такая реакция вышла, не знаю почему. Она, по-моему, испугалась, и я на ее месте тоже бы испугался. Трудно быть идиотом среди чужих.

Далека ты, путь-дорога.
Выйди, милая моя!
Мы простимся с тобой у порога,
И, быть может, навсегда.

А раз творчество – твоя религия, знаешь, что тебя спросят на том свете? Впрочем, сначала скажу тебе, о чем тебя спрашивать не станут. Тебя не спросят, работал ли ты перед самой смертью над прекрасной задушевной вещью. Тебя не спросят, длинная ли была вещь или короткая, грустная или смешная, опубликована или нет. Тебя не спросят, был ли ты еще в полной форме, когда работал или уже начал сдавать. Тебя даже не спросят, была ли эта вещь такой значительной для тебя, что ты продолжил бы работу над ней, даже зная, что умрешь, как только ее кончишь. А тебе задали бы только два вопроса:

Но тут мы должны вспомнить, что пишем все-таки оперу, и наш единственный читатель истомился уже, поди, в ожидании анкетных данных. Вот что мы имеем для него:

Шваб Леонид Гилерович. Родился в 1961 году, 24 ноября. В этот день умер Фрэд Меркюри, а родились Тулуз-Лотрек, Шнитке, Спиноза и ваш покорный слуга.

Где-то, кажется, в Москве, есть у него еще брат:

И обернувшись худым одеялом, как учил проводник,
Я слышал было шаги развеселого сна,
Но являлся мой старший брат и песен не заводил,
И простуженно кашлял, и исчезал, как луна.

Мать, кажется, звали Бесси.

А отца... Отца, по-моему, просто Лес.

Ты ходишь по утрам, в лес (пишет он), и я завидую тебе смертно, у меня давно желание забрести глубоко в дремучий лес, свернуться в клубок и оторваться, отплакаться с соплями и успокоиться наконец.

Под Штуттгартом
Есть один бранденбургский лес.
Любил я в детстве
Продираться сквозь его буреломы
И все думал, бывало,
– Ничего! ничего! –
Так оно и выходило, к счастью.
Бранденбургский лесничий был моим другом,
Он погиб потом, вывихнул ногу,
Но я-то жив, и я помню

Этого от природы порядочного человека –
Как пили чай, помню,
Как смеялись и разговаривали,
Как хлопали друг друга по плечу –
И снова я уходил в буреломы.
Под Штуттгартом это было, в детстве.

Обязательно съезди в Штуттгарт (сказал он, узнав, что я еду в Германию). Штуттгарт – столица Швабии.

Цезарь в «Записках о Галльской войне» упоминает свебов – отличались, мол, пронзительным взглядом – не оттуда ли все эти Фридрихи:

Конечно, Фридрих жив, его судьба святая,
Он утомлен и голоден и мерзнет на морозе,
Открытым воздухом, как аист, пролетая,
Поет народны песни азбукою Морзе.

и Фердинанды:

Фердинанд ходил по ячменному полю,
Сшибал мечом колоски,
И напевал свои мужественные песни.

Невдалеке работали крестьяне,
И когда Фердинанд умолкал,
Самые смелые кричали:
«Пой, Фердинанд, еще!»
И он терялся и кашлял.

Постойте; все-таки, – спросит дотошный читатель, он же вдумчивый швабовец, – где же он родился, этот ваш Леонид, или как его? И кто он по пункту пятому?

– Вы лечились от кашля, солдат? – спросил лейтенант, когда я перестал кашлять. («Выше стропила, плотники»).

Да, действительно, мы опять отклонились. Родился в Бобруйске. Леса под Штуттгартом нет, тем более бранденбургского. Лес, кажется, из-под Оренбурга. Бобруйск, Оренбург: места все литературные. Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. (А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»). В Бобруйск ездил? (В.В. Сорокин, «Дорожное происшествие»).

А в пункте пятом боюсь ошибиться: между евреями и немцами много общего (утверждал Кафка – а он знал, что говорит: у него все любимые и сестры погибли в концлагерях).

Помню, когда он впервые приехал ко мне, с каким-то письмом протеста, в составе делегации, он был угрюм и был похож, в самом деле, на долговязого пленного немца. И первая шваб (ка?), с которой я познакомился, тоже была долговязая, нескладная и невпопад ухмыляющаяся. Потом разговорились – на вокзале, за чашкой кофе – оказалось, она любит Тарковского и писала диплом по Лему – и я смотрел на нее и думал, что же у них еще общего со Швабом, кроме плена – разве что, думаю, черные волосы?

И еще они там, на юге Германии, вместо «Добрый день» говорят «Грюс Гот», т.е. «Привет Бог».

Да, вот как они разговаривают:

Бесси. – Можно мне войти на минуточку?

Зуи. – Господи, мама, да я же в ванне сижу!

Бесси. – Боже мой, я на минуточку, прошу тебя. Задерни занавеску.

Леня. – Господи, если хотя бы чуть-чуть понимать смысл того, что сам делаешь.

Зуи. – Господи Иисусе Христе. Мне чудится, что я лежу мертвая под дождем!

Леня. – Господи, писал-то один и тот же человек, за что же так?

Зуи. – Хорошо, Господи. Если уж входишь, то входи.

Леня. – Боже мой, разве в этом дело, пожалуйста, будь здоров.

Мне кажется, это ни к чему. Когда он, твой герой, или Лес, или еще кто, Богом клянется, поминает имя Божье всуе, так ведь это тоже что-то вроде наивного общения с Творцом, молитва, только в очень примитивной форме. (Симор: Введение.)

Но тут у меня снова начался кашель и, как ни странно, опять без всякого притворства. («Выше стропила, плотники»).

А теперь я понял: самое главное, что у них общего – это вокзал.

«...вообще не понятно, как можно не любить стволы родных берез? Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? бескрайних полей? Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июньского сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Ведь ты же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты писал сочинения? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля?» и т.д.

Работал на заводе.

Я превратился в слесаря, много чему научился (пишет в письме)... и еще вспоминаю, как уходил последний раз с проходной Оренбургского завода гидравлических прессов и думал – все, больше никогда не буду на заводе, не буду среди железа...

Писал сочинения.

Да, было что-то про КПСС, резко-негативное, по словам Т. Филипповой, которая в 88-м не решилась напечатать это в своей газете и теперь все не избавится от чувства вины. «Но кто-нибудь казнит себя за ту, с позволения сказать, квартиру, в которой жила эта семья? – спрашивала она потом. – Мой маленький сын, запросившись у них в гостях в туалет, был поражен увиденным. А потом, когда он спросил, почему такие хорошие люди так плохо живут, пришла очередь расстреляться мне».

Это, наверное, на Пионерской. Тот дом знаменит еще тем, что, уезжая из него, Шваб бросил свой стихотворный архив в стоявший подле мусорный бак.

А кто казнит? Кто должен казнить? Симор как-то сказал, что всю жизнь мы только то и делаем, что переходим с одного маленького участка Святой Земли на другой.

А он всегда завидовал бедуинам. Бедуины живут в шатрах и кочуют с овцами по-настоящему (пишет с завистью). А по вечерам у них в шатрах телевизоры, бывало, задержишься на работе, едешь уже в темноте, и мелькают голубые огоньки – то бедуины у телевизоров сидят. И еще писал: поскольку я, мол, играю пан или пропал, то мы увидимся и погуляем по лесу – или я уйду к бедуинам, их здесь много.

...Служил в армии. В роковом 41-м, когда пришла окончательная усталость от конвульсий и позирования, встал на учет в военкомате – и ведь если бы там (удивляется) говорили по-русски, то как будто и не уезжал никуда, настолько все то же самое – и в 44-м (5744-м, по-ихнему) поступил в солдаты. На субботу, как правило, отпускают домой, с оружием и полным магазином (писал тогда). И теперь я знаю, что такое чувствовать себя идиотом – это с сумкой и М-16 ехать в автобусе и идти по улице.

Черные силы мнутся,
Ветер нам дуст в лицо.
За счастье народное бьются
Отряды рабочих бойцов.

Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая, встречай!
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай...

Как будто и не уезжал никуда.

В доме, где мы его провожали, он оставил удостоверение общества рыболовов. Хозяева до сих пор ездят на озеро, где он ловил щуку (как будто одну и ту же) и берут лодку по его удостоверению. «А сам где?» – «Да тут где-то ходит...»

А между тем его, Фердинанда,
Тревожили гнетущие мысли:
Зачем он ходит по ячменному полю
В боевом панцире, с мечом в руках?

То ли оставлен в засаде, но кем?
То ли послан в разведку – куда?
Трудно вспомнить, и пел Фердинанд
Свои выразительные мужественные песни.

И когда он умер, похоронили его
На краю ячменного поля,
Где он провел долгие годы
В недоумении и обиде.

– Я вижу, вы смотрите на мои ноги, – сказал он, когда лифт подымался.

– Простите, не расслышала, – сказала женщина.

– Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги.

– Простите, но я смотрела на пол! – сказала женщина и отвернулась к дверцам лифта.

– Хотите смотреть мне на ноги, так и говорите, – сказал молодой человек. – Зачем это вечное притворство, черт возьми?

– Выпустите меня, пожалуйста! – торопливо сказала женщина лифтьерше. («Хорошо ловится рыбка-бананка».)

Он любил спиннинговать.

А женщинам нравилось гладить его спину (акт нежности, как они объясняли, с похотью ничего общего не имеет) и смотреть – нет, не на ноги – на его носки, которые и впрямь как-то выпирали – лазоревым цветом, золотистой меткой – из окружающей действительности. Мне кажется, в этом есть что-то библейское. Внимание к ногам... Когда ему говорили об этом, он нагибался и прикрывал носки ладонями.

Но и ладони привлекали их внимание. Ладони широкие, мускул между большим и указательным пальцем очень развит, неожиданно «крепок» (к чему тут кавычки? Да не напрягайся ты, Бога ради!) –

Потому что глядят на меня недобро и косо.
Я знаю, у меня ладони-налимы и лицо абрикоса.

И все же пальцы у него были даже длинней и тоньше, чем у Бесси, так что средние пальцы хотелось измерить сантиметром. (Симор: Введение.)

И ветер сжимает меня, как часовую пружинку,
Нужно стоять на месте, последствия непредсказуемы.

Всякий думающий индивид, с примесью семитской крови в жилах, живет или жил в особо близких, почти интимных взаимоотношениях со своими руками, и хотя потом он годами, буквально или иносказательно, прячет их в карман

Руки в карманы и, главное, удержаться, не крикнуть,
И вообще, как можно меньше обращать на себя внимания.

(боюсь, что иногда он убирает их, как двух назойливых и старых непрезентабельных приятелей или родственников, которых предпочитают не брать с собой в гости), и все-таки он вдруг, в какой-то критический момент, начнет жестикулировать и уж в такую минуту может сделать самый неожиданный жест.

Улучить минуту и внутренне учинить покой
И задуматься о спасении души как таковой.

Да и вообще всякая откровенная исповедь попахивает гордостью: пишущий гордится тем, как он здорово преодолел свою гордость.

И запрягать подальше свою единственную гордость –
Никогда я не ел ни налимов, ни абрикосов.

Главное, надо уметь в такой публичной исповеди подслушать именно то, о чем исповедующийся умолчал. (Там же).

Томик Мандельштама услужливо раскрывается:

Чужа грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европейок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Но чего я не помню – так это горя.

– Не любуйся моей спиной – как вам это понравится! – сказала она.

Она обиделась, даже чуточку оскорбилась. Она смотрела, как Зуи натягивает носки, и на лице у нее было смешанное выражение оскорбленного достоинства и непреодолимого любопытства, каким смотрит человек, которому приходилось Бог знает сколько лет просматривать после стирки все носки в поисках дыр. (Зуи).

Еще был Дуду.

Бу-Бу, сестра? Нет, Дуду.

Мы верим, ты – оркестр,
Ты Олень Золотые Рога,
Потому что ты последняя доброта
Между нами и нами.

Прощай, Дуду, прощай.
Мы нашли тебя спящим на земле,
И ты жил среди нас,
И ты уходишь от нас.

Три сестры – как их звали? – Элли? Велли? – Элли, Велли и Оттли – погибли в Освенциме.
А Милена? – в Равенсбрюке.
А немерянное число безымянных – в мусорном баке на Пионерской.
Остались еще две – в Америке: Фрэнни и Бу-Бу.

– Девушка идет с белыми волосами! – привстал он, глядя в окно. – У нас нет таких...
В магазине, опершись рукой о прилавок, разглядывал полки – потом спросил:
– У вас сушки хрусткие? – таким нежным голосом, будто она и впрямь ому сестра.
От неслыханности ли этой нежности – да и слова такого она, видно, не знала – зардевшись, девушка ответила тихо: – Хрусткие...

Пакет, стоявший на весах, не удержался и грохнулся в обморок.

Я ведь русский, брательники, русский я!
И куда же меня занесло?
Карта Мира, вселенская, хрусткая,
Нулевое мне кажется число...

(Дм. Вас. Бобышев, американец. Эрбана, шт. Иллинойс).

И было, утром, в руганой России, в моей залитой солнцем кухне с исписанными стенами, – было сказано женским голосом: «Хочу, чтоб так было всегда».

Так вот мы сумасшедшие все, если атмосфера эта считается литературным процессом (пишет он). Напоминает тайное общество любителей некоего вымершего языка, Господи помилуй.

– Одно я только знаю, – сказала Фрэнни. – Если ты поэт, ты создаешь красоту. Понимаешь, поэт должен оставить в нас что-то прекрасное, какой-то след на странице. А те, про кого ты говоришь, ни одной-единственной строчки, никакой красоты в тебе не оставляют.

И нет у меня с ними общего языка (пишет он), и я не позволяю себе быть с ними откровенным, ибо нет ничего другого. Время от времени они звонят и приглашают на разные безобразия, а если я выскажусь о них, то не будут звонить, и будет страшнее жить.

– Господи Боже мой! Может быть, это просто какие-то очень увлекательные синтаксические фокусы, испражнения какие-то – прости за выражение (говорит она же). И все, что они делают, все это до того – не знаю, как сказать – не то чтобы неправильно, или даже скверно, или глупо – вовсе нет. Но все до того мелко, бессмысленно и так уныло.

Вроде бы все хорошо кончилось (пишет он), но пока я вас не увижу живьем, все равно не поверю, что мир цел и мы были вместе. Мне недавно снился маленький Ленин возле Дома офицеров, его нужно оставить, большого нужно убрать, а маленького пусть будет. Пожалуйста.

А я вот думаю – кто это, не родственни(ца)? ли Инессе Арманд эт(а?) сам (ая?) П. Арманд – автор музыки и слов у этой песни? –

Жаркою страстью пылаю,
Сердцу тревожно в груди.

Кто ты? Тебя я не знаю,
Но наша любовь впереди.

Приходи же, друг мой милый!
Поцелуй меня в уста.
И клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда.

Все вместе:

И клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда...

Я перестал ходить в театр по тысяче причин, но главным образом из-за того, что я до черта обижался, когда приходилось уходить из театра только потому, что какой-нибудь драматург вдруг опускал свой идиотский занавес (Симор: Введение).

Занавес

РАССКАЗЫ

Дядя Саша

Дядя Саша надел белую нейлоновую сорочку, широкий галстук и черный костюм, выпил в своей большой темной комнате два стакана водки, вышел во двор и уселся за стол под березкой. Жмурясь от яркого солнца, он глядел на проходивших мимо жильцов, здоровался и думал, почему так получается, что, когда у него день рождения, обязательно приснятся перед этим похороны жены, как гроб тащили в окно, потому что в дверь он не пролез; а когда День Победы – как назло – видится во сне убитая девка, или перееханный танком поляк, или еще какой-нибудь кошмар.

– Чего, Сан Ваныч, сыграем, что ли? – подавая руку, подсел рядом сосед Колька и опрокинул на стол кости домино.

– Ну какая игра вдвоем, – сказал дядя Саша и отвернулся, мигая красными воспаленными глазами. Дядя Саша был сварщик. Из окна на него глядела пенсионерка Раиса Николаевна и что-то говорила стоявшей рядом Нине Борисовне Зиберовой из третьей квартиры, а та вежливо кивала головой, собираясь уходить. Дядя Саша отвернулся от них.

Через некоторое время во двор, пошатываясь, вышел Зиберов.

– Сан Ваны-ыч, – пробасил он, оттянув подтяжки и шлепнув ими свой живот. – Сан Ваныч, пойдем к нам, посидим, выпьем, закусим. А?

– А чего... Пойдем! – сказал дядя Саша.

Войдя к Зиберовым, он сунулся было снимать ботинки, потому что кругом были ковры, и всё блестело.

– Сан Ваныч, ты это брось. – сказал Зиберов.

– Подожди, Петрович, – сказал дядя Саша. – У вас тут гости, а я пьяный, Петрович, пьяный я, вот чего.

– Сан Ваныч, – качаясь, сказал Зиберов. – Рожа у тебя красная – незаметно, и тут все пьяные.

– Не, Петрович, ты чего, подожди...

Подталкивая упавшегося дядю Сашу, Зиберов провел его в комнату и усадил за стол рядом с собой.

– Ти-ха! – сказал он. Разговоры, смех и позвякивания вилок прекратились. – Предлагаю тост, – Зиберов поднял бокал. – Вот как у нас праздник Победы – выпьем за танкиста Александра Иваныча. Сан Ваныч – душа человек, проехал на своем танке всю Европу. И как у нас День Победы – выпьем за Сан Ваныча.

– Да ладно, Петрович, садись, – сказал дядя Саша. Ему было неловко, но и приятно, потому что гости одобрительно загудели и полезли с ним чокаться.

– Ну, ребята... – говорил он, поднимаясь и садясь и протягивая всем свой бокал.

Наконец, все стали пить, и он опрокинул содержимое бокала в рот, но тут же, смутившись, выплюнул его обратно.

– Петрович, – толкнул он Зиберова, который, подняв локти, ел салат.

Зиберов, жуя, обернулся к нему.

– Петрович, у тебя покрепче нету чего? Петрович?

– Имеем! – Зиберов выбрал из батареи стоявших посреди стола бутылок одну, с черной наклеякой и нарисованным на ней стрелльцом.

– Подходит? – сказал он, подняв большой палец. Потом, сковырнув головку, налил дяде Саше и себе. Они чокнулись и выпили. Повеселев, дядя Саша положил локти на стол и стал слушать, о чем говорят гости.

– Дядя Саша, а как Света живет? – вежливо спросила хозяйка.

– Живет, чего ей. Светка живет.

– Сан Ваныч, у тебя Светка мировая девка, – сказал Зиберов, жуя.

– Чего-о? – усмехнулся дядя Саша. – Чего Светка? Петрович, вот у тебя два мужика, а чего Светка... Вовка-то в каком?

– Вовка кончил уже. В Орле работает.

– Ну, Петрович, Вовка у тебя молодец парень, всегда за руку здороваается.

– Чего?

– Петрович, Вовку ты держи, держи Вовку, молодец парень.

Вслушавшись опять в разговор за столом, дядя Саша понял, что речь идет о развешанных на стенах иконах.

– Слушай, Петрович, уж не в Бога ли веришь? – спросил он.

– Сан Ваныч, – сказал Зиберов. – Ты над этим делом не смейся. Ты в этом деле ничего не понимаешь. Это не нами придумано и тыщи лет существует... Не, Сан Ваныч, и ты это дело не трогай. Нина, ты у Беляевых попугая видела? Беляев попугая купил.

– Послушай, товарищ, – сказал дядя Саша мужчине в очках с золотой оправой.

– Что вы? – наклонился тот.

– Слушай, товарищ, не знаю имя-отчество.

– Юлиан Иваныч.

– Слушай, Юлиан Иваныч, не пойму: иконы вешают – мода, что ли, такая?

– Ну, видите ли Александр Иваныч, – сказал Юлиан Иваныч. – Сейчас всё больше понимают, что Иисус был личность величайшая. Ну... Можно, конечно, и Гомера на стенку повесить, но, знаете, у меня дети Гомера боятся почему-то, аж до слез доходит. А Иисуса увидят – личики у самих светлеют.

– А вот я на карточках только тех людей представляю, которые смеются, а которые нет – для меня будто мертвые. Вот Сима, Сима, жена моя, на двух карточках живая, а на трех мертвая. Понимаешь, нет?

– Ну, – пожал плечами мужчина и поправил очки. – А вы кушайте, Александр Иваныч, почему вы не кушаете. Вот, например, удивительная вещь.

Дядя Саша посмотрел в блюдо. Там в розовом компоте плавали белые котлеты.

– Не, – сказал он.

– Ну, – пожал плечами Юлиан Иваныч.

– Сан Ваньч, – сказал Зиберов, продев свою руку под локоть дяди Саши. – Ты во всякие разговоры не суйся, ты тут человек простой и ни хрена не понимаешь.

Дядя Саша молча смотрел на розовый компот.

– Давай лучше споем, – сказал Зиберов и отвел в сторону вилку. – Э-эх, дороги!.. Вот, Сан Ваньч, веришь ли, самая любимая песня моя.

Дядя Саша молча глядел в тарелку.

– Не болтай, Петрович, – сказал дядя Саша.

– Чего?

– Я говорю, болтаешь много, Петрович. Не болтай лишку. Ты же не был на войне, Петрович. Какого хрена слезу льешь?

– Сашка-а...

– Я говорю, ты на войне-то не был. Чего поёшь?.. Не был на войне-то!

– Сашка, – сжав зубы, сказал Зиберов. – У меня на войне отец погиб!

– Ну отец... Отцы все раньше сынов помирают.

– Сашка! – рот Зиберова скривился, и он вдруг трахнул кулаком по столу. – Ты мне отца не трожь!

– Говорила я, не надо бы его сюда, – шептала на ухо Зиберову его соседка по столу.

– Подожди, Петрович, не реви, а то ведь я тоже зареву.

– Сашка-а! – обняв дядю Сашу, Зиберов ткнулся в его спину лбом и заплакал, кусая губы.

– Подожди, Петрович, а то ведь я зареву, зареву ведь я тоже, – говорил дядя Саша, изо всех сил сжимая вилку.

– Не надо, дядя Саша, кончайте вы о войне, ну ее, – сказала хозяйка, глядя дядю Сашу по плечу.

– Ни-на, – сказал он, моргая воспаленными глазами.

– Правильно, давайте о чем-нибудь другом, – сказал кто-то.

– Нина, давил ведь я людей, давил людей. Нина, понимаешь, нет, людей давил!

– Ладно, дядя Саша, не вспоминай про это, тяжело.

– Да какие же это люди были, – сказал кто-то.

– Фашистов не жалко, поляка жалко, Нина, жалко поляка. Нина, своими руками задавил, Нина! – говорил дядя Саша, моргая.

– Ну танк ведь не разбирает.

– Не хотел ведь я, Нина, задавил поляка, не хотел. – Дядя Саша, выронив вилку, вытер слезу с дергающегося лица.

– Ну, всё, всё, всё, мужики, кончайте про войну, сегодня День Победы – праздник.

– Не хотел, – сказал дядя Саша, беря стакан. – Нина, понимаешь, нет, жалко поляка, жалко!

– И только тверже выходила из огня-а-а-а! – затагнула какая-то голосистая баба.

– Во, – сказал дядя Саша, – Тве-ерже!

Прильнув щекой к его спине, шмыгал носом Зиберов.

1981

<Без названия>

Бабушка была толстая и страшная, она хрипела и ругалась, и один раз у нее полилось что-то изо рта на подушку, но дальше я не видел, потому что тетя Ия потащила меня на руках.

А ящик был белый и хороший, от него пахло яблоками, потому что, когда папка вытаскивал гвозди из крышки, там, внутри, оказались большие красные яблоки, завернутые в газету, как елочные игрушки, и я кричал от удивления.

Папка сказал, что бабушку положили в ящик и закопали в землю, и я, ухватив папкину колючую щеку, посмотрел вниз на землю и мостки.

А дядя Павлик сидел в темной комнате и заводил пластинку, у которой на одной стороне было «Ой ты, рожь, хорошо поешь», а на другой «Мама, милая мама», и пел вместе с радиолой громко и невпопад, и там стоял дым от папирос, от которого болит голова, и дядя Павлик посадил меня на колени и долго молчал, а потом спросил, где бабушка, и я сказал, что папка заколотил бабушку в ящик и закопал в землю, и тут дядя Павлик заплакал, и я испугался и побежал к папке, и сказал ему, чтоб он откопал бабушку, а то дядя Павлик плачет. А папка сказал, что дядя Павлик пьяный и, взяв меня на руки, стал колотить меня своей щекой, и я стал смеяться, а на другой день увидел под кроватью белый ящик, и от него все так же пахло яблоками, и я, обрадовавшись, побежал искать дядю Павлика, но дядя Павлик уже уехал.

4.8Г

<Без названия>

Тропинка, выйдя из лесного сумрака на залитую солнцем поляну, потерялась в зарослях травы; я нагнулся, чтоб нашить ее, и мою ладонь пощекотали бледно-зеленые листья, вялые, как теплая вода, и я увидел, как муравей стоит и смотрит на меня исподлобья, и лег и перевернулся на спину, ощутив, будто проваливаюсь со всей землей в воздушную яму – так стало щекотно и все разбежалось перед глазами, а он, помедлив, стал карабкаться мне на грудь, цепляясь за куртку, а потом полез на подбородок, пересек губы, и у меня дернулась щека, и я хохотнул через нос и зажмурился, отчего небо полилось и лопнуло, а потом почувствовал, что он сидит и смотрит в мой глаз, и выпучил глаз, подняв бровь.

Муравей смотрел в мой огромный глаз, и глаз казался ему голубым, и в нем, как в озере, отражалось небо с облаками и лес.

– Чего уставился, – сказал я, глядя его по голове. – Ты хочешь увидеть эту постную глупую рожу, или старика, который кашляет и харкается в раковину, а может, подай тебе табурет, которым бьют по головам, чтоб все разлетелось в мелкую крошку, чтоб весь мир разлетелся на атомы и молекулы, ты, кто сбежал из муравейника, что ж ты дрожишь, увидев первую живую тварь?

4.8Г

Михаил БАРУ

КОЛОКОЛА ФЕДОРА МАКСИМОВА

Если от общего количества читающих книги людей отделить тех, кто читает их на русском языке, а от них отделить читающих стихи Пушкина, а от этих отделить тех, кто читал их не только в школе и не забыл навсегда, а от оставшихся тех, кто помнит наизусть стихотворение «Признание» и строчку «...И путешествие в Опочку», то как раз и останутся те, кто слышал о существовании этого маленького городка на юго-западе Псковской области. Слышал, но ничего не знает. Прибавим к этому количеству слышавших сотню-другую актеров, которые любят, принимая красивые позы на фоне пушкинских стихов, «млея и задыхаясь», произносить «Мой ангел, я любви не стою!» со сцены и... все. Много не получится, даже если прибавить сюда девять тысяч жителей самой Опочки, их родственников, проживающих в других городах, командировочных и проезжающих, которые, как известно, в городе надолго не останавливаются и проезжают мимо.

Обычно рассказы о старых русских городках краеведы начинают с последних оледенений, шерстистых носорогов, мамонтов и кремниевых рубил, а продолжают финно-угорскими племенами, дремучими лесами, полными медведей, дикого меда и горностаев, реками, в которых не переводились осетры, обломками керамики, ржавыми рыболовными крючками, славянами, пришедшими на смену финно-уграм, Перунами, Дажьбогами, и только потом... Экономя место и время, не будем об этом говорить, а только скажем, что были и финно-угры, и славяне-кривичи, и капища языческих богов, и меха, и дикий мед, и осетровая икра, которую в те незапамятные времена ели огромными деревянными ложками без хлеба, который тогда только начинали выращивать с помощью подсечно-огневого земледелия¹.

Первый раз Опочка родилась мало того, что не в том месте, на котором она сейчас находится, но еще и под другим именем. Называлась она Коложо или Коложе и находилась в двенадцати километрах от современной Опочки. Городом назвать Коложе можно было только с большой натяжкой – это было небольшое городище на холме, обнесенное земляными валами высотой от полутора до двух с половиной метров. Тем не менее, вместе с холмом, на котором оно стояло, городище представляло собой довольно внушительное сооружение. Со стороны реки Кудки высота холма вместе с высотой насыпных валов составляла около сорока метров. Основали Коложе псковичи то ли в начале четырнадцатого века, то ли в конце его. Во всяком случае, в первый раз Коложе упомянут в девяностых годах четырнадцатого века в «Списке городов русских дальних и ближних». Построили Коложе с тем, чтобы оно охраняло дальние подступы к Пскову. В дискуссии о том, почему его так называли, мы углубляться не будем, поскольку нам еще предстоит дискуссия о том, почему Опочку называли Опочкой. Скажем только, что в пяти километрах от холма, на котором стояло городище, находится озеро Коложо, из которого вытекает одноименная речка, но... городище Коложе стоит на берегу реки Кудка. От места, где стояло Коложе, до озера тянется многокилометровое болото. По-видимому, в средние века озеро Коложо подступало к самому холму, на котором стояло Коложе, а потом стало мало-помалу заболачиваться, и теперь...

Ну, да бог с ним, с озером. Сейчас речь не о нем, а том, что в четыреста шестом году, как сообщает первая Псковская летопись, «поганый отступник веры христианския, неверник правде, ни крестному целованию, князь Витовт Литовский, и повоева Псковскую волость и город Коложе взя на миру, на крестном целовании, а миру не отказав, ни крестного целования не отстав, ни мирных грамот ко Пскову, а грамоту розметную посла к Новгороду, а сам поиде на Псковскую волость, повоева все; месяца февраля в 5 день, на память святых мученицы Агафьи, первое прииде на Коложскую волость на Фарисееве недели в пяток: овых иссече, а иныя поведе в свою землю,

а всего полону взяше одиннадцать тысяч мужей и жен и детей, опроче сеченых». Правду говоря, в одиннадцать тысяч пленных верится не просто с трудом, а вообще не верится. Чтобы взять в плен такое количество народу, Витовту нужно было как минимум всю Псковскую республику привести к общему знаменателю. Нет, все это больше похоже на ошибки переписчиков или на свидетельства очевидцев, у которых глаза от страха сделались велики. Очевидцев можно понять.

После разрушения и разграбления Коложе Витовт двинулся к соседнему Вороничу и там «наметаша рать мертвых детей две ладьи». Псков с ответом не задержался – быстро собрал войско и выступил в поход, в котором приняли участие жители других псковских пригородов – Острова, Изборска, Велье и Вороница. Витовта настигли у Великих Лук, разбили наголову и, как записано в летописи, «стяг Коложский взяша и полону много приведоша».

Восстанавливать Коложе не стали. Через восемь лет после его разрушения, то есть в четыреста четырнадцатом году, псковичи построили новый Коложе в излучине реки Великой и назвали его Опочкой². В этом месте река делает крутой поворот на запад. Через мыс прокопали ров и на образовавшемся острове насыпали холм из той самой земли, которая осталась от земляных работ. Холм этот и сейчас возвышается в центре города. Вокруг него разбит парк, на вершине холма, по периметру городского вала проложена вымощенная плиткой дорожка, по которой можно минут за пятнадцать обойти всю крепость или, вернее, то, что от нее осталось, а осталось... почти ничего. Если знать куда смотреть, то можно разглядеть небольшой овраг на месте когда-то бывшего порохового погреба, единственного каменного сооружения внутри крепости, и маленькую серую табличку там, где стояла церковь Спаса. Каменный пороховой погреб, правда, появился куда позднее – в середине шестнадцатого века. Есть еще неприметная тропинка, которая ведет с крепостного вала вниз, к реке. По этой тропинке спускались за водой во время осад. То есть тропинки и не видно почти никакой, но экскурсовод вам покажет место, где она проходила. Ну, а внутри городских стен, кроме церкви и порохового погреба, был воеводский двор, дом священника, житницы для хлеба, соляной амбар, кузница и все то, что должно быть в крепости – деловито снующие в поисках пропитания куры, сохнувшие на веревках кольчуги и чумазы ребятишки, катающие по пыльным тропинкам неизвестно где украденное чугунное ядро. Кстати, о пушечных ядрах. В Опочечком краеведческом музее их четыре. Все они хоть и выглядят очень старыми – новодел, как объяснил мне главный хранитель музейных фондов Александр Владимирович Кондратеня. Есть еще каменные. Вот среди них-то и есть одно или два настоящих.

Возвели крепость на удивление быстро – всего за две недели. В Псковской летописи по этому поводу записано: «сделаша у весь в две недели в осень по Покров», то есть к середине октября. Почему в такие короткие сроки, понятно – в тот год неутомный Витовт взял штурмом и сжег еще один укрепленный пригород Пскова – Себеж. В такой ситуации медлить не приходилось.

Новорожденная крепость была деревянной. Общая протяженность стен составляла около полукилометра. С самого начала в крепости имелось двое ворот – Большие юго-восточные и Малые северо-западные. Между двумя частоколами толстых дубовых бревен насыпали землю и обломки местного известняка. Как строительный материал он никуда не годился, поскольку был очень непрочен, но в качестве бутового камня был на своем месте – крепостную стену с таким наполнением артиллерия того времени не пробивала – ядра если и проламывали наружный частокол, то непременно вязли в земле, перемешанной с камнями. Кроме того, этим камнем, который во множестве находили, когда копали ров, устилали основание вала, а уже на него насыпали землю.

Раз уж зашла речь о местном известняке, то следует сказать, что именно он изображен на гербе города, пожалованном Опочке при Екатерине Второй. Кстати, о гербе. Интересно, куда подевалось отбитое у литовцев знамя Коложе. Передали ли его как переходящее знамя гарнизону Опочки или... Впрочем, этот вопрос выходит далеко за пределы нашего рассказа.

Вернемся, однако, к крепости. Она была, мягко говоря, небольшой – всего семьсот пятьдесят квадратных метров и в плане представляла собой эллипс. Валы сохранились до наших дней – ширина и высота их примерно одинакова и составляет около пяти метров. Не забудем сюда прибавить высоту самого холма, составляющую пятнадцать, а местами и двадцать метров. По пери-

метру стен установили три глухих башни – Себежскую, Велейскую и Заволоцкую, по имени трех таких же псковских пригородов, как и сама Опочка. Имелись еще и ворота – Большие и Малые.

Уже через двенадцать лет под городскими стенами появился все тот же Витовт. Да не один, а привел с собой, кроме, собственно, литовцев, еще и немцев, татар, чехов, поляков и валахов. На этот раз Псков узнал о планах Витовта заранее, и на помощь гарнизону Опочки были присланы полсотни вооруженных псковичей. В Псковской первой летописи об этой осаде сказано: «приде прежде к городу Опочке и лезше усердно к городу велми, а опочане с ними бишася искрепка, а Бог им святыи Спас помогаше, а Псковичи пришли бяху 50 муж снастных, много бо, рече, побиша опочани Литвы и Немци и Тотар, а опочан Бог блюдоше; и он неверный поиде опором к городу, а много голов своєю рати остави...».

Бог, конечно, опочанам помог, но и сами они не плошали. Еще до прихода Витовта перед воротами крепости был повешен тонкий мост на веревках через ров, а под заполнявшей ров водой, аккуратно под мостом, были набиты острые колья. Первыми вбежали на мост татары, а за ними поляки, чехи и валахи. Как только мост заполнился – так опочане веревки и подрезали. В Никоновской летописи по этому поводу написано: «...и тако начаша татарове скакати на мост на конех, а гражане учиниша мост на ужищах, а под ним колия, изострив, побиша; и якоже бысть полон мост противных, и гражане порезаша ужища, и мост падеся с ними на колие оно, и тако изомроша вси, а иных многих татар и ляхов и литвы живых поимаша, в град мчаша». Доскакались, значит. Некоторым не повезло – они оказались насаженными на колья. Тем, кого опочане, мгновенно вышедшие из ворот, взяли в плен, не повезло куда больше. По свидетельству Никоновской летописи опочане «резаша у татар срамныя уды их и в рот влагаху им... а ляхом и чяхом и волохам кожи одираху». Делали все на валу, на виду у осаждавших. Витовт на это смотреть долго не стал – на следующий день рано утром неприятель из-под стен города ушел. Осада Опочки продлилась всего двое суток.

Это была, так сказать, светская версия событий осады Опочки. Теперь обратимся к религиозной, в правдивости которой не сомневался один из первых опочечских краеведов – Иван Петрович Бутырский. По этой версии, она же легенда, как только началась осада – так опочане стали ходить крестным ходом с хоругвями и иконами вокруг крепости. Осаждающие сразу же стали в них стрелять и через короткое время прострелили икону Всемилоственного Спаса. Пуля сделала отверстие в иконе чуть повыше правого oka Спасителя. Как только это произошло – так в войско Витовта, уstraшенное невидимой силой, сняло осаду и ушло. Некоторые старики, как пишет Бутырский, слышали от своих прадедов и прапрадедов, что литовцы в ослеплении даже рубили друг друга³.

Рубили или не рубили, а икона с пулевым отверстием была. Если еще точнее, то просто с отверстием. Фотография ее приведена в книге Леонида Ивановича Софийского «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем», изданной к пятистолетию города в девятьсот двенадцатом году. В восьмьсот четырнадцатом году икону, которая в то время находилась в Опочечком Спасо-Преображенском соборе, описали. «Образ чудотворный Всемилоственного Спасителя, с предстоящими: Божией Матерью и Николаем Чудотворцем. На оном риза серебряная, позлащенная, чеканной работы, с тремя венцами таковыми же. В венце Спасителя над местом, где во время нашествия Литвы оный образ, повыше левой брови, прострелен, – звезда серебряная, позлащенная, в середине со вставкою белого хрусталя, и позади образа – звездочка серебряная. Хотя о случае простреления сего образа никакого описания по сие время не отыскано, народное ж изустное, истари, предание носится, что действительно последовало оное во время литовского нахождения, от стрельяния из ружей ...». Нет теперь того собора – взорвали его в тридцать седьмом, а икона пропала еще раньше – в двадцатых.

Правду говоря, у историков имеются сомнения относительно первой версии. Мост, упавший на колья, их просто накроет, и вряд ли кто-то из нападавших был на них насажен, а что касается пыток пленных, то о них, как утверждали первые опочечские краеведы, написано только в Никоновской летописи, а в остальных источниках того времени об этом ни слова. Увы, они не знали,

что о том же самом написано в Московском летописном своде конца пятнадцатого века, опубликованном впервые лишь в девятьсот сорок девятом году.

Обсуждать вторую версию таким образом, чтобы не задеть чувств верующих, не представляется возможным. Скажем только, что стрелять в икону могли и не из огнестрельного оружия, а, скажем, из арбалета. Если бы в нее попали из тогдашней пищали, которая мало была похожа на снайперскую винтовку, а более на небольшую пушку, то кроме отверстия от иконы вряд ли осталась хотя бы щепка⁴.

Так или иначе, а Витовт со своим интернациональным, как сказали бы сейчас, бандформированием осаду снял и ушел под стены другого псковского пригорода – Воронича, а Опочка осталась зализывать раны, нанесенные осадой. Через полтора десятка лет, в сентябре четыреста сорокового года, новая напасть – пожар. Пожар, в отличие от Витовта, никуда уходить не стал, а сжег Опочку дотла. Той же осенью псковичи ее восстановили. Работы велись под руководством псковского посадника Тимофея Поткина. Подсыпали валы и устроили через ров постоянный наплавной мост длиной около ста двадцати метров.

Следующая осада Опочки случилась через шестьдесят два года – в пятьсот втором. Пскову, поскольку он был союзником Москвы, пришлось воевать и с Литвой, и с Ливонским Орденом. Как написано в Псковской первой летописи, «Того же времени Немцы с Литвою совокупишася, и быти было им вместе подо Псковом, и пан Черняк не поспел, под Опочкою услышил, что Немцы выжгли Остров, а Литва мало не взяли Опочки, святыи Спас ублюде». Хотя и мало, но не взяли, а потому литовские войска не успели до прибытия помощи Пскову из Москвы соединиться с немцами, и задержала их Опочка, которая стала для Литвы и Ордена тем гвоздем, которого не было в кузнице. И все же округу неприятель разорил, убил шесть человек опочечских бортников и посеял потоптал. Немцы, как отмечает летопись, еще и «сено косиша». Еще бы мышей из погребов с собой забрали, псы-рыцари...

Прошло еще пятнадцать лет, и двадцатого сентября пятьсот семнадцатого года под стенами Опочки не опять, а снова появился неприятель. На сей раз это были... опять литовцы, да еще и с поляками во главе с князем Константином Острожским, и было их общим числом десять тысяч. В Разрядной книге 1475–1605 гг. по этому поводу имеется запись: «7026-го году в сентебре преступил король литовский кресное целованья, и помыслом злым по опасным грамотам умысля, и пришел в Полотеск со всеми своими людьми и, умысля с воеводы со князь Костентинном Острожским и з желныри⁵, пришли ко псковскому пригородку к Опочке с норядом и к городу Опочке приступали». Злых умыслов у них было не так много, и они были простыми – взять штурмом Опочку, потом двинуться на Псков и взять его, а уж там как повезет. Грабежи мирного населения, убийства и захват пленных, само собой, в планах тоже были. В войске Острожского имелись, как сообщает Псковская первая летопись, не только литовцы и поляки⁶, но и «многих земель люди», среди которых числились и чехи, и венгры, и немцы, и сербы, и татары, и валахи, и мазовшане, и моравы. Были наемники и «от цысыря Максимьяна короля Римского». В летописи о них написано: «люди мудрые, ротмистры, арахтыктаны, аристотели»⁷.

Мудрые люди, оценив диспозицию, поняли, что осада крепости простой не будет. Поляки называли Опочку «свиным корыгмом». Действительно, крепость, расположенная на плоском холме, напоминала перевернутое корыто. Эпитет «свиное» оставим на совести осаждавших. С другой стороны – как еще им называть крепость, о которую они обломали зубы?

Не будем, однако, забегать вперед. Артиллерийские батареи с проломными пушками пришлось располагать на другом берегу реки Великой, а это как минимум две сотни метров, да еще стрелять пришлось под максимальным углом возвышения, поскольку и сам холм, как мы помним, был высоким, да еще и стены, да еще и земля внутри стен, в которой застревали пушечные ядра, да еще и сами пушки, которые тогда были куда слабее нынешних, да еще и пушек было недостаточно, и подавить батареи на городских валах неприятель не смог.

Артподготовка длилась до шестого октября, то есть две с лишним недели. Толку от нее было мало, и командиры – а ими, кроме самого главного, князя Острожского, были командир чешских

и немецких наемников польский и литовский гетманы Януш Сверчковский и Юрий Радзивилл – решили отдать приказ о штурме. Для этого всю ночь перед штурмом через реку на плотах и лодках под стены крепости переправлялась пехота и закреплялась на плацдармах. На рассвете шестого октября штурм начался. Как сказано в Степенной книге: «Нощию же и лестницы ко граду поставиша. На утрия же бестудно приступи ко граду бесчисленное множество...». Первыми стали карабкаться на холм по приставным лестницам опытейшие чешские наемники. Карабкались они под прикрытием щитов. Щит, конечно, неплохая защита против стрелы или удара мечом, но когда сверху на тебя летят пудовые камни, падают огромные деревянные колоды и катятся толстые бревна, сметающие все на своем пути, то никакие щиты не помогут. Они и не помогли. Результатом первого дня штурма было шесть десятков убитых и тысяча четыреста раненых. Сейчас-то этим раненым диагнозы ставить поздно, но, скорее всего, это были переломы и черепно-мозговые травмы. Предводителю чешских наемников по прозвищу Сокол и вовсе оторвало руку.

В одном из ранних списков Холмогорской летописи о первом дне штурма написано: «А во евода и наместник Опочкой Василей Михайлович Салтыков со всеми людьми градски, богу помогающе, боряхуся против королева войска крепко. И на приступе ис пушек и ис пищалей и катки болшии и слоны с города побиша многое множество людей королева войска, яко Великую реку от всех стран запрудилша трупы люцкими, и кровью река яко быстрыми струями протече». Катки – это куски бревен, а слоны – колоды, которые выдвигали на длинных шестах над нападающими, и рубили удерживающие их веревки.

Что касается камней, то с ними, как гласит легенда, описанная в Степенной книге, произошла удивительная история. После первого штурма запас камней в крепости подошел к концу. Копать землю в крепости в поисках камней осажденным было некогда, да и какие можно найти камни на рукотворном холме. Тут можно было бы и приуныть, но... ночью, во сне, одной женщине явился св. Сергей Чудотворец, указавший место, в котором находился тайник с камнями. Не просто тайник, а тайник с огромным количеством камней. О сне или видении было немедленно доложено воеводе Василию Салтыкову, и как только противник вновь пошел на приступ, его забросали камнями, найденными в погребе, а когда объединенные силы интервентов ушли из-под стен Опочки, в крепости немедленно построили церковь во имя св. Сергия Радонежского⁸.

Надо сказать, что поляки, литовцы и нанятые ими кондотьеры не сразу ушли из-под стен Опочки. Более того, они, может, и вовсе не уходили бы, кабы не начались боевые действия у них в тылу. В Великих Луках стояли приграничные войска под командой князя Ростовского. Оттуда отправили два отряда, под командой так называемых «легких» воевод князя Федора Оболенского-Телепнева по прозвищу Лопата и Ивана Ляцкого. Легких потому, что эти отряды были хотя и малочисленными, но исключительно подвижными. Они нападали на войско Острожского сзади и мгновенно отходили, увозя с собой пленных. Все шедшие навстречу Острожскому подкрепления эти воеводы перехватили и разбили⁹.

Безуспешные попытки взять Опочку продолжались две недели – с шестого по восемнадцатое октября. К этому времени армия Острожского сильно поредела. Поздняя осень в средней полосе не лучшее время для боевых действий. Острожскому повезло – у него не было танков, а только осадная артиллерия, но и пушки выгаскивать из непролазной грязи удовольствия мало. Как только наступила распутица, осада была снята, и все оставшееся войско Острожский повел в Полоцк. Стенобитные орудия бросили, и они достались опочанам.

Наступило время преуменьшать собственные потери и преувеличивать потери противника. Если судить по русским дипломатическим источникам, то во время осады было убито шесть тысяч человек, а в ходе рейдов по тылам противника уничтожили еще четырнадцать тысяч. Посольству в Крым передали цифру поменьше – всего двенадцать тысяч, не считая, конечно, еще шести тысяч убитых при осаде. И это при том, что войско Острожского не превышало десяти тысяч. Поляки же писали сдержанно, точно сквозь зубы. Было дело, ходили под Опочку, города

хотя и не взяли, но все вокруг разорили и пожгли. Без ущерба для себя, конечно. Знаем мы, как без ущерба для себя...

Три года спустя после осады некий Некрас Харламов, сообщая кому следует о бежавшем из польского плена Тимохе Рупосове, пишет, что этого самого Тимоху, по его словам, в плену «вспрашивал король про Опочку, которой деи город боле, Луки ли или Опочка? И Тимоха ему отвечал: как, господине, у села деревня, так и у Лук Опочки малое городишко; а Луки город великой. И король де молвит: бесова деревня Опочка. И Копоть писарь Тимохе говорил: того для тебя король о Опочке спрашивал, что болши пяти тысяч людей под нею легло». Проговорился Сигизмунд – «бесова деревня», а никак не «свиное корыто». Короля можно понять – не один город ему пришлось заложить, чтобы собирать денег на этот поход. Пропали королевские денежки. Под стенами Опочки и пропали.

Через одиннадцать дней после того как то, что осталось от войска Острожского, отступило в Полоцк, великий князь Василий Третий принял литовских послов. К тому моменту те уже три недели ждали аудиенции. Литовские послы, скорее всего, ничего не зная о неудачной осаде Опочки, пытались вести переговоры с позиции силы, но... Как писал в своих записках Сигизмунд Герберштейн, бывший посредником на этих переговорах: «После того как войско польского короля ничего не добилося под Опочкой, – а рассчитывалось, что если эта крепость будет захвачена, то можно будет достичь более выгодного мира, – великий князь сделался высокомерен, не захотел принять мира на равных условиях, так что литовцы вынуждены были уехать ни с чем»¹⁰. Вот, собственно, и все об обороне Опочки в пятьсот семнадцатом году. Остается только добавить, что перед лестницей в городском парке, ведущей на вершину холма, на котором стояла средневековая крепость, по решению городских властей установлен памятный знак, а на памятном знаке есть надпись: «В 1517 году на этом месте русский гарнизон, возглавляемый воеводой Василием Салтыковым-Морозовым, наголову разбил польско-литовских захватчиков». И в скобках приписано: «Битва при Опочке». Нет, наголову не разбивал, хотя головы проломили многим, и битвы не было, а была осада, если уж быть точными, но... такую надпись захотел сделать один из городских начальников. Захотел и утвердил, хотя краеведы и говорили ему, говорили... и перестали говорить. Туристам, само собой, битва интереснее, чем осада, а уж когда наголову разбил...

И вот еще что. В середине шестнадцатого века Опочка появилась на европейской карте Каспара Вовелиуса – известного немецкого картографа и изготовителя глобусов. Неплохой результат для крепости, гарнизон которой в те времена составлял около полутора сотен человек.

Дальше наступают темные годы. Не в смысле беспросветные, хотя и таких у нас больше, чем хотелось бы, а в смысле малоизученные краеведами и историками. Нет, конечно, какие-то документы вроде зарплатной ведомости стрельцов, накладных на порох, ядра и уздечки или объяснительной записки, куда пропали дубовые бревна, припасенные для ремонта крепостной стены, находили и находят, но их мало, и потому приходится себе эту жизнь воображать.

Безусловно, первые годы после осады Опочка зализывала раны и праздновала победу. Без усталости ходили крестные ходы с простреленной супостатами иконой Всемилоостивого Спаса, устраивались торжественные гарнизонные смотры и соревнования по стрельбе из пищалей на приз воеводы Салтыкова-Морозова, ходили вокруг холма, на котором стояла крепость, с песнями под барабанный бой и жалейку, кричали «рады стараться» или что-нибудь оглушительно-радостное и нечленораздельное, потом шли в местные кабаки пить опочечное светлое пиво или брагу, потом дрались стенка на стенку до крови. Строили храмы. Посадские сажали лук, горох и капусту в своих огородах, по осени в этой капусте находили детишек, на заливных лугах сеяли овес, ходили с рогатиной на медведя, голыми руками ловили в Великой пудовых шук и осетров, которых тогда в ней водилось видимо-невидимо. Хотя насчет детишек в капусте... это вряд ли. В этих краях и сейчас много аистов, а в те времена их было не меньше, чем шук и осетров. Значит и с детьми никаких перебоев не было. Скорее всего, капусту растили исключительно для еды.

Через сорок семь лет после того, как Опочка выдержала осаду польско-литовского войска под командой Константина Острожского, весной пятьсот шестьдесят второго года к ней подступил

неприятель. На сей раз это были... снова литовцы. Псковская третья летопись по этому поводу сообщает: «...Того же лета приходили литовские люди воевати по Николине дни, на седьмой недели по Пасце, к Опочке, и хотели посад зажечи, и гражане не дали зажечи посаду, за надолбами отбилися; и многих от них постреляли з города; и они та же Литва воевали по волостям, и семь волостей вывоевали...». Семь волостей вывоевали, но Опочка им снова оказалась не по зубам. Мало того, теперь даже к стенам литовцев не подпустили и не дали зажечь посад. Он был огорожен надолбами – вкопанными в землю заостренными бревнами. Вкапывали их наклонно – остриями к нападающим.

И двадцати лет не прошло, как в пятьсот восемьдесят первом году польский король Стефан Баторий, а по совместительству и Великий князь литовский... на Опочку не пошел, а сразу двинулся на Псков, и город оказался во вражеском тылу. Н.М. Карамзин вместе с другим историком, митрополитом Евгением Болховитиновым, считали, что Баторий Опочку взял, но в Псковской летописи об этом нет ни слова, ни полслова. Молчат об этом и польские источники, а уж они-то о взятии Опочки растребули бы на всю Европу. Мало того, секретарь Батория ксендз Пиотровский писал в своем дневнике в конце октября пятьсот восемьдесят первого года: «в лесах около Опочки хватают наших курьеров и проезд в тех местах очень опасен».

К середине восьмидесятых годов шестнадцатого века относится первое описание Опочки. Находится это описание в «Подлинной писцовой книге» за номером пятьсот тридцать пять и составлено писцами Григорием Дровниным и Иваном Мещаниновым-Морозовым.

«...Город Опочка на Великой реке на острове древян, а в нем двор наместнич да двор воеводской. Внутри ж города места осадные детей боярских и городовых прикасчиков...». Осадные места были, прямо скажем, очень маленькими – три на две сажени или двадцать семь квадратных метров приписью. Немногим больше площади современных комнат в однокомнатных квартирах, но без каких-либо удобств. И на этой площади нужно было поставить дом, выкопать выгребную яму и посадить хотя бы одну грядку лука с чесноком, которыми закусывать и лечиться от всех болезней. О капусте и говорить нечего. С другой стороны – жили там люди военные. Выбирать им не приходилось. С третьей стороны, если вспомнить размеры самой крепости, то и такая площадь покажется немаленькой. Это был так называемый Верхний город, который тоже делился на две части – возвышенную на востоке и пониженную на западе и на юге. Все это напоминало деление пятака на грош и алтын, но в верхней части Верхнего города жило городское начальство, и там осадные места были побольше – четыре или даже шесть сажений в длину, но в ширину все равно две.

Несмотря на почти игрушечные размеры домов, да и самой крепости, была в Опочке Большая Спасская улица, шедшая вокруг холма от Малых ворот к главным, Большим. Возле Больших ворот была устроена площадь, в центре которой стояла колокольня и соборная церковь Св. Спаса, и потому Большие ворота называли еще и Спасскими. На площади каким-то образом помещалась еще одна церковь – Преподобного Сергия Радонежского и два двора – Наместничий и Воеводский. Кроме Большой Спасской улицы в Верхнем городе имелись еще две – Сергиевская и Петровская. Петровская улица начиналась в нижней части Верхнего города и шла по южному краю... Все это сложно представить себе без карты, а потому мы не будем останавливаться на всех этих картографических и геодезических подробностях, а скажем только, что на Петровской улице, у церкви Св. Петра была площадь, на которой гарнизон занимался строевой и боевой подготовкой, хотя... вряд ли строевой. Ей до Петра уделяли мало внимания. Там же происходили воинские сборы в случае осад и походов и собирались граждане Опочки на общественные собрания. На площадь выходили ворота порохового погреба, перед которыми стояла сторожевая изба, а точнее, сторожка. На внутренних сторонах городских валов теснились клетки, то есть кладовки и погреба пушкарей, воротников, стрельцов, попов, церковных дьячков, пономарей, кузнецов, шорников и дворников. Впрочем, с дворниками я погорячился – вряд ли они там были. Лучше заменим их плотниками. В городе существовала и богадельня, поскольку в описании упоминается клеть старца «багадельные избы». Видимо, стариков в богадельне было несколько, поскольку в другом месте

Подлинной писцовой книги читаем: «На островку на Великой реке огород богадельных старцев». Островок этот расположен аккурат напротив входа в нынешний отель «Опочка», и огородов на нем теперь никаких нет, а только непроходимые заросли крапивы, лопухов и осоки, среди которых то тут то там виднеются рыбаки, уставшие отвечать, что не клюет.

Упоминается в описи «подклетишко полуторы сажени вдовы Анны Гавриловской жены мельника...». Стало быть, имелся и мельник, а к нему прилагалась и мельница. Скорее всего, поставили ее где-нибудь на Великой, а не в Верхнем городе, где и без того яблоку негде было упасть. «...И всего внутри города царя и великого князя 6 житниц, онбар да погреб, да 6 мест пустых, да детей боярских, и монастырских, и церковных, и пушкарей, и воротников, и стрелцов осадных мест и клетей 137, да 197 мест пусты, а людей у них нет...», а если бы были, добавим мы, то сидеть бы им на головах друг у друга.

По правую руку от острова, на котором стоял Верхний город, находился еще один остров, отделенный от берега Великой прокопанным рвом. На этом острове располагался Нижний город, огороженный крепостной стеной с девятью башнями, но в описываемое время он еще не существовал, а на его месте находились посады и слободы – Пушкарская, Стрелецкая, Никольская, Воронежская, Козьмодемьянская, а в них улицы Никольская Большая, Федосова, Воротницкая, Воронежская, Пушкарская, Жидовская¹¹ и два переулка со смешными названиями – Пиндин и Пундин. Был еще посад на противоположной, левой стороне реки Великой, и назывался он Завеличьем. Правда, Козьмодемьянская слобода была почти пуста, на улицах Жидовской, Федосовой, в Пундине переулке «дворы черные пустые и места порожжие», лавочных мест имелось больше трех десятков, а занято было всего девятнадцать, на территории будущего Нижнего города стояло всего семь дворов и проживало в них ровно семь человек. «Слободка Никольского монастыря, что на Опочке на посаде, а в ней 17 дворов бобыльских... а живут в ней Никольские бобылки...». Оно и понятно – закончилась Ливонская война, и закончилась для России неудачно. Про то, чем закончилось для России, особенно для ее приграничных западных областей, правление Ивана Грозного, можно и не вспоминать. Опочка, конечно, врагу не сдалась, но от войны ей досталось. Потому и «дворы черные пустые и места порожжие», потому и бобылки, потому и лавочных мест куда больше лавок¹².

Зализывать раны, нанесенные войной и правлением Грозного царя Опочке, было некогда – надвигалось Смутное время. Первый Самозванец прошел на Москву куда южнее Опочки, а вот второй... После разгрома правительственных войск под Болховым, часть армии Василия Шуйского попала в плен, но была отпущена вторым Лжедмитрием по домам. Среди этой части были псковские стрельцы, а среди них и опочечки. В мае шестисот восьмого года пришли они домой. Псковская летопись по этому поводу сообщает: «пригородские стрельцы с псковскими... пошли на свои пригороды, на Себеж, да на Опочку, да на Красный, да на Остров, да на Изборск, и дети боярские по поместьям, и пригороды все смутили, и дети боярские и холопы их привели до пригороды и волости к крестному целованию табарскому царю Дмитрею».

Деваться было некуда – Тушинского вора признал Псков, а Опочка... Опочка была и оставалась пригородом Пскова, который и принимал за нее решения такой важности. Кроме того, все опочечки воеводы назначались Псковом. Как только в шестисот тринадцатом году Псков признал нового царя Михаила Романова – так опочечки служилые люди в компании с себежскими казаками и под командой опочечских воевод Ивана Бороздина, Богдана Аминева и себежского стрелецкого головы Ивана Неелова девятого июля «взяша Заволочье у Лисовского и много сукон, и город сожгли, и детей боярских Андрея Квашнина и прочих прислаша во Псков, а оне служили с Олисовским вместе, и Литву побиша». Тут нужно пояснить, что Заволочье – один из псковских пригородов, расположенный неподалеку от Опочки, а полковник Александр Юзеф Лисовский – один из самых активных польских, как сейчас сказали бы, полевых командиров, державший в Заволочье все награбленное, запасы оружия и снаряжения, а Андрей Квашнин – один из тех псковских помещиков, что перешли на сторону польского короля Сигизмунда. Надо сказать, что в Заволочье отсиживалось довольно много таких, как Квашнин, и находились они там вместе с

семьями. В момент штурма крепости Лисовского с основными силами в ней не было – он ушел в очередной грабительский набег. Воевода Невеля, Григорий Валуев, в те поры служивший полякам, писал литовскому референдарию Гонсевскому: «замок Заволочье взятием взяли и, взявши замок, польских и литовских и русских людей, дворян и детей боярских, и их отцов, матерей, жён и детей, и крестьян побили от мала до велика, и замок спалили». Тех, кого не убили, повели в Опочку, но отойдя от Заволочья версты три, перебили почти всех оставшихся. Лишь немногие смогли спастись бегством и добраться до Невеля. Квашнину, стало быть, еще и повезло – его довели живым до Пскова.

Формально на этом Смута для Опочки закончилась, но фактически... Город на русско-польской границе покоя не знал ни днем ни ночью. Правда, и по ту сторону границы никому спокойно спать не давал. В шестьсот тридцать третьем году служилые опочане отбивают у поляков Себеж, который по Деулинскому мирному соглашению достался Польше – «В то же время выбежала Литва из Себежа, и взяша Опочане Себеж, а Литву достальную побиша». Правда, на следующий год под Опочку пришли поляки и зажгли посад, но Себеж уже не вернули. Через шестнадцать лет после Деулинского мира заключили другой, Поляновский, но и его Опочка соблюдала точно так же, как и Деулинский, поскольку в ней без выходных работал сборный пункт русских войск, идущих в рейды на захваченные поляками и литовцами территории.

Еще через тридцать три года Россия и Польша заключили Андрусовское перемирие, по которому России наконец вернули Смоленск, все земли Левобережной Украины, Северскую землю и даже Киев. Об этом перемирии, наверное, не стоило бы здесь и упоминать, если бы оно не было подписано благодаря выдающемуся русскому дипломату, главе Посольского приказа и государственному канцлеру Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину – уроженцу Опочки. Можно было бы еще сказать, что под непосредственным руководством Афанасия Лаврентьевича была создана международная и регулярная русская почта, что он даже разработал форму почтовых служащих, что по его инициативе был построен первый русский боевой корабль «Орел», что именно он придумал трехцветный российский флаг, которым позже воспользовался Петр Великий, что основал первый русский банк во Пскове, но мы этого делать не будем, поскольку к непосредственной истории Опочки это не относится, а вернемся в Опочку конца двадцатых годов семнадцатого века¹³.

Как раз в это самое время, в период с двадцать девятого по тридцать первый год, в Опочке начали укреплять Нижний город. Игнатий Харламов, которому было поручено составить смету и руководить строительством укреплений, писал своему строительному начальству, сидевшему в Новгороде: «... на Опочке около посаду острогу и крепости никакие нет и без острогу около посаду быть не мочно, потому что город порубежной. А по смете на острог и на тарасы, и на ворота, и на башни, и на надолобы, и на всякие острожные крепости всякого лесу надобно 6020 бревен...». Весь этот лес нужно было заготовить в пяти или шести верстах от самой Опочки. Тогда этого леса было... хоть крепости из него строй. Опочецкому воеводе Ивану Нащокину начальством было велено оказывать всякое содействие строительству, а Игнатию Харламову как представителю московского заказчика «велено досматривать самому почасту и мастером приказывать накрепко, чтоб они тот острог и всякие крепости делали крепко и прочно и впредь было вечно».

Строительство шло трудно – не хватало мастеров, не хватало рабочих, и вовсе не потому, что их не было в округе, а потому, что никто не хотел наниматься. Может, денег мало платили, может, были у них другие, более выгодные заказы. Тогда из Новгородского приказа, который в то время ведал крепостью Опочка, пришла воеводе Нащокину грамота, но не почетная, а... «велено опочецким служилым людям стрелцом и казаком сказать Государево жалованное слово, чтоб они Государю послужили, на то острожное дело лес и на башни на покрышку тес готовили и острог зделали, а... буде стрельцы и казаки на то острожное дело и на покрышку тесу готовить и острожного дела делать волею не учнут, и ему на то острожное дело лес и к башням на покрышку тес готовить посылать стрельцов и казаков и острог делать велено и неволею...».

– Так бы сразу и объяснили, – отвечали стрельцы и казаки, услышав Государево жалованное слово в адаптированном для стрельцов и казаков пересказе воеводы, и тотчас стали рубить лес, тесать тес, строить стены, ворота, башни и вкапывать надолбы.

Нужно сказать, что в те времена воеводы на одном месте не засиживались – через год, как правило, их переводили в другую крепость. Не избежал этой участи и Иван Нащокин, хотя и был двоюродным братом самого Афанасия Ордин-Нащокина. При переводе на другую должность Нащокин послал отчет, который тогда назывался отпиской, царю Михаилу Федоровичу. Писал Иван Денисович о том, что крепость в Нижнем городе он построил, караулы поставил и «стрелцом, и казаком, и пушкарем, и воротником, и посадским и всяким жилецким людем в остроге под дворы места отвел». Служилые люди, подчиняясь приказу, все свои дома перенесли под защиту стен Нижнего города, а вот посадские... отказались, и это при том, что прекрасно знали, что будет с их дворами, когда враг приступит к стенам Опочки. Никакие увещевания и доводы о том, что их дворы загораживают обзор крепости, что окрестные подступы к городу не просматриваются, что караульщики «сказывают, что им стречи неусторожно», не помогли. Посадские уперлись и на все уговоры отвечали: ««каково де будет воинское время, и мы де дворы свои за острогом и сами позжем». Вот и делай с ними что хочешь. Вот и попробуй их уговорить. И это, между прочим, не те люди, которые про поляков и литовцев читали в книжках, которых они никогда не читали, а те, кто во время осад прятался в крепости, помогал стрельцам и пушкарям подносить ядра, лил кипяток и сбрасывал бревна на головы лезущей на стены пехоты. Оправдываясь, Нащокин писал: «И твой государев город Опочка от литовского рубежа всево в трех верстах, и ничто, государь, за их непослушаньем, каково что над острогом дурно учинитца, и мне от тебя, государя, в опале не быть».

И все же... следующий воевода Василий Туров в шестьсот тридцать первом году хотя и принял город у Нащокина, писал царю, что «острог не зделан и тарасы необрублены и мосты не мощены и по острогу катки не покладены, и около острогу ров не выкопан, и чеснок не набит, и надолбы не поставлены, да у города ж Опочки во многих местех вал лдом и водою розмыло и городовая стена огнила и розсыпалась и бес поделки тем местам быть неуметь». Подобно Нащокину, Туров жалуется государю на местных жителей, но уже по-другому поводу: «А подошли де к Опочке пригороды Велье, Вороноч и тех пригородов дворцовых и монастырских, и церковных, и помещицких сел и деревень крестьяня всякие жилецкие люди в сполошное время в Опочку прибегают и клети для сполошного времени ставят, а поделак городских не делают, и о том бы ему указ учинить». Одни, значит, не хотят переносить свои дома под защиту крепостных стен, а вторые понаделали себе кладовок внутри крепости и в «сполошное время» собираются там отсиживаться, но приводить в порядок острог, но копать ров... Вот и делай с ними что хочешь. Вот и попробуй их уговорить.

Туров, принимая от Нащокина Опочку, составил подробную опись служилых людей, опочечкой артиллерии и пушечных припасов. По именным спискам, представленным воеводой царю, стрельцов, казаков и пушкарей «в твоем государеве городе в Опочке 250 человек стрельцов, 70 человек казаков, да твоих государевых жалованных пушкарей 8 человек, да 4 воротника, да нежалованных 6 человек, пушкарей, да казенный кузнец...». Не будем утомлять читателя подробным списком больших пищалей на колесах, называвшихся «Орел» и стрелявшими ядрами весом по два с половиной килограмма, пищалей поменьше, называемых затинными, стрелявшими «пулками» и «дробом», неисправной пищали без замка, неисправной пищали с раздутым при выстреле дулом, исправных фальконетов, бочек с порохом, каменных и чугунных ядер, запасов свинца для отливки пуль, уже отлитых пуль, а только скажем, что всего Туров насчитал в государственной казне около сотни разного калибра годных пищалей и два десятка неисправных, больше сотни пудов пороху и около шестидесяти пудов свинца. Короче говоря, Опочка была вооружена до зубов. По тогдашнему времени, конечно. Как посчитали специалисты, суммарный залп опочечкой артиллерии составлял почти одиннадцать с половиной килограмм. Немного, если сравнить с суммарным залпом Пскова, составлявшим приблизительно в то же время сто семьдесят пять килограммов, и

немало, если сравнивать с суммарным залпом соседнего псковского пригорода Гдова, который составлял чуть менее одиннадцати килограммов. Заметим при этом, что ядра были каменные и чугунные. Не стоит их путать с артиллерийскими снарядами или бомбами. Внутри каменных и чугунных ядер был камень и чугун. Разрывные ядра появились у русских артиллеристов только в самом конце семнадцатого века. Как осажденные могли отстреливаться от превосходящих сил осаждающих – а они, как правило, были превосходящими – таким небольшим количеством камней и чугунных шаров, ума не приложу. К примеру, самый крупный узел обороны Нижнего города был на Наугольном раскате, расположенном на дороге, ведущей к Заволочью. Суммарный вес залпа этого раската составлял около трех килограммов. Правду говоря, трудно удержаться от мысли, что это масштаб какой-то уличной драки.

Читая отписки опочецких воевод московскому начальству в семнадцатом веке, удивляешься постоянным жалобам на нехватку денег, стройматериалов, припасов, на плохое состояние крепостных стен, башен, рва... К примеру, воевода Григорий Чириков в шестьсот тридцать шестом году пишет царю, что выкопанный ров оплыл, что установленные под стеной еловые колья пообломались и повалились, что «твоих государевых житниц на Опочке с твоим государевым дворцовым хлебом трицать четыре, и те стоят врозне, потому что Казенного двора нет. И многие, государь, житницы стоят без кровли, а иные многие пообсели в землю с хлебом, а иные стоят в воды, подплыли водою...». И это не все – еще пороховой погреб сверху землей не обсыпан и дерном не обложен, еще и вал осыпается потому, что лес, которым он был укреплен, сгнил. «А делать... ныне тое стены, и башен, и ворот мне, холопу твоему, нечим; в твоей государеве казне у меня... денег и никаких денежных доходов нет. А городовая... стена обвалилась, а неделаной... стены, и башням, и городовым воротам, и валу, тому месту без новые обрупки быть не уметь».

В шестьсот пятьдесят шестом году воевода Ипат Вараксин, принимая у прежнего воеводы Никиты Княжнина Опочку, пишет царю про сгнившие и обвалившиеся прясла крепостных башен, про то, что водяной тайник осыпался и против тайника осыпается вал, а по сметной росписи этот тайник должны были отремонтировать еще восемь лет назад, и вообще вал «поотсел в Великую реку, потому что около валу старинную подшву вымыло водою. И тое... городовые стены, и водяному тайнику, и городского валу отселым местом впредь бес поделки быть нелзе». В довершение ко всем бедам восемь лет назад, как раз тогда, когда по документам должны были привести в порядок водяной тайник, но не привели, выгорел «Божим попущением» опочецкий острог, и от этого пожара обгорели колеса у станин, на которые были установлены большие пищали. Понятное дело, что все это нужно приводить в порядок – и ров чистить, и новые рогатки около рва устанавливать, и водяной тайник ремонтировать, да только... посадские люди и твои государевы дворцовые, архиепископли, и монастырские, и церковные, и помещицкие крестьяне, которые делали на Опочке твое государево острожное дело, того твоего государева дела и острожные доделки делать не хотят и на Опочку по высылкам нейдут, чинятца ослушны». Никогда не было и вот опять. Когда они, спрашивается, были послушны-то?!

Через шесть лет воевода Семен Бешенцев, принимавший дела у прежнего воеводы Дружины Креницына, пишет царю, что «соли нискольке нет, и в нынешнее... воинское время без соли в Опочке быть нелзе». Еще и кровля на Себежской башне сгнила и обвалилась. Еще и городской вал «во многих местех подмыло Великою рекою, и тот вал поотсел в Великую реку, потому что около валу старинную подшву вымыло водою. И тое... Себежские башни бес кровли, и городской стены и отселому валу бес поделки ныне в войское время и впредь быть нелзе, потому что стена огнила и вал осыпался». Кажется, Семен Бешенцев читал отписку воеводы Игната Вараксина и то место, где говорится о том, что старинную подшву вала смыло водою, не мудрствуя лукаво, списал практически дословно.

До сих пор все было про стены, башни, вал и пушки, а теперь про сам опочецкий острог: А где, я... в посылках и в походех на твоих... службах ни бывал в городех, и такова теснова города, я, холоп твой, не видал. А мерою тово города острогу 500 сажен. А в остроге ... всех 340 дворов, изба с-ызбою, кровля с кровлею стеншись стоит». Это пишет царю князь Никита Гагарин – полковой

воевода, посланный со своим полком под Опочку в шестьсот шестьдесят четвертом году для участия в военных действиях против поляков.

Если кто-то, читая отписки опочечских воевод, подумает, что Опочка в семнадцатом веке только и делала, что гнила, разваливалась и оплывала в реку Великую, то ошибется, и очень. Опочка превратилась в важную приграничную крепость – в нее приходили на постой русские полки после военных походов на территорию Литвы и Польши. Опочка стала главным укрепленным городом во всей округе, и близлежащие крепости Велье, Красный и Воронич стали к ней в подчиненное положение. Это видно хотя бы потому, что их жители держали в опочечком остроге свои «осадные дворы», а проще говоря, кладовки на случай военных действий и принимали участие в строительстве и ремонтных работах на территории крепости. Пусть и неволею, но принимали. В ремонтных работах были заняты и крестьяне окрестных дворцовых, монастырских и помещичьих сел. В Опочку свозили воинские и иные припасы из других псковских пригородов и все то, что можно было вывезти из завоеванных польских городов. В Опочке даже хранился походный государев шатер «суконной муран, зеленой с полами, подбит выбойкою, в кожаном чемодане». Правда, у него «во многих местах верх и полы мыши изъели», о чем есть запись в Годовой смете, составленной в Разрядном приказе в шестьсот шестьдесят восьмом году.

Что же до воеводских жалоб... Не писать же им в самом деле, что все хорошо, что лес на строительство есть, что денег хватает и жители округи рвутся ремонтировать крепостные стены и башни. Этак урежут финансирование и не дадут денег ни на лес, ни на починку походного шатра Государя... Еще и с ревизией приедут и накажут всех, включая мышей, которые погрызли шатер. Ну, насчет мышей я, конечно, призагнул. Мышей не тронули бы. Потопали бы них ногами, и все, а вот воеводе, подъячим, стрелецкому голове, стрельцам, пушкарям и всем остальным мало не показалось бы.

Шутки шутками, а с ревизиями под стены Опочки приезжали Польша и Литва. Они и проверяли на прочность стены, башни, мерили глубину рва и остроту забитых в его дно кольев. Пушечными ядрами, конницей, пехотой и проверяли. Время было воинское, как писал воевода Бешенцев. Тут и не захочешь, а напишешь в отчете царю все как есть, без утайки.

По годовой смете Разрядного приказа гарнизон Опочки к весне шестьсот шестьдесят восьмого года вырос до полутысячи человек. «...Людей: голова стрелецкий..., дворцовых сел прикащик..., подъячей..., казаков конных в рейтарском строе 101 человек, стрелцов 300 человек, пушкарей 12..., воротников... 4, посацких людей 86 человек, и в том числе з боем с пишальми 25 человек, с топоры и з бердыши 52 человека, без бою 9 человек. Всего всяких чинов людей 506 человек...».

Все же после заключения Андрусовского перемирия, когда граница отодвинулась, хотя и не намного, от Опочки, и боевые действия в этих местах поутихли, оборонительные сооружения стали приходить в упадок, и к восьмидесятым годам семнадцатого века крепости потребовался капитальный ремонт. Подгнили башни, у которых от бурь и сильного ветра разломало кровлю, между некоторых башен обвалилась городская стена, вал у городских ворот обрушился, а сами ворота подгнили, осели и вовсе не закрывались. У городских ворот обвалился подгнивший мост, и в Верхний город стало невозможно ни пройти, ни проехать. С пороховым погребом, в котором хранились и пушечные ядра, дело обстояло еще хуже – он просто развалился. Так же, как и казенные амбары, в которых хранились хлебные и соляные припасы. Бывший в то время опочечским воеводой стольник Дмитрий Иванович Унковский доложил о состоянии крепости псковскому воеводе боярину Борису Петровичу Шереметеву, и тот распорядился Опочку немедленно привести в порядок. Унковский приказал опочечским плотникам, из стрельцов и городских казаков, все необходимое для ремонта осметить – и лес, и тес, и гвозди, и дрань, и камень, и сколько на работы необходимо отрядить плотников, каменщиков, землекопов и всех, кто в таких случаях требуется, и сколько денег им придется заплатить за работу. Платили, кстати, не всем. Починка и постройка моста заново, если будет в том нужда, была натуральной повинностью черносошных крестьян, и им за эту работу не полагалось ни копейки. В работах по «городовому строению» должны были принимать участие все черносошные крестьяне трех уездов – Опочечского, Велейского и Воро-

нецкого. Должны, но... началась обычная история – никто не хотел отвлекаться на строительные работы, поскольку и без того у крестьян сельскохозяйственных забот всегда полон рот. Им нужно было пахать, а не строить. Дворцовые крестьяне Велейского и Воронецкого уездов немедленно отправили в вышестоящему начальству челобитную, в которой писали, что «они де люди бедные и платят всякие градские платежи и поделки, строят во Пскове со Псковскими посадскими крестьяны, и то де их Опочечское городовое строенье будет вдвое». Самое удивительное, что вышестоящее начальство вошло в их положение. Правда, не до конца и от участия в стройке их не освободило, но разрешило сначала все вспахать и посеять, а уж потом...

Каким-то образом уклонилась от работ и часть монастырских и помещичьих крестьян. Видимо, тем общеизвестным способом, которым у нас уклоняются от разного рода работ, в которых участия принимать не хотят. Те же, кто никак не смог уклониться, подали челобитную царю, в которой писали, что уже в прошлом году принимали доленое участие в постройке каменного погреба для хранения боеприпасов, что каменщиков и других работников за свои кровные нанимали и за обжиг извести платили, а уклонисты этого не делали, и подвод для привоза камня не давали, и за обжиг извести не платили, и потому справедливо будет за счет тех отказников все и сделать, тем более что у многих из них в Верхнем городе имеются амбары и клетки. К челобитной был приложен список всех монастырских, казенных и помещичьих крестьян, которые в вышеуказанных работах не участвовали. Как говорится, и челобитная, и донос в одном флаконе.

За крестьянами помещика Поганкина опочечские начальники даже посылали стрельцов и приставов, чтобы силой отвести их на работы, но... оказалось, что крестьяне все необходимые повинности платят по Пскову и трогать их нельзя. Так или иначе, а каменный погреб для хранения боеприпасов был псковскими каменщиками с помощью опочан построен и стал первым каменным зданием в Опочке¹⁴.

За всеми этими военными действиями, за бесконечной починкой крепости, за постройкой стен Нижнего города¹⁵ совсем не видно простой обывательской жизни ни самой Опочки, ни Опочечского уезда, а она была, хотя и сведений о ней дошло до нас немного. В шестьсот двадцать восьмом году, как сообщает опочечский историк Иван Петрович Бутырский, разбойничал в уезде некто Тимофей Муха. Грабил он по дорогам купцов и скрывался с награбленным то ли в Себеж, то ли в Себежский уезд. Поймали Муху и выслали в Опочку для наказания.

В шестьсот тридцать первом году воеводу Карпа Ушакова уволили до срока за беспробудное пьянство, за халатность, за отсутствие караульных у городских ворот и за систематическое оставление их (ворот) открытыми и днем и ночью. В следующем году казна зыскала с опочечских пьяниц тридцать три рубля. По тем временам большая сумма. Что уж они там натворили – поломали ли лавки в кабаке, или сам кабак разнесли по бревну, или избили кабатчика, или пропили казенное имущество – теперь уж не установить, но запись о зыскании осталась в документах, относящихся ко времени царствования Михаила Федоровича.

В октябре шестьсот сорок пятого года Нижняя Опочка выгорела дотла. Опочечский воевода доложил псковскому, а псковский по команде в Москву. Псковский воевода к своей объяснительной приложил записку или, как тогда говорили, «сказку» опочечского квартирмейстера Якова Спякина, в которой было написано, что «загорелася от пьяницы, от стрельца Коземки Чижики, пришел де пьяной домой к себе, учал за женою своей гоняться, веник зажожи, хотел мучить, а прошал гривну денег на пропой, и от того веника солома загорелася, и двор его и город весь выгорел». Коземке Чижику за все те безобразия, которые он нарушал в пьяном виде, отрубили кисть левой руки. Чижик, скорее всего, требовал пенсии по инвалидности, и наверняка жаловался в Псков и даже думал понести челобитную в Москву, в Стрелецкий приказ, в котором у него был то ли знакомый подьячий, то ли писец, но ему в канцелярии опочечского воеводы отсоветовали. Не то чтобы тонко намекнули, а так прямо и сказали, что можно лишиться языка, а он, в отличие от рук, у Коземки всего один, хотя и длинный.

В сорок восьмом году построена в Опочке на Завеличье, то есть за рекой Великой, деревянная церковь во имя апостола Фомы. В пятьдесят первом году дворцовый крестьянин Егор Гадуков

хвалился, что побьет опочечких дворян. Каких конкретно дворян и в каком количестве, неизвестно. Сохранился только указ псковскому воеводе князю Львову об «учинении допроса, по объявлению Псковского помещика Бедринского Дворцовому крестьянину Георгию Гадукову в том, что он похвалялся побить Опочечких дворян». Что с ним после допроса сделали, тоже неизвестно. Скорее всего высекли и отпустили домой. Шел, поди, домой и думал, что еще дешево отделался.

В семьдесят втором году в июне и в июле трижды мироточила икона Св. Чудотворной Опочечкой Божией Матери. Видимо, повод для мироточения был, но мы его уже вряд ли узнаем. В семьдесят пятом году, в январе, сразу после кончины Алексея Михайловича, в доме воротника Харитона Трошкова мироточила икона Казанской Божией Матери, а в доме Лаврентия Чернави-на мироточила икона Благовещения Пресвятой Богородицы. В марте восемьдесят первого года снова замироточила икона Св. Чудотворной Опочечкой Божией Матери. Снова неизвестно по какому поводу. В восемьдесят четвертом году на дороге в Опочку был убит опочечкий казачий голова Сергей Шелгунов. В восемьдесят шестом году стрельцы написали челобитную начальству с просьбой построить новую караульную взамен старой – сгнившей и обвалившейся, «чтоб нам холопом Вашим, будучи на Вашей, Великих Государей, службе, на караулах в той караульне холодною смертью не помереть». Начальство согласилось и построило. В восемьдесят восьмом году опочане решили пойти крестным ходом в Святогорский монастырь Успенской Пресвятой Богородицы и просили у Великих Государей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича и у Великой княжны Софьи дать им опочечких стрельцов для охраны икон и церковной утвари «сколько человек пригоже». Власти распорядились прислать для охраны сто стрельцов.

Вот, собственно, и все о семнадцатом веке в Опочке. Рассказ об Опочке восемнадцатого века лучше всего предварить цитатой из книги опочечкого краеведа Леонида Ивановича Софийского «Город Опочка и его уезд». «В царствование Петра Великого войны со шведами уже ее не коснулись, и она мало по малу, с течением времени, снизошла на степень обыкновенного города». После войны со шведами граница отодвинулась от Опочки к Балтийскому морю. Волей-неволей, а пришлось «снисходить на степень обыкновенного», или, проще говоря, превращаться в захолустный провинциальный город. Крепость, конечно, в Опочке была, и в ней даже стоял военный гарнизон, но валы оплывали, и никто их уже не восстанавливал, стены гнили и обваливались, кровля на башнях проваливалась, а водяной осадный колодец землей заплывал, заплывал, да и заплыл совсем. Чтобы уж закончить рассказ о крепостных сооружениях, скажем, что в сентябре семьсот семьдесят четвертого года в городе случился пожар и все, что еще оставалось от стен, башен и ворот, сгорело. Сгорело еще пять деревянных церквей, почти сто обывательских домов и один дом питейный. Хуже всего то, что сгорела еще и часть опочечкого архива, сложенная в подвале соборной церкви. После этого пожара уже ничего из крепостных сооружений не восстанавливалось, и церкви построили в другом месте. Остров, на котором стояла более трех с половиной веков опочечкая крепость, уже не застраивали.

Ну, до тех времен мы еще доберемся, а пока, в самом начале восемнадцатого века, в восьмом году, при разделении Петром Первым России на восемь губерний, Опочка была приписана к Ингерманландской губернии. Через одиннадцать лет Опочка, не сходя со своего места уже оказывается в Псковской провинции Санкт-Петербургской губернии, а еще через восемь лет уже в Новгородской. Еще через сорок три года, в семьсот семьдесят втором году в царствование Екатерины Второй, Опочка неожиданно-негаданно становится губернским городом во вновь образованной Псковской губернии. Почему вдруг Опочка, когда есть Псков... Видимо, так легли карты Российской империи. В наказе, данном императрицей в мае семьсот семьдесят второго года губернаторам Псковской и Могилевской губерний, так прямо и было сказано: «назначивается Опочка, который для того и устроить нужно».

Начальником над Псковским губернатором был генерал-губернатор Белоруссии граф Захар Григорьевич Чернышев. Он, исполняя наказ, представил на утверждение императрице доклад, в котором писал: «...При заведении Белорусских губерний, Вашему Императорскому Величеству Всемиловнейше угодно было повелеть одну из оных, а именно Псковскую губернию устроить

въ городе Опочке, и сей город наименовать губернским; а на построение тамо губернской (канцелярии), також губернаторскаго и служащим при той чинам домов и разных казенных строений, по всенижайшему моему представлению, между прочими, и на сей город сумма отделена, из коей уже заготавлиются разные материалы, потребные к произведению в оном каменных строений. Но как сей город нынешняго года в сентябре месяце от пожарнаго случая столь претерпел, что с соборною церковью других еще 4 и при том не малая часть прежних деревянных строений огнем истребилась, о чем от меня и Правительствующему Сенату в свое время донесено; а тем теперь очистились особливо те места, где нужно было застроить губернскую канцелярию и дома губернаторской и прочих при губернии служащих, также и другия строения, то сделанный план проектируемых в том городе Опочке строениям, к Высочайшему Вашего Императорскаго Величества усмотрению, всеподданейше поднося, прошу Всемилостивейшаго утверждения; и осмеливаюсь доложить, не угодно ли будет Вашему Величеству, чтоб на построение каменной соборной церкви употребить до 10000 рублей из той суммы, которая по Псковской губернии, за учреждением почт и от содержания оных в прошлом 1773 году осталась и в наличности тамо хранится и никуда не назначена». На докладе генерал-губернатора Екатерина Великая начертала «Быть по сему». Утвердили план 12 декабря 1774 года.

И стало по сему¹⁶. В Опочке вместо должности коменданта учредили должность обер-коменданта, и на эту должность назначили генерал-майора Гиршейда. При Чернышеве начали готовить Опочку к роли губернской столицы. Начали строить Спасо-Преображенский собор, а на площади, которая теперь называется Советской, выстроили два огромных, в масштабе Опочки, конечно, каменных двухэтажных корпуса. Один из них предназначался для казармы, а другой для присутственных мест, в котором размещалось казначейство и тюрьма¹⁷. Эти здания и сейчас там стоят. В семидесятых годах девятнадцатого века на одном из корпусов надстроили еще два этажа и продали его из казенной собственности городу за тридцать тысяч рублей. На другом надстроили всего один этаж. Теперь оба этих корпуса, сильно обветшавших, принадлежат городу. В меньшем трехэтажном находится ПТУ, а в большем, четырехэтажном, в надстроенных двух этажах до первой мировой войны располагалось реальное училище, в советское время, в шестидесятых и семидесятых был учебный корпус еще одного училища, но уже зенитно-ракетного. Теперь в нем на первом этаже аптека, магазины модной одежды, цветов, обуви и вин. Окна и стены всех остальных этажей заклеены объявлениями о том, что продаются производственные помещения, но, судя по всему, покупатели в очередь не выстраиваются. От собора, который находился между корпусами присутственных мест, и вовсе ничего не осталось – его, как мы уже знаем, разрушили в тридцать седьмом году известно какого века и кирпичи пустили на надстройку третьего этажа на здании тюрьмы, казначейства и жандармерии (к тому времени там уже были почта и советские учреждения), но тогда, в восемнадцатом веке, его в девяносто пятом году достроили и освятили. На соборной колокольне висело девять колоколов, и самый большой был весом почти в сто пудов. Отливали этот колокол в Москве¹⁸ и употребили на отливку медь, оставшуюся от колокола сгоревшей во время большого пожара в семьдесят четвертом году деревянной церкви. В соборе хранились самые почитаемые опочечские иконы: простреленный литовцами в четыреста двадцать шестом году образ Всемилостивого Спаса и икона Опочечкой Божией Матери «Умиление». Находилась в соборе икона, изображавшая во весь рост Екатерину Вторую, а под ее изображением была помещена надпись «Екатерине Великой и Премудрой слава Созидательнице сего святого храма»¹⁹.

Стали Опочку отстраивать по генеральному плану, утвержденному Екатериной. Отдельно нужно сказать и о плане, разработанном выдающимся русским архитектором Иваном Егоровичем Старовым. По этому плану Опочка, расчищенная пожаром, должна была стать не просто губернским городом Российской империи, но европейским губернским городом. Планировалось устроить площади, на одной из которых должен был стоять православный собор, а на другой римско-католический костел. Предусмотрели въезды и выезды в город, торговые ряды, соляные магазины, воинский городок, батальонную школу, места для огородов, прописали подробно,

какой должна быть регулярная застройка вплоть до примерных размеров домов и их функционального назначения. На главном проспекте обозначили дома губернского начальства. Запланировали даже пригородный еврейский посад. Для военных решили построить гарнизонные и офицерские дома, а по двум сторонам моста через Великую поставить артиллерийские батареи с крытыми галереями при них, чтобы содержать технику и в зимнее время. Пушки этих артиллерийских батарей должны были смотреть на Запад. С направлением стрельбы все оставалось по-прежнему. Уже и подрядчиком был выбран опочекский купец Игнатий Порозов, поставлявший стройматериалы, уже и начали строительство в семьдесят пятом году, уже и построили корпуса, как вдруг карта империи легла по-другому в связи с присоединением Польши, и Опочка в семьдесят седьмом году из губернского города одним росчерком царского пера превратилась в уездный. Деньги на постройку новых губернских зданий сразу перестали выделять.

Целых пять лет Опочка прожила столицей губернии. На память об этом времени остались у нее два больших каменных корпуса на Соборной площади, план Старова, и дом генерал-губернатора, в котором он, скорее всего, не жил ни дня. Дом этот и теперь стоит на углу улиц Ленина и Коммунальной, которые раньше были Великолуцкой и Новоржевской. В нем на первом этаже квартируют кафетерий и магазин «Молоко», и на самом углу висит памятная табличка, о том, что дом является памятником архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Правда, двери в кафетерий и магазин закрыты и, кажется, давно не открывались, да и весь внешний вид дома с полуслепыми, мутными окнами говорит о том, что государство манкирует своими обязанностями. В нем, наверное, и привидений-то нет, если только на чердаке, за красивым полуциркульным окном, запыленным и закопченным до черноты. Правду говоря, дотошные краеведы выяснили, что дом этот был построен позже, в начале девятнадцатого века, а Чернышев и Кречетников, когда приезжали, то останавливались в самых обычных деревянных домах, если, конечно, вообще приезжали, но мы в этом месте копать глубже не будем, а то получается совсем обидно – и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты.

В декабре семьдесят восьмого года Екатериной Второй был утвержден новый план уже уездного города Опочки. Именным указом тверскому, новгородскому и псковскому наместнику генерал-поручику Якову Сиверсу (теперь Опочка находилась в его ведении) было предписано «Употребить казенное каменное в городе Опочке на помещение уездных правлений разного звания, магазинов и городской школы... чтоб нижнее жилище зданий оных обращено было на торговые лавки».

В мае семьсот восемьдесят первого года был утвержден герб уездного города Опочки, представлявший собой «Пирамидой сложенную кучу из известного камня, называемого опока²⁰, означающий имя сего города, в голубом поле», но прежде чем герб был утвержден, Екатерина Вторая годом раньше посетила Опочку проездом через Псковскую губернию в Могилев. Сказать, что к ее приезду готовились – значит не сказать ничего. Архиепископ Псковский и Лифляндский предписал Островскому, Опочецкому и Новоржевскому Духовным Правлениям, «чтоб от них подтверждено было Благочинным в тех церквях, где будет Высочайшее шествие, была соблюдена во всем чистота, и ежели есть что неисправное, было бы исправлено; всем священно и церковнослужителям, в тех местах находящимся, приказать наистрожайше подтвердить, чтоб в платье и в прочем соблюдена была благопристойная опрятность и чистота, а при том, чтоб были всегда трезвы и в должностях своих исправны, и никто б из них никакими просьбами не дерзал утруждать Ея Императорское Величество». Ну и колокольный звон, конечно, на всем пути следования, в близлежащих церквях, а там, где императрица остановится, «выходить священникам к дороге, если то будет по близости к церкви, в лучших ризах и епитрахили и при себе иметь крест на блюде, кадило, свечу в подсвечнике, в каждении ладану полагать немного». Еще и просфоры было предписано печь из чистой муки, а не как... Опочецким священникам говорить приветствие государыне не доверили. Для этого случая из псковской семинарии был приглашен учитель-священник о. Козьма Зряковский, которому на проезд из Пскова в Опочку было выдано без малого восемь рублей. Приветственная речь состояла из таких сладких слов и оборотов, что на бумаге их

приходилось разделять двойными пробелами – иначе они слипались в один большой ком, который и прочесть было нельзя. Впрочем, о. Козьма ее читал по памяти: «...Всеавгустейшая Монархиня. Какое сладкое чувство ощущаем в душах наших, сподобившись сретать сладчайшее лице Всепресветлейшия Великия Государины. Никакого подобия и примера в сравнении оной радости наша не видно... Гряди, торжествующая Государыня. Гряди, Всемиловитейшая Матерь Отечества. Гряди, Самим Богом во всех наветах наблюдаемая. Гряди всем нам чаянная и вожденная. Ей же в проводении вси едиными усты и единым сердцем псалмографскую песнь воспеваем: Господь да сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века».

Ее Императорское Величество переночевали в специально построенном для такого случая деревянном дворце на берегу реки Великой и укатили по дороге в Могилев осматривать новоприобретенные Россией земли, а Опочка осталась уездным городом Псковской губернии со всем, что полагается российскому уездному городу конца восемнадцатого века – городовым магистратом, дворянской опекой, уездным, словесным, сиротским, верхним и нижним земским судами, уездным казначейством, духовным правлением и даже огородническим управлением. Город был небольшим и лежал по обоим сторонам реки Великой. О размерах его можно судить по описанию Бутырского. Если сажени перевести в метры, то выходит, что длина той части, что лежала по правую сторону реки, была около тысячи шестисот метров, а ширина восемьсот пятьдесят метров. По левую сторону реки длина города была существенно меньше – около семисот метров, а ширина немногим более трехсот метров. Если все эти длины и ширины умножить и сложить, то получается город, а вернее, городок площадью немногим более полутора квадратных километров, который можно обойти пешком часа за два-три или за четыре, если останавливаться и любоваться открывающимися видами.

На этих полутора квадратных километрах располагались, кроме обывательских домов, казенных учреждений и недостроенного Спасо-Преображенского собора, пять деревянных церквей, построенных в последней трети восемнадцатого века: Николая Чудотворца, построенная на средства купца Михаила Викулина; кладбищенская церковь Св. апостолов Петра и Павла, построенная на средства купца Степана Викулина; Св. апостола и евангелиста Луки, построенная на средства купца Данила Порозова; Св. апостола Фомы, построенная попечением священника Симеона Трефилева. Имелись в Опочке и две богадельни, построенные на общественные средства. Одна из них, как пишет Софийский, «для увечных и пропитания неимущих мужей», а вторая «для таковых же увечных и пропитания неимущих жен». Не забудем упомянуть и малое народное училище, открытое в семьсот восемьдесят седьмом году.

Первый историк Опочки Леонтий Автономович Травин так описывал город за два года до наступления девятнадцатого века: «Строение обывательских дворов было тесное, избы простые с волоковыми окнами и черными печами, улицы и переулки кривые. Вид оного представлялся сущей деревней, как по подлomu строению домов, так и что не было ни единые торговые лавки, и что священники и посадские (купцов же тогда еще не было. – **М.Б.**) жители, особливо женской пол сколь ныне не все опрятны. А тогда наипаче едва которые имели башмаки на ногах, большая ж часть обувались в лапти».

Купцы все же были. В описании Опочки и уезда, составленном по результатам генерально-го межевания в семьсот восемьдесят пятом году, было сказано, что «жители в городе большею частью купцы и мещане, торг имеют разными шелковыми, шерстяными и прочими товарами не в одном городе Опочке, но и в других, закупают лен, пеньку, масло, мед, воск, юфть, которые отправляют в города С.-Петербург, Псков, Ригу, Ревель и Новгород до города Пскова, а от оного водою и сухим путем, водою же по реке Великой чрез озеро Псковское полубарками, а женщины упражняются в домашних рукоделиях». Более всего торговали льном. К концу восемнадцатого века десяток опочецких купцов отправляли лен и пеньку в порты Петербурга и Нарвы. Среди них выделялись Семен Барышников с капиталом в двадцать тысяч рублей, Михаил Викулин с капиталом в пятнадцать тысяч, Аникей Слесарев и Данила Порозов с капиталами по восемь ты-

сяч. Одиннадцать самых состоятельных опочечских купцов продавали в Риге льна и пеньки на восемьдесят семь тысяч рублей.

В самой Опочке торопечские купцы братья Побойнины завели в середине восемнадцатого века торговый филиал, занимавшийся скупкой льна и действовавший двадцать лет. Четыре раза в год в городе устраивались ярмарки. Торговали мелочным товаром вроде различных шелковых и бумажных тканей и съестными припасами. Всего купцов насчитывалось пятьдесят два человека, а мещан, занимавшихся торговлей, без малого две сотни.

Упомянем и уездных помещиков, устроивших в своих имениях фабрики. В селе Петровском, которым после фаворита Елизаветы Петровны графа Алексея Григорьевича Разумовского владел его брат генерал-фельдмаршал и гетман войска Запорожского Кирилл Григорьевич, а затем сын брата просто сенатор и просто действительный тайный советник Петр Кириллович, была построена ковровая фабрика. На ней для нужд двора ткали ковры и обелены. В Тригорском помещик Александр Вындомский завел льняную мануфактуру для производства парусины, а граф Сергей Ягужинский открыл в селе Велье в семьсот шестьдесят четвертом году льняную фабрику, на которой планировалось производить высокосортное полотно. Управителем на этой фабрике Ягужинский назначил француза Девальса. Леонтий Травин, сам родом вельянин, писал о Девальсе как о человеке жестоком и алчном, «сдиравшем кожу с крестьян, чтоб наполнить свою алчную утробу обогащением». Крестьяне, испугавшись сложных механизмов и побеседовав с нагнавшими на них страху приехавшими мастерами, пишет Травин, «пришли в отчаяние и оттого сильно возмутились... Иные ж азартные между теми ж кричали обволочь дом соломою и со всеми ими сожечь, но другие сему не соглашались; и так продолжалось до вечера». Кончилось все разгромом и фабрики, и ткацких станков двухтысячной крестьянской толпой. Девальс бежал ночью во Псков, а оттуда вскоре приехала в Велье воинская команда. Перепороли всех без исключения, а зачинщиков сослали на каторгу.

Раз уж зашла речь о помещиках опочечского уезда, скажем еще о двух, не построивших ни фабрик, ни заводов в своих имениях. В семьсот сорок шестом году владельцем так называемой Михайловской губы, состоявшей из имений Михайловское и Петровское, стал генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, прадед Нашего Всего, а в селе Матюшкино в семьсот тридцатом году обосновались Ларион Захарович Бедренский и его жена Прасковья Моисеевна Бедренская – дед и бабка Михаила Илларионовича Кутузова. В восьмидесятых годах восемнадцатого века село Матюшкино²¹ с близлежащими деревнями переходит от Прасковьи Моисеевны к ее зятю – Иллариону Матвеевичу Голенищеву-Кутузову, генерал-поручику, сенатору и кавалеру. Правду говоря, сам Михаил Илларионович на своей малой родине бывал редко, чаще всего проездом. Надолго приезжал только в год смерти отца – делил с родственниками наследственные владения. Впрочем, к истории Опочки в восемнадцатом веке это имеет очень отдаленное отношение.

Опочку начала девятнадцатого века довольно подробно описал минералог и химик академик Василий Севергин, проезжавший через город в восемьсот третьем году: «В сем изрядном, правильно выстроенном городе жителей дворян, купцов, мещан и пр. всего 828 человек. Церквей каменных 2; деревянных 5; домов казенных каменных 2; деревянных 4; питейных домов деревянных 9; домов дворянских деревянных 20; купеческих каменных 2; деревянных 216. Домов разных обывателей деревянных 58; кузниц деревянных 4; пивоварня 1. Итого всех строений 323. В малом здешнем народном училище нашел я 26 учеников. Монастырей, фабрик, заводов и мельниц в городе нет. Купечество и мещанство производят торг выработанным в сем уезде льном и пенькою, кои отправляют в Ригу, Нарву и С. Петербург. Говядина, свинина, баранина, а на случай кур, индейки, гуси, дикие тетерева, ряпчики и зайцы в городе продаются; прочие же товары, как то чай, кофе, мука крупчатая, шелковые и бумажные материи, полотна, медные, железные, стальные и другие вещи покупаются из Москвы. Петербурга, Риги, Нарвы и из Белорусских городов. Хлеб разного рода покупают от уездных обывателей. А прочие овощи, как то капуста, огурцы, картофель, редька, свекла, морковь получают из собственных огородов. В Великой реке, протекающей через Опочку, ловится щука, лещи, налимы, окуни, лини и плотва».

Девять питейных домов, пусть и деревянных, на восемьсот с лишним человек... но в остальном все то же, что и в конце восемнадцатого века – торговля льном и пенькой, капуста, огурцы, редька в огородах, но уже и картофель, уже и двадцать шесть учеников в малом народном училище и вместо кривых улиц и переулков, о которых писал Леонтий Травин, «изрядный, правильно выстроенный город».

Кстати, скажем и о малом народном училище. Оно было открыто еще в восемнадцатом веке – первого апреля семьсот восемьдесят седьмого года и было действительно малым. Открывали его по специальному обряду, утвержденному губернскими властями²². Как только обряд заканчивался, начиналась обычная жизнь. По уставу в двухклассном училище должно было быть два учителя, но в целях экономии преподавал один, и получал он как за работу в одном классе. Зарплату ему обещалось платить опочечкое купечество (не зря же его приглашали на открытие). При открытии училища присутствовавшие собрали сто двадцать один рубль, а вообще на содержание училища городское общество отпускало сто сорок рублей в год. О том, как жили учителя в Псковской губернии, в частности, и в Опочке, писал уже известный нам академик Севергин, который по поручению попечителя Санкт-Петербургского учебного округа обследовал уездные города Псковской губернии. В своем отчете Василий Михайлович писал: «Учителя живут в совершенной нищете, звание учительское не пользуется никаким уважением, судьба стариков и их семейств не обеспечена; все эти условия охлаждают педагогическую деятельность учителей». Один из первых учителей Опочечкого народного училища Троицкий в восемьсот четвертом году жаловался губернскому директору училищ на то, что ему не дают ни квартиры, ни дров, ни свечей. Он даже вступил в конфликт с городской Думой из-за плохого помещения училища и плохой квартиры²³. Правду говоря, и сам Троицкий не был образцовым учителем. По воспоминаниям опочечкого купца Петра Ивановича Кудрявцева, выпускника училища, занимался Троицкий с учениками мало, а больше заставлял способных старшеклассников заниматься с младшими. Тех, кто плохо успевал, понятное дело, секли, но и тут он поручал это малоприятное занятие старшеклассникам. Секли как мальчиков, так и девочек. Когда Кудрявцеву поручили высечь девочку, тот испугался и смутился, но учитель ободрил его словами «Ничего, ничего не бойся, это так следует». Когда ученик научался чтению, письму и четырем арифметическим действиям, учитель советовал ему оставить школу и возвращаться домой, чтобы помогать родителям. Для девочек он и грамотность считал необязательной.

Хватит об училище, тем более что в восемьсот пятнадцатом году оно было переименовано в приходское, а в городе появилось двухклассное уездное училище, при открытии которого его попечители пожертвовали единовременно на учебные пособия уже четыреста с лишним рублей, и девять лучших выпускников малого народного училища были приняты в первый класс уездного, но прежде чем все это произошло, была Отечественная война, и к ней мы перейдем буквально через два предложения, только упомянем об одном событии, произошедшем в Опочечком уезде. В восемьсот шестом году имение Михайловское, по смерти его владельца, Осипа Абрамовича Ганнибала, перешло к его жене Марии Алексеевне Пушкиной и дочери Надежде Осиповне. Не Бог весть какое имение – небольшой дом и несколько надворных построек. Через одиннадцать лет в него в первый раз придет старший сын Надежды Осиповны после окончания лицея.

Опочка в Отечественную войну двенадцатого года находилась в районе действий Первого пехотного корпуса под командованием генерал-фельдмаршала Витгенштейна, прикрывавшего направление на Петербург. В городе был расквартирован резервный полк тяжелой кавалерии Второй кавалерийской дивизии, открыт госпиталь, созданы караулы из вооруженных крестьян для борьбы с французскими фуражирами, время от времени появлявшимися на территории уезда. Горожане делали денежные пожертвования, а в уезде собрали для нужд армии хлеба почти на сорок две тысячи рублей, тысячу шестьсот с лишним тулупов, несколько сот голов крупного рогатого скота и тридцать тысяч с лишним лошадей для разных нужд. Всего на сумму около миллиона рублей. Только один Опочечкий уезд. Не губерния. Миллион без малого.

Когда стало известно, что Наполеон на Петербург не пойдет, то жители Опочки вместе с прихожанами нескольких церквей в уезде пошли крестным ходом на белорусскую границу. Опочецкий купец Петр Степанович Лобков писал по этому поводу своему дневнике: «Сего же года, сентября 9 дня, в бытность французов в Москве и Полоцке, из Опочки ходили с крестным ходом на границу Белорусскую со всех церквей, и Святогорския Божия Матери, и с Афанасьевской слободы иконы, тоже и с Прихаб. Было молебствие с коленопреклонением о побеждении врага. Жители города оставляли в домах старых да малых; и за здоровье воинов всероссийских пето и пито».

Все же, поскольку французы находились в соседней с Псковской Витебской губернии, кое-кто из опочан запаниковал и бежал во Псков. Л. И. Софийский в своей книге об Опочке цитирует рукопись опочанина и тоже купца Андрея Лапина, в которой написано, что в июле двенадцатого года «французские войска были в шестидесяти верстах от нас, от чего у нас было немалое смятение, некоторые выезжали вон из города и закапывали свое имение в земле, отчего впоследствии находили клады».

Наполеоновское отряды, которые могли бы через Псковскую губернию пойти к северной столице, были в октябре разбиты корпусом Витгенштейна под Полоцком, после чего в городе и уезде все окончательно успокоилось.

Отдельно скажем и об участии опочецких помещиков в войне. Среди них и участник сражения под Полоцком генерал Иван Петрович Кульнев, командовавший правым флангом русских войск, и генерал от кавалерии Николай Михайлович Бороздин, и генерал-майор Федор Пантелеймонович Алексополь, руководивший в Бородинском сражении четырьмя егерскими полками. Уволенный в шестнадцатом году от службы «за ранами» с мундиром и полным пенсионом, генерал жил в Опочке до самой смерти. Прибавим к этим генералам и двух потомков опочецких служилых казаков – Александра Ивановича и Степана Венедиктовича Костровых. Первый, раненый при Бородине, поля боя не покинул. Дошел до Парижа. Степан Венедиктович в сражении под Полоцком «подавал собою пример мужества нижним чинам». Наконец вспомним и опочецкого помещика, под командой которого храбро воевали все вышеперечисленные офицеры, и не только они – о генерал-фельдмаршале князе Михаиле Илларионовиче Голенищеве-Кутузове-Смоленском.

Проживал в Опочечком уезде и еще один участник Отечественной войны и Заграничного похода русской армии – Александр Адамович Глаубич. В восемьсот двадцать шестом году он был уволен от службы в чине полковника за болезнью. Жил он в селе Елизаветино и часто ездил в гости к соседям – Пушкиным, в село Михайловское, а они приезжали к нему в гости. В феврале восемьсот тридцать седьмого года Александр Адамович был среди тех немногих, кто хоронил Пушкина.

Раз уж зашла речь о военных, то нельзя обойти и подполковника Александра Ивановича Обернибесова, принимавшего участие в боях против французов еще до начала Отечественной войны. В восемьсот шестом году был он тяжело ранен и попал в плен, из которого вернулся в полк только через год. По возвращении из плена ~~попал в лагерь~~ был пожалован орденом св. Владимира 4-й степени. Потом снова воевал в Финляндии против шведов, снова был ранен, захвачен в плен и вернулся домой только через год, в ноябре восемьсот девятого года. За отличие в службе был награжден золотой шпагой «За храбрость» и отставлен за полученными ранами подполковником с мундиром и пансионом полного жалования. Мы о нем рассказываем не потому, что он был опочецким помещиком, совсем нет. Он им не был. И не для того, чтобы вы удивились тому, что в те времена после возвращения из плена можно было получить орден, хотя и для этого тоже, но потому, что спустя семь лет после отставки, в мае восемьсот пятнадцатого года, подполковник Обернибесов был назначен в Опочку городничим и прослужил в этой должности ни много ни мало, а двадцать восемь лет – почти до середины девятнадцатого века.

В восемьсот двадцать восьмом году чиновник по особым поручениям камергер барон Мантейфель по результатам ревизии Псковской губернии в своем рапорте генерал-губернатору Филиппу Осиповичу Паулуччи докладывал об Опочке и ее городничем: «Город Опочка, предна-

значенный, в Бозе почитающей Императрицу Екатериной II, для помещения наместнического правления, лежит на берегу реки Великой в приятном местоположении. По древности одного есть много ветхих строений и крестьянских изб, но есть даже каменные, в новом вкусе выстроенные здания. Торговля одного производится большей частью льном, и как река несудоходна, то обозы отправляются зимою. Городничий, отставной полковник Обернибесов, человек честный, занимается украшением города, но встречает препятствие в бедности жителей, между которыми есть предостаточные только два купеческих дома. Город имеет всего доход 5385 рублей 10 копеек в год. Улицы, кроме площади, не мощены, а за Великой строения разбросаны и есть ветхие... Тюремный острог совершенно ветх. Здание ежечасно угрожает падением. Больница доказывает, что к содержанию больных приложено должное попечение. Столы, кровати, посуда и белье в исправности. Бедные горожане в оную не принимаются. Богадельни нет. У прочих казенных зданий два корпуса, предназначенные для присутственных мест наместнического правления. Они выстроены из кирпича с чрезвычайной прочностью. Теперь они стоят без всякого употребления. Пожарные инструменты состоят в одной трубе с принадлежностями, впрочем, хорошо содержимыми. Лошадей при полиции нет».

Печальная картина. Богадельни нет, а ведь она была еще в конце шестнадцатого века, а теперь ее уже нет, хотя немощные старики и старухи в Опочке никогда не переводились. С тюремным острогом произошла и вовсе темная история. На его строительство псковский гражданский губернатор отпустил за два года до приезда Мантейфеля в Опочку с ревизией десять тысяч казенных денег. Из этих денег ровно половину выдали опочечному купцу Селюгину, подрадившемуся этот замок строить. Замок Селюгин не построил, а деньги... Нет, они не пропали, а просто два года были в полном распоряжении Селюгина, и генерал-губернатор распорядился их взыскать с купца вместе с процентами, по десяти копеек с рубля за каждый год. Селюгин заявил, будто знать не знал о том, что деньги казенные, а материалы для строительства он закупил, но доказать, что эти материалы заготовлены именно для строительства тюрьмы, не смог, и потому пришлось ему вернуть не только полученные от казны пять тысяч рублей, но и тысячу рублей в уплату процентов. Купец потом обращался в вышестоящие инстанции с прошением о неправильном взыскании с него денег, но прошение это поступило в министерство внутренних дел, а оттуда вернулось к генерал-губернатору... Ну, Бог с ним, с тюремным замком. Его еще не скоро приведут в порядок.

Прежде, чем двигаться дальше, вернемся на несколько лет назад, в первую четверть девятнадцатого века, поскольку и там происходили в городе и уезде события, без которых история Опочки была бы неполной.

В восемьсот тринадцатом году, почти сразу после того как прогнали Наполеона, в Опочке замостили камнем первую площадь. Через два года опочечким купцом первой гильдии Алексеем Даниловичем Порозовым была построена на Завеличье кирпичная Троицкая церковь. Одновременно с ней построили и колокольню, на которой было пять колоколов, два из которых весили по двадцать пять пудов каждый. Находилась в церкви чтимая икона Божией матери «Троеручица», принесенная туда в незапамятные времена опочечкими стрельцами из Виленской губернии. В церкви похоронен и сам ее строитель – купец Порозов. В ней молился император Александр Первый, бывший в Опочке проездом. Возможно, в Троицкой церкви бывал и Пушкин, поскольку неподалеку от нее находилась почтовая станция, а возможно и не бывал. Теперь уж не установить. Разобрали церковь и колокольню на кирпичи в девятьсот пятьдесят пятом году.

Александр Первый был в Опочке два раза. Первый раз, в декабре восемьсот восемнадцатого года, он был проездом и как раз тогда молился в Троицкой церкви, пока ему на станции переменили лошадей, а второй раз уже в августе восемьсот двадцать второго года. Во второй раз императору представилась от города депутация, состоявшая из городского головы Ивана Селюгина и нескольких граждан с хлебом-солью. Остановился он в доме купца Якова Миновича Порозова, где обедал и оттуда через четыре часа уехал. Как записал в своем дневнике опочечкий купец Иван Игнатьевич Лапин: «народу было премножество; все провожали, бежа за коляскою до самого мосту реки Великой».

Вообще цари и члены их фамилий проезжали через Опочку довольно часто. Император Николай Первый проезжал через Опочку еще в бытность Великим князем в восемьсот двадцать третьем году, а потом уже и императором. Правда, все больше проездом, не останавливаясь. Кстати, о Николае Первом. Вот что записано по поводу его коронации в восемьсот двадцать шестом году в дневнике уже известного нам Ивана Игнатьевича Лапина: «Был общественный праздник о благополучном короновании Николая Павловича 22 августа. В обедню пели певчие на хорах, а по окончании обедни говорил протопоп Бутырский достойнейшую проповедь. В магистрате было все купечество и мещанство угощено лучшим образом, а для черни и инвалидной команды была выставлена неисчислимая кадь с вином, и всем совершенно давали пить по хорошему стакану; и тоже закуска, состоящая из ситников и сельдей. Наконец, разгулявшись, начали пить без запрещения, кто сколько хотел, отчего двое из мещан в тот же день умерли, а многих очень едва могли привести в чувство и обратиться к жизни»²⁴.

Между вторым проездом через Опочку Александра Благословенного и коронацией Николая Первого в село Михайловское Опочецкого уезда в августе восемьсот двадцать четвертого года²⁵ приехал в ссылку из Одессы Пушкин и прожил здесь два года. Политический надзор за поэтом осуществлял предводитель опочецкого дворянства Алексей Никитич Пешуров. К Пушкину он относился хорошо и фактически разрешил ему выезжать за пределы имения и свободно передвигаться по всей Псковской губернии, хотя это и было запрещено. Пушкин даже приезжал к Пешурову в имение в гости. Духовный же надзор за поэтом был поручен настоятелю Святогорского монастыря Ионе. С ним Пушкин, как писал Вересаев, распивал наливку и... Впрочем, к истории Опочки это уж не имеет совершенно никакого отношения.

Кстати, скажем и о некоторых дворянах Опочецкого уезда. Генерал-губернатор Паулуччи в восемьсот двадцать восьмом году подал о них правительству докладную записку. Не то чтобы он хотел ее подавать, но пришлось. «Генерал-майор Чичагов купил в 1824 году в Опочецком уезде Псковской губернии поместье; крестьяне, недовольные его управлением, взволновались, и пять человек из них отправились в С.-Петербург с просьбой. Дело рассматриваемо было в комитете гг. министров, и хотя по высочайше утвержденному положению одного повелено было дать полицейское наказание и возратить в вотчину, но г. Чичагов, основываясь на высочайше утвержденном мнении Государственного Совета от 3 марта 1822 года, сослал одного из сих просителей, у которого было семейство, в Сибирь...

В 1824 восстали крестьяне опочецкого помещика отставного штабс-капитана Наперсткова. Он доказан в жестокостях с крестьянами, которых в короткое время пересек третью часть, обобрал хлеб, скот, отягощал работами, даже впрягал вместо лошадей, и столько был нечеловечески любив к ним, что желал лучше морить их в тюрьме годы, нежели взять к себе или позволить им снискать пропитание у посторонних. Псковская палата уголовного суда видела источник сего зла, ограничив, однако, злоупотребительскую власть помещика определением: взять с него подписку в том, чтобы ни он, ни жена его, не наказывали крестьян без ведома земской полиции. Правительствующий сенат освободил Наперсткова даже от сей обязанности...».

Теперь, после описаний визитов императоров, после рапортов чиновников по особым поручениям и генерал-губернаторских докладных записок правительству нужно бы рассказать об экономике города и уезда и в очередной раз пересчитать опочан, коих проживало в городе в начале восемьсот двадцатых годов 635 душ мужского и 763 женского полов, и в этом числе 95 лиц духовного звания, более 60 дворян, 125 военных, 76 купцов, 905 мещан, 106 разночинцев и 25 людей дворовых, сказать о том, что имела инвалидная команда, что на кирпичном заводе купца Никитина, основанном в восемьсот одиннадцатом году, выпускалось до двухсот тысяч кирпичей в год, что действовало в городе три небольших кожевенных завода, выпускавших товара почти на десять тысяч рублей, что дважды в год в Опочке бывали ярмарки – Покровская и Богородицкая, а в уезде самой большой была ярмарка при Святогорском монастыре, которая продолжалась от трех до семи дней, что в начале восемьсот тридцатых годов в уезде, в селе Тоболец, открылась бесплатная школа, в которой обучалось тридцать детей, что в восемьсот тридцать восьмом году

по данным атласа Псковской губернии в Опочке было тринадцать частновладельческих садов, четыре мощеных улицы и двадцать одна немощеных, но мы всего этого делать не станем, а расскажем лучше о жизни опочечских обывателей в первой половине девятнадцатого века.

Козьма Прутков сказал, что жизнь в городе начинается, когда в него входят военные. Теперь представьте себе сонную уездную Опочку, в которую в июне восемьсот двадцать первого года входит для расквартирования лейб-гусарский полк. Даже и гусарский полк произвел бы в Опочке фурор, а тут лейб-гусары. Правда, за три года до этого выдающегося события в Опочку был прислан для расквартирования 2-й Егерский полк, но куда скромной черной форме егерей против расшитой золотым позументом лейб-гусарской. Купец Иван Игнатьевич Лапин записал в своем дневнике: «Вступил к нам лейб-гусарский полк – и то то уж полк! У нас этакое никогда не стаивало, да, думаю, и не быть! солдаты молодцы, офицеры хваты и пребогаты, почти все княжеские и графские фамилии». Это пишет опочечкий купец, а представьте себе восторг опочечских купчих, а дам высшего опочечского общества, а девиц на выданье... Увы, до нас не дошло ни одного письменного свидетельства на этот счет. Вслед за лейб-гусарами подтянулись в город и виноторговцы. Рижский купец Фридрих Камман за одну неделю умудрился продать лейб-гусарам пять возов лучших вин.

Надо сказать, что опочане мужского пола любили вести дневники. Опочечкий купец Петр Степанович Лобков, мужчина серьезный, отец двенадцати детей, описывал в своем дневнике события значимые, исторические – вступление на престол нового государя, заграничные войны, появление комет и заключение мира. Дневник его назывался «Родословная Лобкова и памятник великих событий». Впрочем, описывал он и события местного значения, например постройку моста через Великую, весенний ледоход, проведение шоссе, крестный ход или необычные природные явления. Вот что он пишет в записи за восемьсот тридцать третий год: «Богоспасаемый град Опочка видел Божеское милосердие издревле, доньше, и надеется впредь через сие явление. Апреля 26 дня, в день Преполовления праздника, был крестный ход в собор, а из собора на реку, на водоосвящение; и во время водоосвящения сделалось на небе, и при солнечном сиянии явился на небе и в облаках пространный круг, начиная от солнца, простираясь к западо-северу, и другим концом упираясь в солнце; а по концам близь солнца, наподобие звезд немалого вида, ало-синеватые, несколько продолговатые шары, по обеим сторонам солнца. И чрез несколько минут явился полуциркульный круг алого или огненного цвета, близь солнца, упираясь концами в облачный круг. И перед окончанием водоосвящения, когда пошел или тронулся крестный ход, и круг облачный начал исчезать, и доколе обошел крестный ход кругом города, и молебен окончили в соборе, и круги исчезли. Народу в крестном ходу было много, и все удивлялись сему явлению; никто не видывал доселе такого круга. Но при всем том, каждый из зрителей не ужасался, а с сердечною бодростью смотрели, хвалили и превозносили Бога, тем паче, что сие явление во время богомолества и водоосвящения было. Бог осенил народ и явил отраду собравшимся христианам на молебствие».

Другой опочечкий купец, Иван Игнатьевич Лапин, владевший маленькой лавкой, в которой он торговал пряниками, мылом, свечами, орехами, помадой, перчатками, картинами и всем остальным, напротив, описывал все больше свои душевные переживания. Великих событий он не касался, литературных достоинств его дневник не имел, но... Тридцатого мая восемьсот восемнадцатого года: «Свалился воробей с кровли лавки моей и от минутного паралича умер скоропостижно. Погребен в сделанном мною гробе, между двух столбов лавки моей и Лобковой»; и на следующий день: «Была Анна Лаврентьевна у меня в лавке вечером, с коей мы разговорами проводили остаток вечера, и при сладостных поцелуях, полученных от ней, получил колечко, кое с удовольствием ношу ежедневно»; и еще через две недели: «Был с ней в саду, где на дерновой софе или в липовой беседке наслаждались приятностью дня и слушанием пернатых певцов, кои ежеминутно приятным пением своим и тихим порханием – один за другим – по кустарникам твердили, кажется, любовь. И мы здесь предположили, что оные стократно нас счастливее в рассуждении ... Законом никаким они не ограничиваются и, не стыдись ... словом – пресчастливы.

Гуляя по прекрасному цветнику, рассматривал все с живым удовольствием – насаждение Анны Лаврентьевны – и здесь, за мою к ней благодарность, получил при сладострастном поцелуе пион, и теперь – в стакане он»;²⁶ и еще через четыре года: «Была вечеринка у городничего Обернибесова, и я был обряжен турком, да еще со мной товарищ был во фраке и Дуняшка Телепнева, и нас там никто не узнал» и еще через шесть лет: «Сочетался я браком с купеческой дочерью Афимьей Ивановной Кудрявцевой, в воскресенье, в 5 часов вечера, в большой церкви». Конечно, это не описание проезда Екатерины Великой или Александра Первого через Опочку, и не описание осады Опочки войском Константина Острожского, и даже не описание кирпичного завода купца Никитина, но воля ваша, а история Опочки без Анны Лаврентьевны, без Дуняшки Телешовой, без вечеринки у городничего, без Афимьи Ивановны Кудрявцевой и даже без помершего от паралича воровья будет неполной.

Впрочем, Иван Игнатьевич описывал и великие события. В записи от двадцать девятого мая восьмисот двадцать пятого года читаем: «В Святых Горах... я имел счастье видеть Александру Сергеича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою, а например: у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою, с предлинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду; также с предлинными ногтями, которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю – около 1/2 дюжины»²⁷.

Через год после этой ярмарки Пушкин написал «Признание», в котором была упомянута Опочка... На этом месте мы остановимся и скажем, что в краеведческие споры по поводу того, сколько раз бывал Александр Сергеевич в Опочке, у кого бывал, с кем пил чай, из какого самовара, с ромом, с вареньем, со сливками или без оных, мы вступать не будем – для этого существует огромная армия пушкинистов, которая считает вам не только медали на самоваре, из которого Пушкин быть может чаю и не пил, но даже количество ложек варенья, им съеденного. Нам довольно двух слов, одного союза и одного предлога в его стихотворении. Может, это и немного, но как представишь, какое неисчислимое количество населенных пунктов не упомянуто в стихах Пушкина не то что словом, но хотя бы запятой или дефисом...

Еще через одиннадцать лет после написания «Признания», в ночь с пятого на шестое февраля восьмисот тридцать седьмого года, Пушкина отпевали в южном приделе Успенского собора Святоторгского монастыря Вороничской волости Опочецкого уезда.

Снова вернемся в Опочку. Событий великих, достойных дневника Петра Степановича Лобкова, там не происходило, но зато в городе в восьмисот пятьдесят четвертом году была закончена постройка опочечкой почтовой станции второго разряда и станции пассажирских дилижансов. То есть скоро сказка сказывается – подумаешь, второразрядная почтовая станция, а дело делалось, как у нас водится, не скоро. В сорок третьем году Главным управлением путей сообщения и публичных зданий был разработан типовой проект станций, одну из которых предполагалось построить в Опочке. Через нее должно было проходить Киевское шоссе, шедшее из Петербурга в Киев. Станция была спроектирована в псевдоготическом стиле, со стрельчатыми окнами. Одних стойл для лошадей предполагалось иметь тридцать шесть. Не построили, поскольку шоссе через Опочку только намеревалось пройти, но еще не прошло. В сорок девятом году оно прошло и этот участок тожественно открыли, но станцию... все равно не построили. В пятидесятом году ее к проезду Николая Первого с наследником Александром Николаевичем точно должны были построить, но... не построили. Не хватило средств. То есть их выделили, и притом не только на постройку станции, но еще и моста через Великую, чтобы построить к проезду императора, но их, как это обычно бывает с выделенными казенными средствами, не хватило, и закончили строительство только через три года. Строго говоря, это был целый комплекс зданий – собственно станция, отдельная изба с кухней, комнатой смотрителя и отдельным туалетом для ямщиков, а еще погреб, амбар, навес для экипажей и колодец, из которого пили и люди, и, главным образом, лошади. В главном здании четыре комнаты для проезжающих, комната для записи подорожных, баня и переход во двор, в туалеты для проезжающих. Это был не просто второй разряд – это

был upper middle class почтовых станций. В двадцатом веке станции пришлось хлебнуть горя. До двадцать второго года она была самым обычным жилым домом, потом ее брали в аренду, потом в ней и во всем комплексе почтовых зданий квартировал стрелковый полк, потом была война и от станции остались одни стены и кирпичные трубы, и только через пятнадцать лет после войны станцию восстановили, а в девяносто пятом году указом Президента РФ она стала памятником архитектуры федерального значения. Отремонтирована она так, как и полагается памятнику архитектуры федерального значения. На фотографии девятнадцатого века перед станцией стоят дилижансы, ящики и пассажиры, а теперь у стены стоят три лавочки. Вечером двенадцатого июня двадцать первого года на них сидело четыре человека и рядом был припаркован легковой автомобиль «Рено». Внутри станции никого не было и пахло пирогами с капустой и пылью.

Наверное, прочитав про подробное описание опочечкой почтовой станции, иной читатель скажет: – Тоже мне событие – постройка почтовой станции. Хотя бы и с туалетом для ямщиков.

Дорогой читатель! Ты сначала поживи в уездном городе лет сто или сто пятьдесят, а лучше двести. Тогда и будешь рассуждать про события.

Почти в то же самое время, что и постройка почтовой станции, то есть в восемьсот пятьдесят третьем году, уездный врач Опочечкого уезда Псковской губернии Иоганн Адольф Брандт по заданию и под руководством Русского географического общества составил описание Опочечкого уезда. Сохраняя орфографию подлинника, приведем из этого документа несколько цитат.

Об истории уезда: «Опочечкий уезд именно был полем битвы между русскими, литовцами и поляками, латышами, чухнами и немецкими рыцарями, как учит история и доказывают остатки укреплений в уезде на границах». О населении уезда: «Все они флегматического темперамента, без всякой энергии, добры, но ленивы и без заботны жесткосердны и не жалостливы к своему брату, более скоту... Как все народы не образованные, они придерживаются старине... Народонаселение состоит из смешанного племя русских – не очень похожих на настоящих русских. Греческой религии со многими местными выражениями». Писал Брандт и о том, что крестьяне занимаются хлебопашеством и скотоводством, что «худая земля и худая обработка земли за недостатком назема... и за незнанием смешения разных родов земли... редко рожь приходится больше, чем сам-друг, и то нечистая с примесью...». О населении, конечно, обидно. И не скажешь, что Бранд был плохо знаком с местными условиями – он проработал в Опочечком уезде врачом десять лет. Ну, что делать. Все же добры, хотя и ленивы, хотя и беззаботны, хотя и...

В восемьсот пятьдесят пятом году, в разгар Крымской кампании, через Опочку прошли дружины Государственного Подвижного ополчения. В дневнике Петра Степановича Лобкова, в том самом, который «Памятник великих событий», читаем: «...проходили чрез Опочку Тверской губернии дружины, в каждой по 1000 с прибавкой ратников. Каждая дружина встречена с крестным ходом за городом и, придя на площадь, было молебствие с коленопреклонением, и каждой дружине говорена была речь и дан образ Спасителя, изображенного в терновом венце и неся крест. И после каждому ратнику дали по стакану вина и по булке от граждан, офицерам от дворян – обед». В Опочке тоже была своя дружина. Опочечкое купечество пожертвовало в казну две тысячи рублей серебром на расходы по ополчению и даже отдельно собрало денег, чтобы в Петербурге заказать... нет, не ружья, которых катастрофически не хватало, и не обмундирование, а икону Покрова Божией Матери с серебряной позолоченной ризой и киотом. К счастью, был заключен мир и опочечкой дружине в боевых действиях не пришлось участвовать. Как пишет Лобков, «мая 1, дружинное знамя из Опочки отнесли во Псковский собор, с церемонией: взвод дружины, майор, два офицера. Молебствовали подле собору и с крестным ходом опочане и духовенство проводили за город до станции; оттоле воротился крестный ход, и протопоп Алексей опочечкий икону Покрова Божией Матери взял в собор. 16 мая распустили ратников в первоначальное состояние по домам во всей одежде и фуражках с крестом».

Вообще опочане любили ходить крестными ходами по самым разным поводам. К примеру, в августе пятьдесят девятого года в Опочку пришла холера, и тут же прихожане опочечских церквей собрались идти крестным ходом. Снова обратимся к дневнику Лобкова: «Под 12 августа было

вновь в соборе всенощное. 13-го из всех церквей после обедни был крестный ход на вал, на саму гору, по устроенным лавам для гулянки; и там было водоосвящение, потом молебствие о помиловании от язы... По отпении молебна с коленопреклонением, пошел крестный ход с валу кругом Завеличья по городу... 25-го утром служили всенощную и обедню, при малом звоне, и молебен. И с сего дня все жители пошли по домам и молебствовали. И с сего дня никто вновь не заболел, и все, при помощи Царицы Небесной, через врача островского, Ивана Мартыновича Колембы, выздоровели».

Впрочем, были события, обходившиеся без крестных ходов. В год отмены крепостного права подрядчиком купцом Ладыгиным и мастером Снегиревым был построен деревянный мост через Великую. Начали строить третьего января и за три месяца управились. В том же году в доме купца Порозова при деятельном участии уездного предводителя дворянства Якова Карловича Сиверса была открыта в Опочке четырехклассная женская прогимназия, готовившая учительниц для начальных школ. Девушек учили там русскому языку, истории, арифметике, географии, рисованию, чистописанию, музыке и Закону Божию. Само собой и двум иностранным языкам – немецкому и французскому. Позже к этим предметам добавилась латынь, гимнастика и швейное дело. К началу двадцатого века треть учительниц начальных школ в уезде были выпускницами опочечкой прогимназии. В девятьсот одиннадцатом году прогимназия была преобразована в женскую гимназию имени Пушкина. Жизнь учителей в уезде, как и в начале девятнадцатого века, во времена учителя Троицкого, воевавшего с опочечкой Городской Думой за свои учительские права, оставалась тяжелой. Опочечкая земская управа в девятьсот десятом году заключила договор на аренду дома для одной из уездных земских школ и обязало хозяйку этого дома сделать пристройку для квартиры учительницы площадью 3,78 кв. м. Вот и живи на такой площади, и ни в чем, как говорится, себе не отказывай. Заработная плата учителя в то же самое время составляла тридцать рублей в месяц. При том, что говядина стоила около пятнадцати копеек за фунт. То есть на свою месячную зарплату учитель мог купить девятью один килограмм говядины. Сегодня, через сто с лишним лет, средняя зарплата учителя в Опочке составляет двадцать тысяч, а средняя цена говядины в Псковской области – четыреста рублей за килограмм. Получается, что на свою месячную зарплату нынешний опочечкий учитель может купить пятьдесят килограммов говядины. Если же считать на сливочное масло, которое в то время стоило сорок пять копеек за фунт, а теперь шестьсот тридцать рублей за килограмм, то выходит, что тогда учитель на свою месячную зарплату мог купить тридцать килограммов масла, а теперь почти тридцать два килограмма. Пусть и небольшой, но все же прогресс. Что касается яиц, то тут прогресс просто огромен. Учитель современной Опочки может купить почти в три с половиной раза больше яиц, чем перед Первой мировой войной, что понятно, поскольку в те времена огромных птицефабрик и инкубаторов не было. Правда, уездные учителя в начале прошлого века не платили ни за горячую воду, ни за интернет, но зато нынешние не живут в таких стесненных условиях. С другой стороны, земским учителям начала двадцатого века платили надбавки за выслугу лет, но ведь и нынешним платят. В целом получается... Ну, уж как получается – так и получается. Мы, однако, слишком забежали вперед. Вернемся во вторую половину девятнадцатого века.

В восемьсот шестьдесят девятом году в Петербурге вышла книга некоего Виктора Крылова – драматурга, театрального деятеля и критика. Представляла она собой сборник очерков и называлась «Столбы. Старая погудка на новый лад», и был у нее подзаголовок «Черты нравов города Провалишина». Повествовалось в этих очерках о мошенничестве помещика Фискеля при межевании земли после реформы об отмене крепостного права. Под городом Провалишиним имелась в виду Опочка. Крылов, что называется, прописал и помещиков, и следователей, и мировых судей, и мировых посредников, и предводителя уездного дворянства. Кроме самого Фискеля, который на самом деле был гласным уездного земского собрания Вакселем, более всех досталось помещику Куличеву – сутяге, аферисту и склочнику. К счастью для опочечкой, как сказали бы сейчас, элиты, Крылов талантами Гоголя не обладал, и потому у очерков этих литературных достоинств немного и забылись они довольно быстро, а то бы ославилась Опочка не только на

всю Псковскую губернию, и все же в Куличеве узнал себя опочечкий помещик титулярный советник Павел Иванович Бولычев. Не удержался Крылов дать ему похожую фамилию. Болычев и тираж скупал, и в суд на Крылова подавал, но книга, как известно, не воробей и топором ее не вырубешь. Правду говоря, Болычев вовсе не был Крыловым беспричинно оклеветан. Павел Иванович был известным на весь уезд махинатором. При том, что находился в должности окружного начальника государственных имуществ. То заведет винокуренный завод и начнет выпускать виноградную водку под названием «Крымская», а на деле окажется, что ни к какому Крыму эта водка никакого отношения не имеет, а имеет отношение к самой обычной сивухе, то займется денежными махинациями, и на него даже заводят дело, то начнет скупать имения опочечких помещиков и чуть было не купит задешево Тригорское у совсем старенькой и плохо соображающей Прасковьи Александровны Вульф. Если бы не ее сын, в самый последний момент успевший расстроить сделку, то не миновать Тригорскому оказаться в руках Болычева²⁸. Уж он бы построил в нем еще один винокуренный завод.

В восемьсот семьдесят четвертом году²⁹ в Опочке открыли городской общественный банк и построили деревянную лютеранскую кирху. Банк и теперь в Опочке есть, и даже не один, но городского общественного уже и след простыл, а вот здание кирхи сохранилось. Обветшавшее, с заколоченными окнами и дверями, с худой и полусгнившей крышей, но по-прежнему красивое. Висит на нем табличка о том, что кирха объект культурного наследия и памятник архитектуры.

В этом же году было открыто опочечское вольное пожарное общество. Нет, все было, конечно, не так просто. Еще за год до открытия два инициатора создания общества – нотариус Лев Игнатьевич Игнатович и акцизный чиновник Алексей Константинович Подчекаев провели подписку всех желающих образовать пожарное общество. После чего Игнатовичем и Подчекаевым был разработан проект Устава, потом подан уездному исправнику, потом уездным исправником псковскому губернатору, потом через псковского губернатора министру внутренних дел, потом министр утвердил Устав, потом прошло первое заседание Совета, на котором решали, где изыскать средства, потом члены совета с подписными листами пошли собирать пожертвования, потом собрали, потом направили ходатайства в Городскую Думу с просьбой о финансовой помощи, и только потом, как писали Псковские губернские ведомости: «В Опочке 28 июля после Божественной литургии и молебствия с водоосвящением открыло свои действия Опочечское пожарное общество, состоящее из 80 членов-охотников, снабжённых необходимыми инструментами и форменной одеждой». Охотниками³⁰ назывались те, кто непосредственно тушили пожары. Уже через год охотников стало на сорок четыре человека больше, а к концу столетия их число удвоилось. День открытия Общества в городе стал ежегодным праздником опочечских пожарных. Деньги на существование Общества добывали как могли. Кроме тех, кто непосредственно рисковал жизнью на тушении пожаров, были еще и члены жертвователи. Собирали членские взносы, к ним прибавляли банковские проценты на капитал Общества, к ним прибавляли деньги, поступавшие от устройства лотерей, спектаклей, маскарадов и концертов, проходивших в городе, к ним прибавляли пособия от города, от страховых обществ, от Псковского губернского земства. И это не все. Добровольцы возили воду опочечким обывателям на лошадях Общества и зарабатывали для общества пусть и небольшие, но все же деньги. Город в стороне не оставался – он оплачивал содержание лошадей, пожарного сарая, его отопление и освещение. Помогал обществу и содержатель почтовой станции, отправлявший каждую ночь в пожарную часть двух лошадей с людьми, а в случае пожара дополнительно столько лошадей, сколько было необходимо. Расходов у Общества было тоже много – покупка пожарных инструментов, их ремонт, оплата похорон охотников, жалование механику, сигнаlistsу, сторожам, на выплату премий тем извозчикам, которые первыми доставляли на место пожара пожарную трубу и бочку с водой, наконец музыкантам собственного оркестра, потому как не бывает на свете добровольного пожарного общества без оркестра, иначе кто тогда будет играть в городском саду польки, вальсы Штрауса и полонез Огинского.

Опочечкие пожарные помогали Святогорским во время празднования столетия со дня рождения Пушкина, гасили опустошительные пожары восемьсот девяносто второго, девяносто ше-

стого, девятьсот восьмого, девятьсот четырнадцатого и семнадцатого годов, патрулировали улицы Опочки во время Февральской революции. Просуществовало Общество шестьдесят один год до сентября тридцать пятого года и было закрыто приказом НКВД. Имущество Общества передали городской пожарной команде. Правда, через пять лет то же самое НКВД и СНК СССР своими приказами организовало новое добровольное пожарное общество, но это было уже совсем другое общество. Что касается сельских пожарных дружин, то они в уезде росли практически как грибы. К началу семнадцатого года на территории имелось три вольных пожарных Общества и тридцать три сельских пожарных дружины³¹.

Через четыре года после открытия общественного банка, в семьдесят восьмом году, прислали в город триста семей горцев, высланных в Опочку после русско-турецкой войны. Собственно говоря, русско-турецкая война здесь подвернулась просто по срокам, а вообще выслали горцев во внутренние губернии после того, как завершилось покорение Кавказа, начавшееся еще в во-семьсот семнадцатом году. Всего триста семей общим числом около восьмисот тридцати человек. Софийский в своей книге об Опочке приводит цитату из дневника одного опочанина о прибытии партии сосланных горцев: «2 февраля 1878 г. в 4 часа вечера за конно-почтовой станцией собралось очень много публики с правой и левой стороны шоссе в ожидании прибывающих с Кавказа пленных черкес в числе двухсот семидесяти семей. Была чудная погода, прекрасный зимний день с небольшим морозцем. Вот показался от г. Острова большой транспорт странных по своим костюмам пассажиров: они были одеты в шубы с длинными до пят рукавами и высокие мохнатые шапки; среди них были старики, молодые и дети, мужчины и женщины. Они были привезены на крестьянских подводах в дровнях, осыпанные снегом». Разместили их в пустующих казармах. Горцы привезли с собой тиф. Опочекские дамы составили особый попечительский комитет с ежедневным дежурством, чтобы обеспечить уход за больными. В казармах открыли мастерские по изготовлению серебряных и медных изделий, а еще и сапожные мастерские, чтобы дать горцам, приехавшим из Дагестана, работу. Одиннадцать мальчиков стали учить русской грамоте. Помещик соседнего Холмского уезда фон Глауэр даже предложил переехать десяти семьям дагестанцев к нему в имение, где он предоставит им жилье, питание с тем, чтобы они отрабатывали все это на сельскохозяйственных работах, а если они пожелают обзавестись собственным хозяйством, то даст и землю, но дети гор отказались и на словах передали фон Глауэру, что будут ждать возвращения на родину.

Прожили дагестанцы в Опочке около трех лет. Жили тихо, с опочанями не ссорились. Вот только поумирало их много от чужого климата и от тоски. Надо полагать, еще и от скудного питания. Взрослому выделялось на питание семь копеек в день, а ребенку три с половиной. Еще и приходилось есть им ржаной хлеб, к которому они были непривычны, а пшеничного на такие деньги много не купишь. После того как по ходатайству опочекской помещицы княгини Дондуковой-Корсаковой, а по совместительству жены Кавказского наместника князя Дондукова-Корсакова, их освободили и отправили домой, выехало в обратный путь немногим более трети приехавших в Опочку. В память их пребывания в Опочке городская Дума в девятьсот десятом году назвала одну из улиц Кавказской. Было в Опочке и кладбище, на котором хоронили умерших дагестанцев, но потом его застроили домами. Бог знает, как это получилось, но застроили, и люди, которые там жили, когда копались в своих огородах, часто находили человеческие кости. Уже в наши дни приезжали в Опочку представители дагестанской диаспоры и хотели установить памятный знак, но опочекские власти... Так и нет там памятного знака.

В восемьсот семьдесят девятом году при самом деятельном участии городского головы Никифора Ивановича Куколкина в Пскове была издана книга Ивана Петровича Бутырского «Опыт древней истории города Опочки». Первая напечатанная книга по истории Опочки. Собственно, самое деятельное участие городского головы в издании этой книги заключалось в том, что он просто издал ее за свои деньги. В предисловии Никифор Иванович писал: «Желая поделиться с своими почтеннейшими согражданами г. Опочки этим достойным для нас Опочан, внимания, сочинением, как драгоценным и единственным памятником нашей Опочекской старины, я с осо-

бенным удовольствием принимаю на себя ходатайство пред надлежащим начальством о напечатании сего «Опыта древней истории г. Опочки» на мой собственный счет и брошуровании оного книжками в небольшом количестве экземпляров с единственною целью бесплатно ознакомить своих достойных уважения сограждан с настоящим «Опытом истории г. Опочки» в виде моего особенного почитания своей дорогой родине». Другой бы, прочитав такое предисловие, немедленно воскликнул: «Да найдется ли сейчас такой городской голова или другая часть городского тела, которая за свой счет издаст...», а мы и не подумаем. Этак можно дойти и до утверждения, что раньше городские головы были умнее, порядочнее, больше на несколько размеров, да и вода была мокрее, а она не была.

В восемьсот восемьдесят седьмом году в Опочку приехал вел. кн. Владимир Александрович. Не был проездом, но приехал специально. Бог знает зачем великие князья ездят по уездным городам. Может затем, чтобы им представлялись местные власти, подносили хлеб-соль на серебряных блюдах от имени города, принимать парады местных войск и пожарных, говорить тосты на торжественных обедах... Все это было и в Опочке, а еще на валу были устроены павильон и буфет. На торжественном обеде играл оркестр, специально выписанный по такому случаю из Петербурга. После обеда Его Высочество слушал хор городских песенников и деревенских девушек, одетых в сарафаны. Все это продолжалось до часу ночи. Была приготовлена иллюминация и фейерверки, но пошел дождь, и их пришлось отменить. На следующее утро на том же месте, на валу, опочечким дворянством и чиновниками был дан завтрак. После завтрака высокий гость укатил из Опочки. Укатил через три арки, украшенных зеленью и флагами, которые специально выстроили к его приезду. Павильон потом перестроили в летний театр, а буфет в летний клуб. Торжественный обед, на котором присутствовало шестьдесят с лишним человек, обошелся в две тысячи рублей, а устройство павильона и буфета еще в пять тысяч двести рублей. И это не все. Останавливался Владимир Александрович в доме купца Алексея Герасимовича Барышникова. Барышников в грязь лицом не ударил – парадные комнаты своего дома отделал с помощью столичных мастеров в том самом виде, в котором были они отделаны во дворце великого князя в столице. Великий князь был удивлен. Купец Барышников, поди, еще не один год рассказывал, как были удивлены их Высочества, увидав такую отделку. Еще и в лицах показывал. Особенно, когда выпивал. Надоел всем этим рассказом страшно. Злые языки Алексея Герасимовича за глаза даже называли Владимиром Александровичем.

Великий князь приезжал в Опочку еще раз, в девяносто четвертом году, но второй визит был скромнее – осмотр пожарного дела, казарм, только что построенной земской больницы, городской богадельни, обед у купца Барышникова, чай на городском валу, освящение Успенской церкви, которую на свой счет построил все тот же Барышников, и все. Кстати, о земской больнице. Она и сейчас стоит. Вид у нее, конечно, не очень здоровый, но простоит еще долго. Вот только прилагательное «земская», выложенное на фронте красным кирпичом, сбито. Осталось только «больница»³². Успенской церкви, построенной Барышниковым, повезло меньше – ее взорвали в девятьсот тридцать четвертом году.

Вместе с вел. кн. Владимиром Александровичем приезжал в Опочку известный наш историк К. К. Случевский. Парадов он не принимал и богаделен не осматривал, но оставил нам описание Опочки конца девятнадцатого века: «Опочка – это тоже один из небольших сиротских городов наших, с 4500 чел. жителей, составлявший в былое время одно из воинственных звеньев тех боевых ожерелий, которыми окружили себя Господин Великий Новгород и Псков в защиту от всяческих врагов... Опочка принадлежит к псковскому ожерелью. Земляной вал ее, величественные очертания которого видны и теперь, насыпан псковичами в 1412 или 1414 г., затем подняты деревянные стены и башни... Перед самым отъездом из города погода, просыпавшаяся еще с утра, была настолько хороша, что предстояла возможность полюбоваться с вала древней крепости прекрасным видом. Река Великая, расплываясь в этом месте двумя рукавами, очень мелка и образует остров. На самой вершине древней насыпи виднелся хорошенький павильон, а подле лестницы его торчали из земли найденные на месте две пушки. С вершины вала открывается кругозор верст

на 15 – так высока насыпь... Соборная церковь выше других, но во внешности ея бросается в глаза одно из довольно обычных у нас архитектурных безобразий: пять куполов ея синие, а шпиль колокольни зеленый; зачем эта разноголосица красок?» Полезной информации в таком описании, признаться, немного. Я привел его исключительно ради прилагательного «сиротский», которое куда красноречивее перечисления кожевенных и кирпичных заводов, пудов ржи, сала, количества купцов разных гильдий, мещан, дворян, мощеных площадей, немощеных улиц и керосиновых фонарей, их освещающих.

В промежутках между приездами великого князя, в девяносто втором году, в Опочке открыли общественную библиотеку. Строго говоря, это была не первая библиотека в городе. Первой была библиотека, работавшая при уездном народном училище с восьмьсот шестьдесят первого года, потом общественная библиотека, потом библиотека уездного училища, которая была публичной и при которой была еще и продажная библиотека, в которой можно было недорого купить разные книги, потом общественная библиотека, устроенная в шестьдесят седьмом году в доме опочечкого помещика и председателя земской управы Павла Александровича Плена, потом, в семьдесят девятом, при женской прогимназии основали учебную библиотеку, которой городские власти выделили сто рублей для приобретения книг и, наконец, в девяносто втором году в Опочке открыли первую общественную библиотеку. В Псковском городском листке появилась по этому поводу заметка: «Опочка. 16 января в городе Опочке открыла свои действия Опочечкая общественная библиотека, которая в настоящее время уже имеет до 700 томов журналов и книг и выписаны 25 названий разных периодических изданий». Как водится, не обошлось без утверждения министром внутренних дел Устава библиотеки. По этому Уставу абонентская плата не должна была превышать три рубля, а для учителей ее уменьшили до полтинника. В читальном зале тоже приходилось платить – за его посещение подписчики платили три копейки за вечер. В девяносто девятом году, в год празднования столетия с дня рождения Пушкина, библиотека стала Пушкинской, а еще через девять лет, в январе девятьсот восьмого года, по распоряжению губернатора графа Адлерберга ее закрыли потому, что опочечкий уездный исправник нашел в ней полтора десятка запрещенных книг. Среди этих книг были «Политические партии на Западе», «Шарль Фурье», «История России в XIX и XX столетиях», «Народное движение в 1848 году в Европе» и ряд других. Власти, обжегшись на молоке, дули изо всех сил на воду.

Кстати, скажем и об упоминавшемся председателе земской Управы Павле Александровиче Плене, организовавшем в Опочке ссудо-сберегательное товарищество. Оно было самым большим на территории Российской империи, и в нем состояло более девяти тысяч членов. Выдавало это товарищество кредиты крестьянам на проведение сельскохозяйственных работ. Брели их крестьяне охотно, а вот отдавать... В лучшем случае исправно платили процент по ссуде. Называли они ссудо-сберегательное товарищество «Пленовской банкой». Павел Александрович, бывший бессменным руководителем правления товарищества, преследовал благую цель – ему хотелось, чтобы крестьяне перестали брать ссуды у купцов под грабительские проценты. Кроме того, ему хотелось способствовать покупке крестьянами земель. Плен был плохим ростовщиком – более всего он думал, как помочь крестьянам, и тем, кто вовремя не возвращал ссуды и просил подождать, шел навстречу. Идти навстречу он мог и год, и два, и три. Члены правления, конечно, возражали, но Павел Александрович оставлял их возражения без внимания. Кончилось все это тем, что ссудо-сберегательное товарищество превратилось в благотворительное, с тысячами векселей, с огромными долгами в сотни тысяч рублей, невозможностью рассчитаться с кредиторами, оглушительным крахом и ликвидацией товарищества в девяносто седьмом году. История эта даже попала в книгу известного российского статистика и публициста Георгия Сазонова под названием «Ростовщичество – кулачество. Наблюдения и исследования».

Не успело развалиться ссудо-сберегательное общество, как в восьмьсот девяносто пятом году опочечкий помещик, предводитель уездного дворянства и сторонник умеренно-либеральных реформ граф Гейден основал уездное сельскохозяйственное общество. Сам граф в сельском хозяйстве разбирался не просто хорошо, а очень хорошо – его имение в Глубоком было образцовым

капиталистическим хозяйством – тут тебе и маслобойня, и два завода – винокуренный с фанерным, и лучшие импортные веялки, и молотилки, и племенное стадо английских дойных коров, и две школы, и медпункт, и даже почтовое отделение.

Забегая на несколько лет вперед, в начало прошлого века, скажем, что это и вообще было время создания и расцвета самых различных обществ: Общества вспомоществования учащимся опочечкой Пушкинской гимназии, помогавшее нуждающимся ученикам платить за учебу, бесплатно получать книги и учебные пособия, организацией неуспевающим репетиторской помощи; Приисканием подходящих квартир для приезжих и оплатой медицинской помощи; Опочечкого общества сельских хозяев потребителей, учрежденного, как записано было в его уставе, «с целью доставления своим членам, по возможно дешевой цене, или по умеренным рыночным ценам, различных предметов, необходимых в повседневном сельском хозяйстве и домашнем обиходе, и предоставления своим членам возможности из прибылей от операции общества делать сбережения»; Опочечкого общества «Здоровье и Спорт», ставившего перед собой задачу «содействовать физическому развитию лиц обоего пола: взрослых, детей и учащихся и дать возможность более тесного общения лицам, занимающимся каким-либо видом спорта»; Опочечкого кружка охотников, изю всех сил стремившегося к тому, чтобы «доставлять членам Кружка возможность правильно и удобно охотиться, принимать меры к размножению и охранению полезных охотничьих животных и птиц, содействовать местным властям в преследовании нарушений законов об охоте, распространять понятия о правильной охоте...». Всего не перечислить. Как и во всяком уважающем себя охотничьем кружке, в нем были почетные и действительные члены, а также гости. Не брали в кружок только несовершеннолетних, за исключением лиц, имеющих классные чины. Кроме того, не брали юнкеров и нижних воинских чинов, учащихся и ранее судимых. Бывало, поедут действительные члены вместе с почетными и гостями в поля за реку Великую, наймут там мальчишек из окрестных деревень, и те им выгоняют зайцев из кустов, а не то устроят облавную охоту на волков под руководством кружковца и последнего опочечкого городского головы Владимира Александровича Селюгина. Владимир Александрович даже писал статьи об охоте в охотничьи журналы³⁴.

Между прочим, членами кружка охотников были Эдуард и Альберт Альбертовичи Тиме – владельцы турбиностроительного завода, производившего турбины для мукомольных мельниц, различные передаточные механизмы, а с девятьсот первого года и турбины для небольших электростанций. Фирма Тиме была известна еще с восьмьсот шестьдесят седьмого года, но понастоящему братья развернулись в восьмьсот восемьдесят девятом году, когда был построен турбиностроительный завод в селе Захино Опочечкого уезда. Производили на заводе так называемые турбины Жонваля, изобретенные и запатентованные во Франции еще в восьмьсот сорок третьем году. Не вдаваясь в подробности их конструкции, скажем только, что были они в два и даже в три раза эффективнее обычных водяных мельничных колес. Устройство имели настолько простое, что освоить и обслужить их мог даже сельский механик. На каждую турбину давалась двухгодичная гарантия, покупателей обучали прямо на заводе, но по желанию заказчиков монтеры фирмы могли установить турбину на месте. Качество турбин было отменным – некоторые установки работали без ремонта более тридцати лет. Поставлял завод свои турбины, как минимум, в дюжину европейских губерний России и даже в Сибирь – в Енисейскую, Акмолинскую, Семипалатинскую и другие губернии. Всего с начала своей работы и до девятьсот двенадцатого года завод изготовил шестьсот турбин.

К судьбе завода после семнадцатого года мы еще вернемся, хотя... было бы зачем возвращаться. Скажем сразу, что в восемнадцатом году завод национализировали, а на следующий год он сгорел. После того как начался НЭП, бывший владелец завода Альберт Тиме взял завод в аренду, пытаясь его восстановить, но ничего у него не получилось. Договор с Тиме расторгли, а то, что осталось от завода, передали по распоряжению Псковского окружкома ВКП(б) в качестве цеха на Псковский завод «Металлист». В сорок пятом году обком ВКП(б) решил восстановить завод и все же производить на нем турбины, но... снова ничего не получилось, и уж тогда эти попытки

оставили насовсем. В заводских помещениях какое-то время помещалась машинно-тракторная станция, потом их использовал местный колхоз, потом не использовал никто, и теперь от них и следа не осталось.

Вернемся, однако, к началу двадцатого века – к возникавшим как грибы после дождя обществам. Опочечкое еврейское вспомогательное общество ремесленников... так и не было организовано из-за разногласий между евреями-ремесленниками, евреями-купцами и евреями-мещанами. Поначалу все было хорошо – в январе девятьсот тринадцатого года псковский губернатор на свое имя получил прошение от группы опочечких евреев-ремесленников с просьбой разрешить создать им, то есть еврейским ремесленникам города Опочка, Общество для помощи бедным ремесленникам. Ремесленники написали красиво: «Город Опочка имеет значительное количество еврейского населения, занимающегося ремеслами, среди него много бедноты, которая нуждается в одновременной или продолжительной экономической поддержке бедняку, может дать ему возможность пережить экономические или семейные разрушения и сделаться опять человеком, не обременяющим общество его поддержкой». Общество планировало своим нуждающимся членам и бедным, больным ремесленникам давать возвратные и безвозвратные ссуды, помогать семьям умерших и погибших ремесленников, давать медицинские пособия – короче говоря, делать все то, что делают профсоюзы, которых тогда и в помине не было. И все было бы хорошо, и общество губернатор наверняка разрешил бы, но... через два месяца он (губернатор) получил еще одно прошение, но уже от другой группы опочечких евреев, в котором говорилось, что еврейские купцы и мещане, коренные жители Опочки, категорически против такого общества, поскольку среди них тоже есть люди, имеющие право быть принятыми в общество и вообще «нежелание же ремесленников впустить в общество купцов и мещан, можно только объяснить их враждебное отношение не к пролетариату». Ну, и, конечно, просили в таком виде Устав не утверждать. Уже через четыре года опочечкий пролетариат покажет и купцам, и мещанам, и ремесленникам, что такое враждебное отношение, а пока... псковский губернатор решил повременить с разрешением и даже дал задание уездному опочечкому исправнику собрать как можно больше информации по данному вопросу. Исправник собрал и написал совершенно секретный рапорт, в котором совершенно секретно докладывал начальству, что «по собранным мною секретным образом сведениям, богатые ремесленники-евреи, проживающие в г. Опочке, с целью привлечь на свою сторону остальных ремесленников, чтобы забрать в свои руки власть в Правлении, задумали учредить устав «Опочечкого еврейского вспомогательного общества ремесленников», не принимая в свою среду купцов из других классов евреев, будучи принятыми, могут много вредить учредителям – богатым ремесленникам. Между тем в г. Опочке есть бедные коренные жители-купцы, которым необходимо оказывать помощь, но без участия в этом деле купцов и других классов евреев проектируемого общества по малочисленности ремесленников (66 семей), нельзя, а потому я полагаю бы ходатайство ремесленников евреев отклонить». Вряд ли можно было ожидать от уездного исправника другого ответа, хотя он и считал, что «другой какой-либо скрытой цели, преследуемой евреями-ремесленниками при возбуждении ими ходатайств о регистрации устава, не обнаружено». Губернатор долго не думал – отклонил. Так евреи-ремесленники без своего общества и остались. Еврейские купцы и мещане составили им достойную компанию.

К самому концу девятнадцатого века относится еще одно неудачное предприятие – прокладка железной дороги. В первый раз вопрос о проведении железной дороги через Опочку возник еще в восемьсот девяносто пятом году. Опочечкое городское управление и Земство обратились с ходатайством к Первому Обществу подъездных железных дорог в России с просьбой произвести изыскание рельсового пути через Опочку в процессе прокладки железной дороги от станции Пыталово до Великих Лук. Город и земство пообещали эту работу оплатить и даже посулили за нее семь тысяч рублей, три тысячи из которых должно было заплатить городское управление, но не заплатило. Общество подъездных железных дорог терпело два года, а потом подало исковое заявление в Псковский окружной суд с требованием взыскать с Опочечкого городского управления всю сумму, да еще и с процентами за эти два года. Судились с чувством толком и расстановкой

еще пять лет, и в конце концов три четверти суммы Опочецкому городскому управлению пришлось выплатить по суду железнодорожному Обществу. Что же касается железной дороги, то ее на этот раз так и не построили. В следующий раз ее начнут строить весной девятьсот шестнадцатого года, но до этого времени нужно еще дожить.

И еще об одном событии, происшедшем в Опочечком уезде в самом конце девятнадцатого века. Григорий Александрович Пушкин, владевший селом Михайловским, в девяносто девятом году продал его в казну. Еще за год до этого псковское дворянство хотело собрать деньги и выкупить у сына Александра Сергеевича Михайловское с тем, чтобы устроить в нем что-нибудь хорошее и полезное, но пока оно, то есть псковское дворянство, собиралось с мыслями, в начале июля девяносто девятого года последовало Высочайшее соизволение приобрести в казну имение Пушкиных и предоставить псковскому дворянству возможность устроить в усадьбе этого имения по соглашению с Академией Наук что-нибудь благотворительное, связанное с именем Пушкина. Через два года обсуждений псковское дворянство решило устроить в Михайловском «колонию для сирот и вдов писателей, а также для писателей, впавших в неизлечимую болезнь, лишаящую их возможности заниматься литературным трудом». Оказалось, что для осуществления этого проекта нужны деньги, а денег не было. Через четыре года после решения об устройстве колонии псковское дворянство начало просить министра финансов передать Михайловское себе, то есть псковскому дворянству с тем, чтобы продать лес и некоторые пустоши, а на вырученные деньги устроить колонию. Чрезвычайное губернское собрание вынесло решение поручить губернскому предводителю войти в сношение с Академией Наук и просить ее, то есть Академию Наук, совместно с псковским дворянством ходатайствовать перед Государем Императором о передаче Михайловского псковскому дворянству, для устройства колонии... о помещении туда, кроме вдов, писательских сирот и немощных писателей, учителей низших народных школ... о внесении рода Пушкиных в дворянскую родословную книгу Псковской губернии... и о многом другом. Еще через два года все ходатайства были удовлетворены, и из суммы, вырученной от продажи пустошей, планировали составить неприкосновенный капитал, который должен был храниться в Государственном банке, а проценты с капитала... и министр внутренних дел должен был по соглашению с Академией Наук утвердить проект... и уже даже начали летом девятьсот восьмого года приспособлять господский дом для колонии, как он взял да и сгорел. То есть совсем сгорел. Остался амбар, флигель управляющего, скотный двор и, что ценнее всего, домик, в котором по преданию, Пушкин временно проживал с няней Ариной Родионовной. Правду говоря, Пушкин в сгоревшем доме не жил и жить не мог, поскольку тот был построен через четверть века после его смерти сыном Григорием. Барон Розен, который псковским дворянством был выбран попечителем колонии, составил проект постройки на месте сгоревшего дома нового, по имевшемуся у него рисунку того самого дома, в котором жил поэт, и планировал обставить его мебелью, которая была при жизни Пушкина. Если таковая, конечно, найдется. Этот проект, как сообщает Леонид Иванович Софийский в своей книге по истории Опочки и ее уезда, псковским дворянством и был осуществлен³⁵. Колонию открыли в конце мая девятьсот одиннадцатого года, но это уже событие следующего, двадцатого века.

Как ни крути, а придется, чтобы закончить с девятнадцатым веком Опочки, обратиться к экономике, статистике, ярмаркам, заводам, фабрикам, пудам, четвертям, десятинам и лошадиным силам. Если смотреть со стороны ярмарок, то экономическая жизнь в Опочке и уезде просто бурлила. Только в самой Опочке в год проходило двенадцать однодневных ярмарок – Крещенская, Сретенская, Сборная в первый день Великого поста, Евдокиевская, Сороки, Алексеевская, Благовещенская, Входаиерусалимская в Вербное воскресенье, Борисовская, Петровская, Госпожская-Богородицкая и последняя, декабрьская, с загадочным названием Повороты. В уезде проходило еще девять ярмарок, из них две самых крупных в Святых Горах – Девятник в девятую пятницу после Пасхи и Покровская в конце сентября. Обе они шли по семь дней. Те самые ярмарки, на одной из которых опочецкий купец Иван Лапин весной восемьсот двадцать пятого года «имел счастье видеть Александру Сергеевича г-на Пушкина», поедающего апельсины. Если же посмотреть на

эти ярмарки с другой стороны, то, к примеру, в восемьсот сорок девятом году, почти в середине века, привезено в Святые Горы на весеннюю ярмарку товаров на двадцать пять с лишним тысяч рублей, а продано всего на шесть тысяч триста десять, то есть ровно четверть от привезенного. На следующий год продажи выросли, но и выросшие, они едва достигли половины от того, что привозили купцы на продажу. Да и в самой Опочке дела обстояли не многим лучше. В восемьсот пятьдесят шестом году на Богородицкой ярмарке было продана едва ли треть привезенных товаров.

Привозили, как сообщают памятные книжки Псковской губернии, к примеру, за восемьсот семьдесят пятый год, фарфор, хрусталь, галантерейные товары, готовое платье, иконы, книги, картины, текстиль, меха, табак, лен, пеньку, щетину, пряности, сельдей в бочках, сладости, кожаные и кузнечные изделия, деревянную, глиняную и муравленую, то есть глазурованную, посуду, косы, топоры, вилы, замки, ножи, детские игрушки, рогатый скот, лошадей и то, что тогда называлось в статистических отчетах «сельскими произведениями» – от квашеной капусты, редьки, яблок, огурцов, крыжовника и сушеных грибов до вязаных чулок, лаптей, валенок, рукавиц, прялок и домотканых холстин.

Теперь посмотрим на Опочку со стороны городских доходов. Не в мировом, конечно, масштабе, и даже не в масштабе Российской империи, а в губернском. Например, в восемьсот семьдесят шестом году доходы города Опочки составляли двадцать пять тысяч восемьдесят рублей. Конечно, Псков имел в три раза больший доход за этот же год, но что касается губернии, то Опочка по городским доходам была на третьем месте, уступая кроме Пскова только Острову, и уступка была небольшой – всего восемьсот рублей. Не лишним будет отметить, что город жил по средствам и в долги не залезал. В городской казне к концу года осталось почти тысяча восемьсот рублей. Если же мы возьмем роспись доходам и расходам уездных земств за этот же период и отчет по недоимкам... Впрочем, это уж будет слишком, и мы эту роспись брать не станем. Вы, поди, и без них уже зеваете, да? Скажем только, что по числу пожаров и сгоревших зданий Опочка среди восьми уездных городов Псковской губернии в восемьсот семьдесят шестом году занимала если и не почетное, то вполне достойное седьмое место. Всего семьдесят два пожара в год, да и сгорело меньше сотни домов, в то время как в соседнем Порховском уезде за этот же год было больше двух сотен пожаров и сгорело без малого восемьсот домов. И это при том, что в Опочецком уезде имелось всего восемь огнегасительных труб, а в Порховском уезде в семь раз больше. Как тут добрым словом не вспомнить Опочецкое вольное пожарное общество, которое к тому времени уже существовало двенадцать лет.

И еще про этот ничем не знаменательный в истории Опочки год. Заболело тогда четыреста с лишним человек, а коек в городском стационаре было всего тридцать две. Выздоровели, понятное дело, при таком количестве коек на весь город и уезд, не все. Двадцать восемь человек все же отдали Богу души. Еще столько же перешли болеть в следующий год, а все остальные, стало быть, поправились. Кстати сказать, более всего в Опочке и уезде болели не оспой, не брюшным тифом, не корью, не кровавым поносом и не дифтеритом, а сифилисом. Сифилитиков в уезде было около полутора с лишним тысячи человек. Кровавым поносом и брюшным тифом болели в десять раз реже. Опочецкое земское собрание даже освободило больных сифилисом от уплаты за врачебные консультации, но большая часть этих больных и знать не знала, чем они болеют, а потому к врачам и не думала обращаться. И о других болезнях. Сумасшедших по данным губернской статистики было на весь уезд, в котором проживало более ста тридцати тысяч человек, всего двое. На весь уезд. Пусть кто-то был в ремиссии, пусть кто-то спрятался от переписчиков в овине или на гумне, пусть притворился нормальным, пусть родственники дали денег переписчикам, чтобы не отмечали, пусть... все, что угодно, но ведь всего двое, а не двести и даже не двадцать.

Теперь про... нет, еще не про заводы и фабрики. Теперь про ремесленников, но сначала про население, а потом про них. В Опочке в восемьсот семьдесят шестом году проживало примерно поровну мужчин и женщин. Всего около четырех тысяч четырехсот человек. Из них дворян около семи процентов, а остальные купцы, мещане, военные, священнослужители и крестьяне. Более

всего было мещан – они составляли почти половину городского населения. Вот они-то вместе с крестьянами и были ремесленниками, потому как от дворян, священников и военных в этом смысле толку было мало. То есть совсем никакого. Что же до купцов, то до их заводов и фабрик мы еще доберемся.

Ремесленников в Опочке работало много и разных. Одних кузнецов имелось в наличии одиннадцать человек. Мы говорим только о мастерах, а не о подмастерьях или учениках. Было четыре хлебника, три булочника, шесть мясников, два колбасника, а кондитеров не было ни одного. Еще дюжина портных, четырнадцать сапожников и трое шапочников. Модисток, башмачников и перчаточников в Опочке не имелось. Захочешь сшить себе что-нибудь такое, в чем не стыдно поехать хотя бы во Псков, не говоря о Петербурге, съесть пирожное или торт, надеть перчатки и красиво пройтись в тонких ботинках по Успенской или Новоржевской улицам... отрежешь ломоть хлеба, положишь на него колбасы и пойдешь в сапогах без перчаток месить грязь по Успенской или Новоржевской улицам. Это я, конечно, сгустил краски. Грязь только в межсезонье. Летом пыль, а зимой валенки.

Пусть не было в Опочке кондитеров и модисток, зато работали два мастера по настройке фортепиано, два живописца, два парикмахера, два серебряных дел мастера и два часовщика. Так что можно было пойти постричься, заказать картину или вывеску к лавке, настроить пианино или рояль и починить часы. Даже и ходить никуда не пришлось бы – довели бы. В тот год в Опочке было зарегистрировано сорок извозчиков. Если же к этим колбасникам, булочникам, сапожникам и извозчикам прибавить одного коновала, двух трубочистов, трех гончаров, двух лудильщиков, шесть плотников, девять столяров, двух стекольщиков, медника, слесаря, лудильщика и бондаря, то... нет, не Петербург, конечно, и даже не Псков, но жить можно. Кстати, о жизни. За год в Опочке с ее четырьмя с лишним тысячами жителей не убили ни одного человека. Один сам лишил себя жизни. Еще один помер от пьянства. Еще один погиб от несчастного случая. В уезде за год убили четверых, двое самоубились, четверо допились до смерти, и это при том, что уезд по количеству населения почти в двадцать шесть раз превышал город.

Была в Опочке богадельня. Ее ни к фабрикам, ни к заводам, ни к ремесленникам, ни к гимназиям не отнесешь, но она была, а раз была, то надо и о ней упомянуть. Проживало в богадельне в восемьсот восемьдесят шестом году одиннадцать женщин. Больше никого не было – ни мужчин, ни детей. Содержал ее город и на содержание тратил около пятисот рублей в год. Выходило на душу... Немного выходило. В чем эти души держались на такие деньги – теперь уж не узнать, но держались.

Теперь уж точно про заводы и фабрики, потому что никакое краеведение без их перечисления не обходится, тем более что театров, картинных галерей, музеев и литературных салонов в Опочке восьмидесятых годов девятнадцатого века не имелось, а имелись шесть кожевенных, шесть синильных (красильных, а не производящих синильную кислоту), четыре гончарных, два кирпичных и один свечной завод. Была еще и мукомольня. Речь идет о крупных в уездном масштабе заводах и фабриках. Всего в Опочке работало, если верить данным губернского статистического комитета за восемьсот восемьдесят шестой год, тридцать заводов и фабрик. Рабочих на этих заводах и фабриках было девяносто три. Не на каждом заводе или фабрике, а на всех вообще. То есть по три целых и одной десятой рабочего, в среднем, на предприятие. Еще в уезде имелось четыре завода, и на них гнули спины на опочецких капиталистов еще семнадцать пролетариев. Все вместе они производили продукции почти на шестьсот сорок тысяч рублей в год. Даже на фоне других уездных городов Псковской губернии сумма, мягко говоря, небольшая.

Что касается строений, то из семи с половиной сотен домов в городе лишь тридцать три было каменных. Придется перечислить и церкви – шесть православных, одна лютеранская и одна синагога. Кстати, скажем и о евреях, которых к концу девятнадцатого века проживало в Опочке почти две с половиной сотни, и среди них были не только ремесленники, купцы и мещане, которые так и не смогли договориться между собой об организации Общества помощи евреям-ремесленникам, но и земские врачи и заведующий земской аптекой. Раз уж зашла речь о населении Опочки, то к

евреям прибавим и пять с лишним тысяч православных, и сто двадцать пять католиков, и девяносто двух протестантов, и сорок три представителя других конфессий, проживавших в Опочке в середине девяностых годов позапрошлого века. Население Опочки в конце девятнадцатого века быстро росло за счет выходцев из более населенных соседних западных губерний – Витебской и Лифляндской. В восемьсот девяносто седьмом году в городе проживало уже около шести тысяч человек. Приезжали сюда на жительство и поляки, и белорусы, и эстонцы, и латыши, и литовцы. Привезли с собой антисемитизм. Тем не менее, крупных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не было.

Сойдем на некоторое время с дороги, которая называется историей Опочки, и пройдемся по ее обочине и даже заглянем в придорожную канаву. В девятьсот втором году из Пскова в Опочку приехал некто Андрей Петрович Семякин. Был он профессиональным смутья... то есть революционером и членом РСДРП еще с восемьсот девяносто восьмого года. Не просто так его принесли черт... то есть он приехал из Пскова, в котором проживал в ссылке, по заданию партии. Начал Андрей Петрович мутить воду в том смысле, что создавать в Опочке группу содействия большевистской «Искре». Служа секретарем в уездной земской управе, Семякин вместе с другими партийцами, приехавшими в Опочку позднее, завлек в эту группу бухгалтера земской управы, писаря расквартированного в городе 94-го пехотного полка, делопроизводителя, нотариуса и еще десяток-другой опочан и приезжих. Через два года партийная часть группы уехала во Псков раздувать из искры пламя, но зубы дракона, в том смысле, что семена, ими посеянные, в Опочке стали всходить. В девятьсот третьем году в Опочку приехал еще один член РСДРП – преподаватель Лобанов. Он и возглавил большевистскую парторганизацию Опочки. В девятьсот пятом партийцы разбрасывали листовки, в девятьсот шестом поддерживали на выборах в Первую Государственную Думу земского врача Ладыгина, между прочим, очень достойного человека. Правда, неудачно. Победил тогда граф Гейден.

В девятьсот пятом году в уезде начались крестьянские волнения. В ноябре крестьяне вырубили часть леса в имении помещика Глушанина, в декабре – в имениях помещиков Яновича и Корсакова.

В июле девятьсот седьмого под руководством парторганизации прошли две забастовки кожевников. Две недели, пока рабочие бастовали, опочечские большевики снабжали их продуктами. В результате все требования кожевников были удовлетворены – им и зарплату повысили, и рабочий день сократили, но непосредственных руководителей забастовки власти арестовали и выслали в северные губернии. Тем же летом забастовали беднейшие крестьяне нескольких волостей Опочецкого уезда. И снова большевики прибежали со спичками, в том смысле, что оказались в числе руководителей тех, кто захватывал землю, самовольно рубил лес и поджигал усадьбу помещика Глушанина в Полянской волости Опочецкого уезда. Большевикам удалось собрать сход, на котором решался вопрос об организации забастовки сельскохозяйственных рабочих. На сход явилось четыреста человек, но полиция их разогнала.

В самом конце девятьсот седьмого года властям удалось выйти на след опочечских большевиков. В дом сестер Семендяевых нагрянула по доносу прислуги полиция и обнаружила протоколы собраний, кассовую книгу, два гектографа, нелегальную литературу и все то, что в те времена обнаруживали в домах подпольных борцов за народное дело. Сестры отправились в ссылку, а Лобанов, уже успевший к тому времени организовать среди учениц педагогических курсов марксистский кружок, был посажен в тюрьму и лишен права преподавания. Опочечская партийная организация перестала существовать. Правда, всего лишь на время. На это время и мы ее оставим и вернемся к Опочке.

В девятьсот десятом году по Киевскому шоссе началось автомобильное движение. Шоссе было вымощено битым камнем. Его ширина составляла шесть с лишним метров. Недолго думая, опочечские купцы создали акционерное общество автомобильного сообщения Остров – Пустошка, купили немецкий автобус фирмы «Гагенау» и открыли рейсы в соседние Остров и Пустошку. Автобус немедленно стал конкурировать с конным дилижансом, поскольку цена билета на нем

была ниже. Автобус брал полтора десятка пассажиров, и все они сидели внутри, в отличие от дилижанса. Одного не учли владельцы автобуса – немецкие шины изнашивались на русских дорогах куда быстрее, чем на немецких. Вместо положенных пяти тысяч километров они продержались лишь три. Чтобы поменять шины, пришлось колеса отправлять в Санкт-Петербург, поскольку в Опочке своего шиномонтажа, понятное дело, не было. Владельцы дилижанса, как только узнали об этом – так сразу и увеличили плату за проезд в два раза. Опочане возмущались ужасно, но...

Крестьяне Опочецкого уезда на этом автобусе не катались, но при встрече с ним на дороге накрывали головы своих лошадей мешком, чтобы не доводить животных до нервного срыва. Надо сказать, что и сами крестьяне... нет, нервных срывов у них не было, но увидев приехавшего в деревню Захино на турбинный завод братьев Тиме чертежника на велосипеде, на всякий случай обстреляли диковинное существо из дробовика. Последний был так напуган, что, не снижая скорости, уехал из Захино туда, откуда приехал.

В том же году в Опочке останавливались на несколько часов участники автопробега Санкт-Петербург – Киев – Москва – Санкт-Петербург. Газета «Псковская жизнь» по этому поводу писала: «17 июня, к одиннадцати часам утра, делая в среднем сорок верст в час, автомобили прибыли в Опочку. Участникам был оказан самый радужный прием. Их встретила тысячная толпа с двумя оркестрами музыки. Всюду вывешены флаги. Устроены декорированные цветами арки. Крестьяне на всем пути приветствуют автомобилистов. В Опочке гостям предложен завтрак. Настроение участников бодрое». Правда, бодрым оно было недолго. Опочецкий буфетчик, как сообщала через несколько дней все та же «Псковская жизнь», взяв с каждого гонщика по полтора рубля, «накармливал гостей очень недоброкачественными продуктами».

Через два года в Опочецкий уезд, в село Жигали прилетел первый русский авиатор Уточкин. Посмотреть на него сбегались жители всех окрестных сел и деревень. Кстати, об авиаторах. Уроженец Жадринской волости Опочецкого уезда крестьянин Василий Федорович Вишняков, начав службу с нижних чинов, окончил Севастопольскую военную авиационную школу, в Первую мировую войну был награжден четырьмя георгиевскими крестами, офицерским чином и стал пятым человеком в России, удостоенным звания «военный летчик».

И еще о прогрессе, пришедшем в Опочку в первые десятилетия прошлого века. Лучше всего привести цитату из советского путеводителя по Опочке авторов Васильева, Степанова и Федорова, изданного в семьдесят третьем году: «Очагом дешевого развлекательства, был частный кинематограф под претенциозным названием “Кинь грусть”. Пошленькие немые киноленты вроде “Приключения Глупышкина”, “Сын дьявола”, “Сашка-семинарист” демонстрировались под аккомпанемент рояля, иногда – духового оркестра. Однако и кино, и театр, и библиотека обслуживали “чистую публику”, “избранных”, для рабочих же оставались лишь церковь и кабак». К авторам претензий нет. Как, спрашивается, можно было еще написать в семьдесят третьем году? Да и рабочие в церковь, и особенно в кабак, нет-нет да и заглядывали. В июле сорок первого «очаг дешевого развлекательства» сгорел. То ли сам сгорел, то ли его подожгли свои же, чтобы не достался стремительно наступающим немцам.

В девятьсот двенадцатом году в Опочке произошло событие большого культурного масштаба. Опочецкого масштаба, конечно. Вышла из печати книга Леонида Ивановича Софийского «Город Опочка и ее уезд в прошлом и настоящем». Ее выход был приурочен к проходившей в Опочке в сентябре двенадцатого года сельскохозяйственной выставке, но и не только к ней. Через два года, в девятьсот четырнадцатом году Опочке должно было исполниться пятьсот лет. Книга Леонида Ивановича и теперь, когда Опочке уже более шестисот лет, является одним из самых полных, если не самым полным источником по древней и новой истории Опочки. Софийский написал эту книгу по заказу сельскохозяйственного общества и Городской Думы. Издание книги было осуществлено за счет городских властей. Городская Дума и теперь есть, только называется по-другому, и краеведы, которым можно было бы заказать написание такой книги тоже есть, а вот новой книги по истории Опочки почему-то нет.

Скажем и еще об одном событии, случившемся в том же году – об открытии в Опочке низшей ремесленной школы. Обучались в ней дети крестьян и рабочих³⁶. Обучение до семнадцатого года было бесплатным, а в семнадцатом стало платным, но дети малообеспеченных родителей по-прежнему учились бесплатно. Школа как школа. Готовила слесарей, токарей, и кузнецов. И все же. Был в ней случай. Уже в годы Первой мировой войны два ученика расшалились и сломали скамейку в вестибюле школы. Скамейку оценили в четыре с лишним рубля, и деньги, которые дети выплатили, были отданы матери нуждающегося ученика первого класса, чтобы та купила ему обувь. Я не оговорился – деньги выплатили сами дети, поскольку в годы Первой мировой они в школьных мастерских выполняли военные заказы, и за это им платили определенный процент стоимости этих заказов. Собственно, ради этого случая я школу и вспомнил. И вот еще что. Поначалу школа помещалась в съемном помещении, а потом город к девятьсот четырнадцатому году построил ей новое красивое здание с башенкой. Оно и сейчас стоит, и в нем помещаются опочецкий краеведческий музей и детский сад «Лучик».

В девятьсот четырнадцатом году Опочке исполнилось пятьсот лет. Пышных торжеств по этому поводу не было, поскольку в июле этого года началась Первая мировая война. В начале августа состоялось экстренное заседание Городской Думы, обсудившее меры помощи семьям призванных из запаса. Немедленно ассигновали на эти цели сто рублей. Уездное земское собрание в конце августа постановило на свои средства организовать два лазарета для выздоравливающих – один в Опочке, а другой в уезде. Тот, что в Опочке, был рассчитан на несколько десятков кроватей. Городская Дума решила присоединиться к земской инициативе и на свои средства оборудовала пять кроватей. Еще раньше властей, на девятый день войны, собралось Опочечское благотворительное общество и сформировало Комитет помощи пострадавшим на войне и их семьям. Не надо думать, что опочечские благотворители ограничились формированием комитета и красивыми речами. Еще на заседании были собраны деньги для раненых солдат, почти девяносто рублей. Кроме того, были разосланы подписные листы в городские учреждения, и третьего августа в Опочке прошел «день флагов». Сборщики пожертвований ходили по городу с кружками и флажками. Каждый, кто жертвовал любую сумму, получал российский флажок. Собрали более двухсот рублей. Чуть позже стали принимать в качестве помощи не только деньги, но и холсты, одежду и обувь. За месяц опочечские благотворители собрали почти шестьсот рублей и оказали помощь двадцати семьям. Из пожертвованного холста педагогический персонал женской гимназии стал шить белье для раненых. Местный музыкально-драматический кружок даже поставил с благотворительными целями драму Толстого «Власть тьмы». Спектакль, как писала «Псковская жизнь», получился... не получился, но деньги на помощь семьям мобилизованных собрали. Осенью четырнадцатого года опочечские служащие стали отчислять по два процента своего жалования в пользу жертв войны. Опочечские акцизные чиновники и купцы собрали два пуда махорки и две тысячи папирос для отправки на фронт. До весны пятнадцатого года на фронт из Опочки было отправлено четыре транспорта с подарками для фронтовиков. Один из транспортов сопровождал Леонид Иванович Софийский. Он рассказывал, что подарки были доставлены одному из полков на передовой в районе Перемышля. Любопытные опочане залезли на наблюдательную вышку, чтобы осмотреть Перемышль, раз уж представился такой случай, и тут противник начал артобстрел... К счастью, все обошлось. Хотя один из снарядов и разорвался в сорока метрах от вышки.

В девятьсот шестнадцатом году по указу Николая Второго стали в срочном порядке строить железную дорогу Псков – Опочка – Идрица – Полоцк. Строили ее исключительно как военную. Должна она была проходить на десять верст восточнее наших позиций, расположенных на юге от города Острова. Проходить эта железная дорога должна была через Опочку. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Строительство было непростым. Рабочих рук не хватало из-за постоянных призывов в армию. Те же, кто оставались, были заняты сельскохозяйственными работами и могли работать лишь время от времени. Часть рабочих наняли в соседних губерниях. Хотели даже привезти китайцев с Дальнего Востока, но потом от этой идеи отказались – не

хватало только большого количества китайцев возле самой линии фронта. Наняли по контрактам землекопов из крестьян Самарской и Екатеринославской губерний, к ним прибавили пленных австрийцев и женщин из прилегающих к железной дороге волостей Опочецкого уезда. Так или иначе, к концу ноября шестнадцатого года дорогу построили. В центральной прессе это событие по понятным причинам не освещалось, но газета «Псковская жизнь» поместила небольшое сообщение по поводу заседания Опочецкого земского собрания: «Собрание выразило благодарность председателю управы Н.М. Плен и городскому голове В.А. Селюгину за те хлопоты и старания, которые они приложили к тому, чтобы железная дорога не миновала Опочку. Постановлено ходатайствовать, чтобы ж/д станция именовалась бы “Опочкою”, из уважения к Опочке, городу древнему русскому, так и из практического соображения: опочекский лен есть лучший не только в Псковской губернии, но и в России. Председатель собрания г. Офросимов вносил предложение об устройстве подъездного пути к вокзалу и об установлении таксы для извозчиков». На станции работало два маневровых паровоза. В самом скором времени построили при станции депо, водоканчку, нефтебазу, вокзал, столовую, амбулаторию, баню, школу, клуб и магазин.

Семнадцатый год начался в Опочке с того, что в феврале гимназистка Вера Кналис пришла с утра пораньше в гимназию, вошла на рояль, стоявший в актовом зале, сорвала портрет Николая Второго, еще не отрешившись от престола, и разорвала его на части. Гимназическое начальство потребовало от гимназисток, чтобы те назвали фамилию, но пока оно требовало, из столицы пришли такие известия, что стало не до порванного портрета уже отрешившегося императора.

Третьего марта в городе прошла демонстрация. Кое-кто из демонстрантов уже и успел украсить себя красными бантами. С этого дня портреты царя стали снимать не только в гимназии. Власть в Опочке перешла к городской управе и городскому голове В.А. Селюгину. Стали создавать Советы и после бурных обсуждений создали два уездных Совета рабочих и солдатских депутатов, которые в скором времени объединились в один. Немногим позже, в августе, был создан уездный Совет крестьянских депутатов. Этими советами дело не ограничилось. К октябрю в Опочке кроме Советов рабочих, солдат и крестьян действовал еще и уездный комитет спасения Родины, председателем которого был уже известный нам городской голова Селюгин. Городскому голове подчинялась как городская, так и уездная милиция, а также запасной пехотный полк, стоявший в Опочке. Кроме того, при управе создали вооруженный отряд самообороны.

В уезде как грибы после дождя стали стихийно возникать различные продовольственные и земельные комитеты, немедленно приступившие к «экспроприации экспроприаторов». Тотчас же от уездных помещиков посыпались жалобы министру внутренних дел и главнокомандующему Северо-западным фронтом о самовольном захвате принадлежащих им земель и конфискации имущества. В Пскове по просьбе опочекских землевладельцев было созвано совещание уездных комиссаров, на котором постановили создать воинские дозоры для противодействия самовольному захвату земель.

В Опочецком уезде были очень сильны эсеры, и когда в конце семнадцатого года в Опочку из Петрограда приехал трое агитаторов, которые должны были по заданию нового правительства установить советскую власть в городе и уезде, а заодно и перетянуть на свою сторону военные части и сформировать новые, то их мало кто поддержал, несмотря на то что агитаторы были уроженцами Опочецкого уезда. Два агитатора – Жутовский и Ефимов, обратились к объединенному опочецкому общегородскому и воинскому собранию, но результат обращения был таков, что Жутовскому пришлось тайно, спрятавшись на возу с сеном, бежать в Великие Луки за вооруженной подмогой, поскольку там стоял верный большевикам Ставропольский полк 5-й армии. Туда же подтянулся и второй агитатор – Ефимов. В скором времени из Великих Лук в направлении Опочки выступил отряд пехоты и кавалерии общей численностью семьдесят пять бойцов. Командиры отряда планировали договориться с городским головой Селюгиным о мирной передаче власти в руки большевиков, о передаче охраны города бойцам великолукского отряда и о разоружении отряда самообороны. Собрали совещание городской управы с лояльно относившимися к больше-

викам депутатами городской управы, и... городской голова отказался подчиниться требованиям великолукских командиров.

К счастью для большевиков, в городе на военном складе обнаружили пятьсот новых винтовок и два пулемета. К счастью для большевиков, кто-то из окружения уездного воинского начальника сообщил об этом Василию Казиеву – одному из командиров великолукского отряда. Немедля склад был захвачен большевиками, а винтовками и пулеметами был вооружен вновь сформированный 1-й красногвардейский Опочецкий батальон в двести пятьдесят два штыка. Сразу после формирования батальона в Опочке был создан военно-революционный комитет (ВРК). Комитет принял решение разоружить отряд самообороны, что и было сделано ночью, четырнадцатого января уже восемнадцатого года всего за четыре часа. Заодно большевики арестовали часть членов городской управы и расформировали комитет спасения Родины. Власть в городе перешла в руки ВРК.

Расформирование комитета спасения Родины многим в уезде не понравилось. Больше всего недовольных было в Жадринской волости. Тамашний помещик Наперстков, офицер российской армии и потомок того самого отставного штабс-капитана Наперсткова, у которого в начале девятнадцатого века взбунтовались крестьяне из-за того, что он над ними издевался, организовал отряд из пятисот солдат, вернувшихся с войны со своим оружием. В Жадринской волости и вообще не стали торопиться с переменой властей – там еще действовала царская администрация.

Семнадцатого января ВРК послал в село Жадро взвод конницы под командой Казиева, чтобы провести там волостное собрание и выборы в волостной Совет, а для того чтобы собрание прошло с соблюдением всех демократических норм, взводу придали станковый пулемет. Уже и собрание шло, уже и стали выдвигать кандидатуры в волостной Совет, как появился в селе Наперстков с сотней вооруженных солдат и офицеров, собрание сорвал, а трех городских агитаторов запер в бане и пообещал сжечь, если в течение суток не будут отпущены арестованные ранее члены городской управы. Как только повстанцы ушли, часть кавалерийского взвода атаковала охрану бани, рассеяла ее и агитаторов освободила. Двадцатого января вызванный опочецким ВРК из Великих Лук бронепоезд из двух трехдюймовых орудий обстрелял несколько деревень повстанцев в Жадринской волости, а приданная бронепоезду пехота атаковала близлежащее имение другого помещика – Яновича. Хотя штаб повстанцев находился вне досягаемости орудий бронепоезда, большая часть их сдалась в плен или разбежалась. Командиры отряда все же смогли уйти.

Тем временем в Опочке после разгона отряда самообороны начались грабежи и убийства. ВРК вынужден был начать борьбу с уголовниками. Надо сказать, что на этом поприще большевики достигли некоторых успехов – была схвачена и расстреляна банда мародеров. Впрочем, волну грабежей это не остановило. Мало того, к грабегам добавились поджоги помещичьих усадеб.

Фактически в городе создалось двоевластие – с одной стороны Опочкой управлял законно избранный уездный исполком, а с другой – созданный явочным порядком ВРК. Немедля председатель ревкома Жутовский стал добиваться членства в уездном исполкоме, добился этого и в конце концов занял в исполкоме место председателя президиума и исполнительного бюро³⁷. Это произошло в конце апреля восемнадцатого года, и этот день можно считать днем установления в городе и уезде Советской власти – той самой, которая слиняет в три дня в августе девяносто первого, а пока, в конце января восемнадцатого, ВРК организовал в городе митинг. Митинг закончился принятием резолюции. Вот она: «Мы граждане г. Опочки, на общем своем собрании 21 января 1918 г., заслушав доклад делегата ВЦИК т. Жутовского по текущему моменту о создавшемся положении в г. Опочке ввиду выступления явной контрреволюции, которая призывала к свержению Советской власти, как на местах и в целом, по науськиванию контрреволюционных элементов темного населения, в чем она имела успех в день открытия первого заседания ревтрибунала, куда они ворвались с криками “Долой рев. трибунал, долой Сов. власть”. В такую критическую минуту Советы оказались на страже революции, в ночном своем заседании постановили: арестовать всех явных и тайных контрреволюционеров и представить их революционному трибуналу в Пскове как изменников Родины и революции и назначить на 21 января 1918 г. воору-

женную демонстрацию. На означенном 21 митинге мы, граждане Опочки, стоя на страже революции и завоеванной нашей кровью свободы, постановили: клеймить самым беспощадным образом всех контрреволюционеров, выступавших открыто против всех наших завоеваний, и немедленно передать их суду революционного трибунала... Да здравствует власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов! Да здравствует Совет народных комиссаров!»

В феврале восемнадцатого немцы стали наступать по всему фронту и так продвинулись в псковском направлении, что заняли и сам Псков, и часть территории четырех волостей Опочецкого уезда. Новая власть выдала милиционерам солдатское обмундирование, членов Совета вооружили револьверами и перевели на солдатский паек. Подготовили план обороны города и выслали разведчиков в оккупированный Псков и в соседние Остров и Пустошку. Брестским миром, который заключили с немцами большевики, и сами большевики были недовольны, а уж остальные... На границе с оккупированными немцами землями Опочецкого уезда стали организовываться без всякой помощи Советской власти партизанские отряды под командой офицеров царской армии.

Новая власть тоже не стояла опустив руки. Правда, она не знала, куда эти руки девать. Советы организовали в Опочке чрезвычайный полевой штаб, который должен был руководить операциями приграничных войск, чтобы не допустить дальнейшего продвижения немцев в глубь страны, но как это сделать, штаб, не имея опыта такого руководства, не знал. На фронт были отправлены все воинские части, и уездный исполком даже переименовал себя, назвав свой Совет Советом рабочих и крестьянских депутатов, исключив прилагательное «солдатских». Губернские власти переехали из Пскова в Великие Луки. Там же был создан объединенный штаб, начальник которого издал приказ о формировании и порядке комплектования партизанских отрядов. В Опочецком уезде в партизанские отряды записалось около трех тысяч человек. В самой Опочке сформировали и разместили 2-й Псковский пехотный полк.

В городе ситуация день ото дня становилась хуже – не хватало примерно всего, в избытке имелись только безработица и постоянно прибывавшие в город беженцы, которые далеко не всегда были лояльно настроены к Советской власти. На городского голову Селигина наложили контрибуцию (не только на него, но и на других членов управы), и он должен был ее внести. В противном случае его грозились арестовать и конфисковать все имущество. В начале апреля в городе открылась биржа труда. Уездный съезд советов четырнадцатого апреля утвердил уравнительное землепользование. Те, у кого землю отобрали, были предупреждены о том, что в случае сокрытия семян их предадут военно-революционному суду. Сомневаться в революционной беспощадности этого суда не приходилось. Сказать, что часть жителей Опочки, особенно состоятельная ее часть, была, мягко говоря, недовольна действиями новой власти, значит не сказать ничего. Ничего удивительного в том, что в феврале восемнадцатого года в оккупированный немцами и белогвардейцами Остров отправились два опочанина с просьбой к тамошним военным властям организовать освобождение Опочки от большевиков, не было.

Попытка освободить Опочку, однако, сорвалась. Новая власть, узнав о том, что собирается белогвардейский отряд для освобождения города от нее самой, немедленно сформировала и вооружила партизанскую сотню в Печано-Горайской волости под командой местных крестьян, братьев Елкиных, и одного представителя из Опочки. Отряд выследил и захватил белогвардейских разведчиков, у которых обнаружилось письмо к опочецким кадетам. В письме сообщалось, что отряд под командой поручика Бакланова может в ближайшее время выступить на Опочку. Может, но... не выступил. Немцы по каким-то причинам операцией по захвату Опочки не заинтересовались, и на этом все закончилось, но не для тех, кому в Опочке было адресовано письмо из Острова. Их арестовали в качестве заложников. И это не все. Выяснилось, что командир Опочецкого пехотного полка Гиммельман вместе с помещиком и бывшим полковником российской армии Наперстковым готовили восстание против Советской власти. Гиммельмана арестовало опочецкое ЧК в середине августа, а уже десятого сентября приговорили к расстрелу. (Его потом реабилитировали. Через восемьдесят один год.) Власти подозревали в участии в заговоре даже

своих и сдали по решению партийного собрания в ЧК командира великолукского отряда Казиева, на штыках которого, собственно, и была принесена в Опочку Советская власть.

В уезде между тем продолжались крестьянские восстания. Бунтовали пять волостей Опочецкого уезда. Власти, кажется, делали все, чтобы эти восстания не затухали. В июле восемнадцатого года Опочецкий исполком постановил, что право избирать волостные Советы и другие деревенские организации имеет только деревенская беднота. Крестьяне, имеющие излишки хлеба и враждебно относящиеся к Советской власти, лишались избирательных прав. Члена уездного исполкома Кустова за то, что он предлагал в комитеты бедноты избирать зажиточных крестьян, исключили из состава этого органа власти. Кустов и вовсе заявил о своей солидарности с ЦК левых эсеров. Ему еще повезло, что его просто выгнали с работы.

К осени во всех пятнадцати волостях Опочецкого уезда власти создали комбеды и еще полторы сотни самых различных организаций. Тогда же стали формировать продотряды. В августе восемнадцатого от Опочецкого уезда были зачислены в 1-й Московский продовольственный полк девять красноармейцев³⁸.

Между тем Советская власть не мытьем, так катаньем мало-помалу утверждалась. В конце сентября власти организовали общее собрание в опочечкой почтово-телеграфной конторе, на котором служащие числом около сорока человек, все как один проголосовали за новую власть и наговорили ей приятного. Не просто наговорили и разошлись, а опубликовали наговоренное в уездной газете. Той же осенью появился Союз молодежи – второй в губернии после Союза молодежи, созданного в Великих Луках. Ну, и как водится, стали переименовывать улицы и площади – Соборную площадь в Советскую, центральную Великолукскую улицу – в улицу Ленина. Появились в Опочке и улицы Троцкого, Зиновьева, Урицкого, Дзержинского и Карла Маркса. Улицы Зиновьева и Троцкого, понятное дело, названия потом поменяли, а все остальные и не думают. И улица Ленина есть (их даже две – есть 2-я Ленинская), и Дзержинского, и Урицкого, а к ним добавились улицы Красных фронтовиков, Красных командиров, Клары Цеткин, Калинина, 9 Января, 1 Мая, Пролетарская (а к ней маленький Пролетарский переулок с двумя десятками домов), Колхозная, Совхозная, Пионерская...

В октябре общее собрание опочечких большевиков решило очистить советские учреждения от мелкобуржуазных элементов, поскольку от крупнобуржуазных все было уже очищено³⁹. Своим постановлением оно ограничило и список желающих работать в этих учреждениях. Теперь для того чтобы устроиться на работу в какой-нибудь угоркомхоз или упродком, не говоря об уисполкоме или милиции, нужно было стоять на бирже труда и пройти спецкомиссию исполкома. Кроме того, уездная газета должна была опубликовать список бывших царских офицеров с тем, чтобы аттестационная полковая комиссия могла руководствоваться этим списком при чистке командного состава Опочецкого пехотного полка.

В декабре восемнадцатого года в здании бывшего реального училища открылась вечерняя школа. Записалось туда полторы сотни человек. В доме помещицы Глушаниной, в имении Пашкино, устроили богадельню и приют для бедных. В этом доме было электричество и водопровод. Таких домов в городе было немного – всего один. В скором времени, однако, жители дома начнут жаловаться, что заведующий домом ворует мясо, и вместо него поставят другого, который тоже будет воровать, но это будет потом.

Опочечкие коммунисты ближе к Новому году на своем собрании постановили создать театральную коммунистическую ячейку и с ее помощью собирать дополнительные средства в партийную кассу. В дополнение к театральной ячейке избрали организационно-театральное бюро в составе пяти человек, чтобы... Не знаю, чем они там занимались, на заседаниях этого бюро. Может, следили за тем, чтобы репертуар был идейно выдержан, чтобы не было мелкобуржуазных драм, пошлых водевилей и комедий, чтобы в антрактах не продавали вина и зрители не заплевали пол шелухой от семечек.

Немного новостей из партийной жизни девятнадцатого года. Теперь в Опочке и уезде, в дополнение к городской и уездной жизням, появилась и такая. В начале февраля девятнадцатого

года некоего Шахманова исключили из партии за то, что он до семнадцатого года состоял на службе в полиции. Коммуниста Сергеева исключили из рядов РКП(б) за отказ идти на фронт. Коммунист Павлов сам подал в свою партийную организацию заявление, в котором писал, что «не согласен с программой коммунистов». Беспокоило коммуниста Павлова и то, что «большинство руководящих постов занимают евреи». Павлова тоже исключили. Крестьяне из деревни Проньков Печано-Горайской волости Опочецкого уезда в марте девятнадцатого и вовсе написали в одну из центральных газет письмо, в котором доводили до сведения вышестоящих инстанций, что их волостные начальники-коммунисты грабят крестьян. Белогвардейцы в их деревне убили целую семью, жившую в коммуне – трех братьев и отца. На их похороны и на помощь оставшимся в живых родственникам местные жители собрали семнадцать тысяч рублей и вручили властям. Пропали эти деньги. Куда пропали – никто не знает. Понятное дело, что такие письма никто не печатал – их аккуратно складывали в архив. Исполком эти сигналы с мест без внимания не оставлял – была создана полномочная комиссия для проведения чистки опочецких советских учреждений с целью удаления буржуазных и обеспеченных элементов, поскольку именно они... а кто же еще?

Конечно, общественная жизнь Опочки первых лет советской власти состояла не только из партийных и аппаратных чисток. В марте девятнадцатого года отдел всеобщего военного комиссариата открыл для опочан спортивно-стрелковый клуб, а в помещении бывшего магазина бывшего купца Хейсина стал работать гимнастический зал. В уездной газете «Опочецкая коммуна» некто, подписавшийся Хмурым, предлагал «дать отставку без пенсии и мундира с волчьим паспортом» преподавателям бывшей гимназии, преподающим историю по старой программе, а не так, как этого требуют современные обстоятельства. (Выходит, что времена в девятнадцатом году были, как это ни покажется странным, вегетарианские – за неправильное преподавание истории еще не отправляли в лагеря и не расстреливали, а только предлагали уволнять, но мало-помалу...) Кроме того, общественная жизнь города и уезда в большой степени состояла из недовольства – крестьяне, в основном середняки, были недовольны продразверсткой, а все остальные, включая горожан – всеобщим призывом в Красную армию. Национализация была тоже всеобщей, и ей тоже были недовольны. В мае девятнадцатого национализировали даже городские парикмахерские. Крестьяне выражали свое недовольство продразверсткой самым недвусмысленным образом – убивали присланных из Петрограда для проведения продразверстки большевиков. Заодно убивали председателей комбедов, работников волисполкомов и милиционеров. Город высылал в уезд отряды для ликвидации крестьянских мятежей, а деревня встречала их пулеметным и ружейным огнем. Голод не то чтобы надвигался на Опочку и уезд – он придвинулся к ним вплотную.

Еще и продразверстку никто не отменял. В двадцатом году Опочецкий уезд должен был сдать государству рабочих и крестьян 77640 пудов картошки, 84102 пуда зерновых, 118 пудов меда, 300 пудов грибов, 3000 пудов клюквы, 10 пудов брусники, 553 пуда птицы, 3535 пудом масла и 170600 яиц, и собирать эти грибы и ягоды нужно было в лесах, где кого только не было – и белые, и зеленые, и просто бандиты, не отличавшие одних от других. Еще и немцы с поляками и латышами наступали по всему фронту. Еще и председателей волостных исполкомов за невыполнение планов по сдаче продовольствия предавали суду ревтрибунала. Партийные начальники пытались, конечно, положение исправить. К примеру, в марте двадцатого уездная партконференция приняла резолюцию о борьбе с разрухой и разгильдяйством.

Все же нельзя сказать, чтобы в городе и уезде ничего не работало. Новых заводов и фабрик, конечно, не появилось, но работали два кирпичных завода в самой Опочке, два кирпичных завода в уезде, турбиностроительный и механический заводы в селе Захино, принадлежавшие раньше братьям Тиме, Опочецкий советский кожзавод, мыловаренный завод, торфоразработки, цементно-кирпичная мастерская, Опочечская коммунальная сапожная мастерская. Правда, к двадцатому году большая часть этих предприятий встала из-за отсутствия материалов или рабочей силы, или того и другого вместе. Только портняжная мастерская в Опочке работала не покладая рук – у нее

был военный заказ, а кроме того, она шила милицейские плащи, брюки, пиджаки, френчи, юбки, платья, кофты, поддевки и все, что пользовалось спросом у населения.

Кстати, о коммунальных предприятиях. К двадцатому году в уезде было четыре коммуны⁴⁰, полсотни сельскохозяйственных артелей, десять молочных артелей и пять рыболовных. Совокупно все эти артели и коммуны насчитывали шесть тысяч едоков, триста лошадей и полторы тысячи коров. Все эти тысячи едоков, по сравнению с населением уезда, в котором тогда проживало почти сто сорок тысяч человек, были каплей в море.

В начале двадцать четвертого года в Опочке при почтово-телеграфной конторе открыли сберегательную кассу, а при центральной библиотеке был создан уездный архив, в котором хранились документы от сотворения нового мира – то есть от семнадцатого года. Из того, что было открыто в середине двадцатых, упомянем и Дом крестьянина, открытый в марте двадцать шестого года. В доме имелись кровати, теплая конюшня, столовая, библиотека-читальня, справочное бюро и радиоприемник. Приехавших в город по делам крестьян в столовой еще и кормили. Теперь, конечно, можно посмеяться над кроватями, конюшней и радиоприемником, но тогда в Опочке этому были рады, и Дом крестьянина открывали торжественно, с оркестром, игравшим «Интернационал».

В том же двадцать четвертом году две волости Опочецкого уезда передали соседним Себежскому и Великолуцкому уездам, а все остальные укрупнили и из полутора десятков волостей сделали всего шесть. Тогда же село Тоболенец переименовали в Пушкинские горы. Через три года, в двадцать седьмом, опочанам как снег на голову упала статья в газете «Правда» с предложением о переносе праха Пушкина в Ленинград, под которой, между прочим, стояло более двухсот подписей. Писали, что холм, на котором стоит Святогорский монастырь, опасно сползает, и пока могилы поэта и его родственников не сползли вместе с холмом... Семнадцатый уездный съезд Советов единогласно проголосовал против такого проекта. Заодно и постановил открыть в Пушкинских горах трудовую школу имени Пушкина. Холм подсыпали, и все, к счастью, осталось в Пушкинских Горах.

В двадцать втором в Опочке и уезде появились комсомолцы, а в двадцать пятом – пионеры. Предтечей пионерской организации в Опочке была детская коммунистическая организация, которую потом реорганизовали в пионерскую. Первые пионерские организации создали не только при начальных школах, но и при типографии, и при кожевенном заводе. (Получается, что пионеры тоже были рабочей молодежью.) К началу двадцать пятого года в городе было уже 532 пионера и 132 октябренок. Вся эта союзная молодежь была объединена в двадцать один отряд.

Теперь про досадное и обидное. В двадцать шестом часть успешных опочецких предприятий стали переводить во Псков. Сначала переподчинили псковскому «Металлисту», а потом и вовсе забрали турбиностроительный завод в деревне Захино. Опочецкий кожевенный завод стали готовить к закрытию, а потом и вовсе закрыли, а он выпускал кож не меньше, чем псковский завод «Пролетарий». Закрыли городской электромеханический техникум, а средства, что на него отпускало государство, ушли во Псков. Кирпичный завод передали Пушкинским горам, которые с двадцать седьмого года стали отдельным Пушкинским районом.

Зато в самой Опочке в январе двадцать седьмого был организован ученический кружок краеведов, а через год он уже превратился в Опочецкую ячейку общества краеведов. Всего юных краеведов в Опочке было примерно столько же, сколько и октябрят – они изучали историю, проводили метеонаблюдения, занимались охраной памятников старины и организовали кружок друзей Пушкинского заповедника. Был у них и кружок, занимавшийся историей партии. Без этого никак.

И еще одно «зато». В конце двадцать девятого районные власти добились от окружного исполкома финансирования строительства Опочецкого льнозавода по переработке до пяти тысяч тонн льна. Закладывали этот завод торжественно, в мае тридцатого. После Первомайского митинга в городе колонна демонстрантов вместе с духовым оркестром, игравшим марши, двинулась по островскому шоссе к месту закладки завода и жилого городка при нем. «Постройка льнозавода,

– говорили районные и окружные начальники на митинге, – покажет врагам Советского Союза, что дело индустриализации страны – не фантазии большевиков».

В двадцать седьмом упразднили Псковскую губернию, и Опочка вместе с уездом, превратившись в район, вошли в Псковский округ Ленинградской области. Как раз в это время стали закрывать, но еще не разрушать опочечские храмы. Дореволюционная Опочка не была уж очень богомольным городом – на пять с лишним тысяч жителей шесть православных церквей, один православный собор, несколько часовен, лютеранская кирха, синагога, и все. Поначалу их не закрывали. Просто было не до этого. В конце двадцатых руки у власти дотянулись и до церквей.

Само собой, все делалось не потому, что власть так захотела, а по «просьбам трудящихся», которые хором требовали закрыть тот или иной храм. Причины, по которым его требовалось закрыть, могли быть самые разные: например, его не ремонтируют, или оставшихся храмов вполне достаточно, или в помещении храма нужно устроить спортивный клуб (как это было в Опочке), или склад, или магазин. Да, именно магазин. В одной из опочечских часовен горсовет открыл книжный киоск. Владимирскую церковь в двадцать девятом году отдали под Дом пионеров. Заодно и часть церковного имущества передали пионерам. В сущности, мелочи – стул, обитый бархатом, два ковра, умывальник жестяной, восемь табуреток, медную люстру, два шкафа, одно священническое облачение для пионерского театра. Себя власть тоже не забыла – почти шесть килограммов серебра в виде церковной утвари и окладов икон оставила себе, упаковала и сдала на хранение в отделение Госбанка. Из Успенской церкви серебра конфисковали около десяти килограммов. Безвозмездно отдали горсовету три мраморных престола для того, чтобы из них построить памятник погибшим борцам за революцию, колокола для пожарной части, денежный ящик для хранения секретной переписки административного отдела, 166-му стрелковому полку пять ковров, пять риз и пять подризников, десять икон, десять мраморных плит, два аналоя... Документов, из которых можно было бы понять, зачем стрелковому полку ризы, подризники, иконы и аналои, не сохранилось, а было бы очень интересно на них взглянуть.

Лютеранская церковь стояла закрытой два года, а в июне двадцать девятого в окружной газете появилась небольшая заметка о том, что кирху можно было бы переделать в школу или в клуб национальных меньшинств. Под национальными меньшинствами понимались латыши, эстонцы и немцы. Ее и переделали через несколько месяцев, но не в клуб, а в зерновой склад. Впрочем, к тому времени в Опочке осталось всего полтора десятка лютеран и католиков. Медленнее всех запрягали опочечские евреи – только в феврале тридцатого года в местной прессе появилось сообщение о том, что «трудящиеся евреи Опочки потребовали от горсовета немедленного закрытия синагоги». Видимо потому, что неоднократные просьбы о закрытии синагоги до тридцатого года горсовет оставлял без внимания, евреям пришлось требовать ее немедленного закрытия⁴¹. Требование удовлетворили, и синагогу занял Дом юных пионеров. В июле сорок первого она и вовсе сгорит – то ли сама, то ли сожгут ее по заданию властей комсомольцы. Чтобы не досталась немцам.

Параллельно с разрушением церквей Советская власть выращивала атеистов. Время от времени они собирались на районные конференции. На второй районной конференции безбожников, прошедшей летом двадцать девятого, они себя пересчитали и выяснили, что их уже пятьсот пять человек. Молодежь принимала самое активное участие в этих мероприятиях. К примеру, трое учащихся одной из школ в Опочечком районе и сами внесли деньги на постройку самолета «Безбожник», и товарищей своих к этому делу привлекли.

До принятия морального кодекса строителей коммунизма было еще больше тридцати лет, но молодежь уже кипела и пенилась, придумывая новые правила поведения строителей нового общества. Опочечские комсомольцы сначала рекомендовали опочечским комсомолкам не танцевать с нетрезвыми комсомольцами, а потом и вовсе на три года запретили танцевать парами.

Про коллективизацию в Опочечком районе можно рассказать и в одном предложении – ей крестьяне Опочечского района сопротивлялись как могли, и потому район был всегда на последнем месте в Ленинградской области по темпам коллективизации, ускорить которую не помогали

ни регулярные смены секретарей райкома партии, председателей районных исполкомов и сельсоветов, ни исключения из партии, ни отдача некоторых из них под суд, ни раскулачивания, ни агитация, ни тюремные сроки и конфискация имущества у единоличников за невыполнение трудовых заданий, ни новые трактора, молотилки, силосорезки, льнотеребилки и МТС, которые доставались, понятное дело, только вновь образованным колхозам.

Тем не менее, к середине тридцатых почти половина крестьянских хозяйств района уже вступила вольно или невольно в колхозы. В колхозах даже повысилась норма выдачи хлеба на трудодни – на один трудодень в тридцать пятом году давали три килограмма хлеба вместо 2,4 кг в тридцать четвертом. При этом в самой Опочке больше двух килограммов хлеба на человека не продавали, несмотря на то что с тридцать пятого года была объявлена свободная продажа хлеба.

На фоне провальной коллективизации неудачи в работе городского театрального кружка и разглядеть-то трудно, но мимо них мы не пройдем. С тридцать первого года городской театральный кружок⁴², в котором проявляла свои таланты рабочая молодежь, возглавляла некто Кирсанова. Недолго она его возглавляла – была уволена за аполитичность. Вместо нее кружком стал руководить артист Муромский – и его отставили, но уже не за аполитичность, а за антиобщественные настроения. После Муромского поменяли и коллектив, и руководителя, но... новый руководитель стал брать деньги со зрителей за каждый спектакль. Пьесы, которые он ставил, были признаны вредными и ненужными. К примеру, пьеса Островского «Поздняя любовь» с подзаголовком «Сцены из жизни захолустья в четырех действиях». Какой пример она подаст советской молодежи? Какой угодно, только не тот, который нужно. К тому же выяснилось, что новый руководитель был ранее судим за расхищение социалистической собственности. Поручили комсомолу взять театральное дело в свои руки, а в кружок принимать рабочую молодежь и ставить полезные и нужные в социалистическом строительстве пьесы.

В тридцать пятом году административную карту снова перекроили. Опочку вместе с районом в составе Великолукского пограничного округа приписали к Калининской области. Еще и отрезали часть района, сделав из этой отрезанной части новый, Красногородский район. Новое великолукское начальство достало новую метлу и летом тридцать пятого приняло постановление «О болезненных явлениях в Опочечкой парторганизации». Вдруг оказалось, что у части опочечских партийных и советских руководителей эти самые болезненные явления проявляются в «фактах явного разложения, семейственности, круговой поруки, практики банкетов и пьянства». Сделали оргвыводы – исключили из партии районного прокурора, редактора районной газеты, уволили все руководство местного спиртзавода, директора МТС, объявили взыскания работникам горсовета и поменяли секретаря райкома партии. Ну, а дальше все пошло по нисходящей до самой земли – председателя колхоза «Красный пахарь» за плохую работу уволили и отдали по суд, а несколько единоличников за то, что не сдали зерно, получили по два года тюрьмы.

Не все, конечно было так плохо, на ниве колхозного строительства. За успехи в труде в феврале тридцать шестого года орденами Трудового Красного Знамени были награждены две доярки совхоза «Красный фронтовик» и овчарница колхоза «Урожай». Заведующему фермой колхоза «Рассвет» дали орден Знак Почета, и уже новый редактор районной газеты поставил в печать приветственное письмо четверых орденосцев Сталину к 19-й годовщине Октября.

В мае тридцать седьмого оказалось, что опочечское районное начальство ничем не лучше городского, а еще и хуже. Президиум ВЦИК принял специальное постановление «О работе сельсоветов Опочечского района Калининской области». Там, где у городских начальников были обычные пьянки, банкеты и семейственность, у сельских имело место «проникновение чуждых элементов в состав некоторых сельсоветов... грубое нарушение социалистической законности вследствие изъятия имущества у колхозников и единоличников, избивание граждан и незаконные штрафы, засоренность колхозов “Красная звезда”, “Исса” и других бывшими бандитами, контрабандистами и враждебными элементами». И все это в пограничной зоне, находящейся в 5–10 км от латвийской границы. Сделали оргвыводы. Правда, председатель окружного исполкома не был

уволен и не отдан под суд, а отделался строгим выговором. Ему крупно повезло, потому что на дворе стоял тридцать седьмой год.

В марте тридцать седьмого года парторг железнодорожной станции Опочка Беккерт докладывал куда следует, что два беспартийных грузчика Дмитриев и Бреер мало того что вели подрывную работу против стахановского движения, но еще и выкололи глаза на портрете Кагановича. Получили грузчики за это по пять лет лагерей.

В тридцать восьмом в Опочке стали асфальтировать тротуары. Построили новую гостиницу и два жилых дома. Через год – новый родильный дом, среднюю школу, детский сад, а в сороковом году еще одну среднюю школу, прачечную, ветлечебницу и ветаптеку. В январе сорок первого стали производить чемоданы, детскую мебель, игрушки, трикотаж, колеса и ободы для конных подвод, открывали обувные мастерские и химчистки⁴³. Управление Ленинградской железной дороги в апреле сорок первого выделило шестьсот тысяч рублей на строительство нового железнодорожного вокзала – старый был рассчитан всего на сотню пассажиров в день, а их было в три раза больше. Думали управиться до конца года...

Первая бомба упала на Опочку уже второго июля сорок первого года. К тому времени Опочка и район были уже наводнены беженцами и отступающими войсками, шедшими со стороны Латвии. До первых чисел июля опочане продолжали ходить на работу, поскольку за опоздание, а тем более за прогул, можно было запросто сесть в тюрьму. Про эвакуацию местному населению власть даже не намекала. Более того, военнотруженикам было запрещено говорить населению об отступлении. На все вопросы приказано было отвечать, что идет перегруппировка войск. Третьего июля еще вышел номер газеты «Путь к коммунизму» – как оказалось, последний перед оккупацией. И в нем не было ни слова об истинном положении дел. Весь номер был занят перепечатками статей из центральных газет: «Каждое предприятие, каждый дом – крепость обороны», «В Совнарком СССР о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне», «Страдания бельгийского народа под игом германской оккупации», «Мы не хотим воевать с Красной Армией» – рассказы немецких солдат». Напечатали и местное – выступление семидесятилетнего члена колхоза «Ударник» Демида Федорова под заголовком «В порошок сотрем фашистскую банду».

Между тем днем и ночью вывозили на восток трактора, сельскохозяйственную технику, колхозных коров и овец. Пятого июля прекратил работу Госбанк. Деньги и ценные бумаги погрузили на полуторку и две подводы. До Госбанка Марийской АССР довезли все эти богатства три человека – безымянный красноармеец с винтовкой от военкомата, главбух Блохин и кассир Афонский. Все довезли, до копейки.

Когда казначей Опочецкого льнозавода Смирнов с большой суммой денег для выдачи зарплаты и выходных пособий пришел на льнозавод, там уже никого не было. Повернулся Смирнов и пошел с этими деньгами в Калинин, которому тогда подчинялась Опочка, чтобы сдать эти деньги в отделение Госбанка. Пешком пошел. Дорогой голодал, но ни копейки на себя не истратил.

В начале июля, когда немцы взяли соседний Остров, все стало понятно и без сообщений в газетах. Начали эвакуироваться, а вернее, бежать на восток, кто как мог. Шестого июля сорок первого года исполняющий обязанности начальника штаба 46-й танковой дивизии майор Д. Г. Бацкиаури сделал запись в своем дневнике: «Здорово укрепились за Опочку на рубеже р. Великой. Потрепали под Опочкой основательно танковую дивизию СС⁴⁴. Опочка горит. Спешно уничтожаем добро. Жуть берет, но оставить нельзя, лучше сжечь. Минируем дороги. Рвем мосты».

Жуть еще как брала. Взорвали спиртзавод. Командование опочецкого гарнизона приказало коменданту города Опочку сжечь. Сжигать ее должны были местные комсомольцы, не призванные в действующую армию по возрасту или по болезни. Сжигать предполагалось все без разбору, и потому комсомольцы-поджигатели заранее предупредили горожан, что те, кто будет пожары тушить, будут расстреляны на месте.

Одноэтажная Опочка с ее деревянными жилыми домами горела хорошо. Сожгли практически полностью дома на улицах Ленина, Урицкого, Набережной, Некрасова. На улице Почтовой

сгорели все дома, за исключением трех, принадлежавшим знакомым коменданта. Сгорел почти весь район за рекой Великой – Завеличье. Те, кто по какой-либо причине не смог или не собрался эвакуироваться, остались бездомными. Им пришлось вырыть землянки и все три года оккупации, и еще не один год после нее, жить в них⁴⁵. Несгоревшим остался район вокруг городской больницы. Человек, которому приказали организовать поджог, не стал этого делать. Сложно сказать, по какой причине. Его за невыполнение приказа успели расстрелять сразу же, буквально перед тем, как немцы вошли в город. Тех, поджигателей, которые успели приказ выполнить и не успели уйти, ловили немцы и тоже расстреливали.

Нельзя сказать, что Опочку сдали без боя. Битвы за Опочку не было, но были бои местного значения, и в этих упорных, кровопролитных боях убивали живых людей точно так же, как и в больших сражениях. Армия отступала. Через Опочечкий район в направлении Новоржева отступали войска Западного фронта – части 21-го механизированного корпуса. Корпусом он был больше по названию, поскольку был к началу войны не доукомплектован ни людьми, ни техникой, а уж после начала войны, после неудачных боев в ходе обороны Двинска...

После восьмого июля немецкие танки прорвались на мост через реку Великая в полусотне километров севернее Опочки. Преградили им путь наши танки КВ. Вот только боеприпасов у наших танков не было, а потому шли они на таран.

Бои в пригородах Опочки начались десятого июля⁴⁶, а уже восемнадцатого числа начальник немецкого генштаба сухопутных войск Гальдер записал в своем дневнике: «В районе Опочки противник пытается атаками пробить путь к своим изолированным частям и вывести их из окружения. Все атаки отбиты». Нет такого краеведа, который, описывая историю Опочки, удержался бы на этом месте от замечания о том, что впервые за пятьсот с лишним лет город был занят врагами. И мы не удержимся.

Начались три года жизни Опочки и ее района в оккупации. Глядя из сегодняшнего дня, можно попробовать эту жизнь разделить на три: жизнь гражданского населения, жизнь подпольную и жизнь партизанскую, хотя все они между собой переплетены, перепутаны и местами завязаны мертвыми, во всех смыслах этого прилагательного, узлами.

Для начала педантичные немцы не поленились поменять названия тех улиц, которые так или иначе говорили о Советской власти. Большая часть улиц с названиями вроде Почтовой, Садовой, Железнодорожной, Рабочей и Школьной сохранила свои названия, а вот улицам Урицкого, Ленина, Держинского и других советских партийных и государственных деятелей названия вернули прежние, дореволюционные. Оставили названия улиц Пушкина и Некрасова. Появились и новые названия. Почему-то все больше для этих целей оккупанты использовали фамилии русских писателей и поэтов – Крылова, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Жуковского и Тургенева. Были и простые, незатейливые названия, которые сотрудники немецкого Опочечского районного управления выдумали из головы: Iwanstra e, Katherinastra e, Perlenstra e, Landstra e⁴⁷.

К зиме сорок первого Опочка превратилась в склад немецкого оружия, боеприпасов и провианта. Была организована хозяйственная комендатура, которая немедля стала создавать молодежные отряды по заготовке соснового леса для отправки в Германию. Кроме соснового леса опочанам было приказано собирать металлолом, который, как и сосновый лес, отправлялся в Германию. Не рубить лес и не собирать металлолом, понятное дело, было нельзя. За саботаж полагался в лучшем случае концентрационный лагерь, а в худшем расстрел. Работ было множество – ремонтировали под началом немцев подбитые немецкие танки, работали на льнозаводе, на полях, на торфоразработках, чистили и убирали немецкие казармы, строили блиндажи, железную дорогу в Латвию, пилили срубленный лес. И здесь все было организовано – распределением на работы занималась биржа труда.

Сельское население немцы тоже не забыли – каждый крестьянин должен был платить подворный, поземельный и поголовный налоги, а кроме того, сдавать два с половиной десятка пудов зерновых, около двухсот пудов картофеля с каждого гектара, восемьсот граммов шерсти с каждой овцы, не менее трехсот литров молока от каждой коровы и многое другое. Понимая, что никаких

десятков пудов ржи и сотен пудов картофеля с гектара от разоренного войной крестьянина не получить, если не помочь ему семенами и техникой, немецкие власти весной сорок третьего выдали на посев сотню тонн зерна, двести тонн картошки и десять тракторов. Правда, помощь эта была разовой – весной сорок второго ее еще не собирались выдавать, а весной сорок четвертого оккупантам уже было не до нее.

Из статьи «Новая жизнь в Опочке», напечатанной в немецкой газете «За Родину» от 26 ноября 1942 г.: «... Большевики при отступлении сильно разрушили и опустошили Опочку. Вся Киевская (главная) улица превратилась в каменные развалины, – почти ни одного дома не было пощажено; заметно пострадали от разрушения и другие кварталы города. Населению пришлось много потрудиться над восстановлением города. Значительную помощь в этом оказали немецкие власти. В городе немало новых деревянных домов, приводятся в порядок полуобгоревшие каменные здания. Пущены в ход отдельные заводы. Восстанавливается канализация. Функционируют: рынок, кустарные мастерские, хлебные и овощные лавки. Открыта больница на сто кроватей и городская амбулатория для приходящих больных; имеются три школы. Работает и столовая, открыта баня. Устраиваются сеансы кино, спектакли, концерты, танцевальные вечера...».

Осенью сорок второго года немецкие власти⁴⁸ ввели на всех оккупированных территориях обязательное начальное образование. В Опочке и районе открылись начальные школы. Из Германии привезли для детей буквари и отпечатанные в Риге учебники русского языка. Стали набирать в школы учителей, отдавая предпочтение тем, кто так или иначе пострадал при Советской власти. Нашлись, конечно, и такие, но были и те, которые пошли работать, чтобы не умереть с голоду. Практически всем им, после освобождения Опочки и района в сорок четвертом году, было решением Псковского обкома ВКП(б) запрещено преподавать. К примеру, опочецкий учитель музыки Зинаида Александровна Китаева после войны зарабатывала частными уроками, поскольку в школе ей преподавать запретили. Точно так же запретили преподавать заведовавшей во время оккупации одной из районных начальных школ Пелагее Алексеевне Минченковой. Правда, после двадцатого съезда КПСС этот запрет отменили, но до съезда еще нужно было дожить, да и решения съезда доходили до Опочки и района не с курьерской скоростью. Заодно скажем и о том, что детям, которые учились при немцах в школах, эти годы в зачет не пошли. Всем им пришлось начинать учиться с того места, с которого их учебу прервала война.

Впрочем, учителя в начальных школах были разные. В начальной школе на железнодорожной станции Опочки почти год работала учителем подпольщица Раиса Васильевна Гаврилова, пока по приказу партизанского командования не уволилась и не устроилась в опочецкую хозяйственную комендатуру секретарем-переводчиком. Летом и осенью сорок третьего года Гаврилова вместе сестрами Алексеевыми, Надей Литвиненко и Марией Олениной снабжали партизан взрывчаткой, медикаментами и разведывательной информацией о размещении немецких укреплений, огневых точек, о перемещении войск. В апреле сорок четвертого года группу Гавриловой сдал немцам один из местных жителей. Спаслась только Мария Оленина. Всех остальных после пыток расстреляли. Рае Гавриловой в сорок четвертом исполнилось двадцать пять лет.

Надо сказать, что партизан в Опочечком районе было много. К августу сорок второго в районе действовало пять партизанских отрядов, которые объединились в 3-ю Калининскую партизанскую бригаду численностью более трехсот человек. Бригадой было подорвано полсотни немецких эшелонов с техникой и войсками, взорвано десятки железнодорожных мостов, убито более пяти тысяч вражеских солдат и офицеров, разгромлено шестнадцать гарнизонов и взято в плен более полутора сотен немцев. Полицейских и предателей убито ровно двести тридцать шесть человек.

Партизанам помогали не только взрослые. Ученик одной из опочецких школ Иван Шпилькин вместе со своим двоюродным братом Олегом Корневым по заданию партизан собирал сведения о передвижении немецких частей к Ленинграду и обратно, выкрадывал немецкие письма и бумаги, по которым устанавливал номера частей, распространял листовки и, когда ему это удавалось, обрезал провода немецкой телефонной связи и устанавливал магнитные мины под немец-

кими автомобилями. В наградном листе к медали «Партизану Отечественной войны I степени» в самом конце раздела «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг», сказано: «По своей неосторожности был разоблачен, посажен в тюрьму и несмотря на пытки и издевательства, не выдал тайну о партизанах».

Ваню арестовали весной сорок четвертого года и после двух месяцев, проведенных в гестапо, расстреляли за две недели до прихода наших войск. Вместе с Ваней расстреляли и его отца – Ивана Дмитриевича Шпилькина, тоже связанного с партизанами. Ивану Ивановичу Шпилькину исполнилось шестнадцать лет, когда его расстреляли... а может, и не исполнилось – в наградном листе написан только год его рождения – двадцать восьмой.

Партизанский почтальон Нина Денисова, попавшая в гестапо, пыток перед расстрелом не выдержала. Как их, спрашивается, выдержать, если тебе тринадцать лет... или тридцать... или пятьдесят...

Из акта Опочецкой районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников от 29 ноября 1944 года. Свидетельские показания Елены Алексеевны Васильевой: «В помещении гестапо в Опочке специально для допросов были оборудованы две комнаты. В них стояло по две скамейки, на которых избивали арестованных. На стенах висели ременные плетки и резиновые дубинки. У стола лежали палки, а на столах иголки и лезвия от безопасных бритв. Сам вид этих комнат наводил ужас на человека. Находясь в здании гестапо, мне неоднократно приходилось слышать, как из комнат допросов доносились звуки ударов палками, плетью и крики арестованных. По окончании допроса арестованного уборщица предлагалось производить уборку комнаты. Войдя туда, я неоднократно наблюдала следы свежих побоев: кровь на полу, брызги крови на столах и стенах, окровавленные иголки, разбросанные на столе».

Тюрьму и пыточный застеноч немцы устроили на Коммунальной улице, в помещении склада. После освобождения в июле сорок четвертого еще можно было на стенах камер прочесть написанные гвоздем, осколком стекла и кровью надписи «Здесь сидел Михайлов Иван, 1924 года рождения. Приговорен к смертной казни», «Партизан Киселев Леонид, Псков, Застенная, 17, расстрелян», «Партизан Пунтус Владимир, Идрицкого района, расстрелян», «Отомстите за меня», «Умираю», «Прощай, Родина». Эти надписи были видны еще в конце шестидесятых годов.

Из акта Опочецкой районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников от 29 ноября 1944 года. Свидетельские показания Евгении Михайловны Васильевой: «В августе 1941 года немцы провели массовые аресты лиц мужского пола. Ими были арестованы мой муж – Васильев, а также Петр Митрофанов, Василий Ковалев, Николай Петров, Николай Шахманов и другие. В эту же ночь их расстреляли. В конце августа 1944 года я и родственники обнаружили 20 трупов расстрелянных, зарытых в яму в петровском лесу. Массовые расстрелы и сожжения советских граждан немцами производились в деревнях района. В сентябре 1942 года немцы расстреляли 52 человека, проживавших в деревне Артюхово Водобегского сельсовета. Оставшиеся дети были заживо сожжены в огне вместе с постройками деревни. Двадцать восемь домов Артюхова со всеми хозяйственными постройками сгорели в огне. Тогда же немцами было полностью расстреляно население деревень Меленки, Барканы, Гнилки, Стрехно, а жилые дома сожжены».

В августе сорок первого года немцы арестовали все еврейское население Опочки – более ста человек. Всех их согнали на первый этаж того самого четырехэтажного здания, которое построили в восемнадцатом веке для присутственных мест, когда Опочка недолгое время была губернским городом. Этот первый этаж и стал опочечким гетто. От голода, холода и непосильных работ часть стариков и детей в скором времени умерла.

Седьмого ноября сорок первого года на центральной площади города немецкие власти повесили восемнадцатилетнюю Басю Малк, приехавшую в начале года в Опочку по месту службы своего мужа – лейтенанта стрелкового полка. В начале войны муж Баси со своим полком отправился в Прибалтику, а Бася осталась в Опочке, рожать сына. Она его успела родить буквально

за несколько дней перед тем, как немцы заняли город. Эвакуироваться они не успели. Сын ее заболел и долго не прожил, а Бася пошла работать в немецкую комендатуру переводчицей, поскольку прекрасно знала немецкий язык. После войны ее знакомая Анна Семеновна Варфоломеева вспоминала: «Бася пошла работать переводчицей сознательно, чтобы знать, что творится у фашистов. Мне она сказала: “Поработаю, узнаю про дела у гитлеровцев и уйду к партизанам”. Долго ей проработать переводчицей не пришлось – ее выдал немцам Иван Алексеев – сосед по дому. Паспорт, в котором Бася Малк была записана литовкой, не помог. Немцы запросили полицию ее родного Шауляя и... Басю отправили в гетто. Трудно сказать, какую пропагандистскую работу вела Бася среди жителей гетто, но долго она там не задержалась. Ее отправили в гестапо на второй день после того, как она крикнула одному из военнопленных, одетому в немецкую форму: «Ты – предатель!»

Из воспоминаний Ольги Васильевны Гавриловой: «Однажды моя двоюродная сестра Рая (партизанская разведчица, носившая кодовое имя «Абсолют») пришла с работы и сказала матери, чтобы она нас, детей, ни в коем случае не пускала на площадь. Там построили виселицу (примерно напротив дверей нынешнего магазина «Культтовары»). Должны были казнить молоденькую еврейку, сказали – за связь с партизанами. И хотя полицаи сгоняли народ на площадь смотреть казнь, мы туда не пошли, спрятались. Но через день или два мама послала меня на Завеличье, к тете Фросе. И мне пришлось пройти мимо виселицы. Тело казненной еще не убрали. Я старалась не смотреть в ту сторону, но все равно увидела ее... туфелька с одной ноги свалилась... И табличка там была. Мол, так будет с каждым, кто связан с партизанами»⁴⁹.

К марту сорок второго немцы пригнали в гетто еще пятьдесят евреев, арестованных в Опочечском районе. Восьмого марта всех их вывели за пределы города и расстреляли.

Из воспоминаний Ольги Васильевны Гавриловой: «Я встретила на мосту колонну евреев под охраной полицаев. Это была большая колонна. Не менее 15 м длиной, а шириной во всю проезжую часть моста. Шли мужчины, женщины с детьми, старики, некоторые – совсем уже дряхлые, с палочками. Шли, поддерживая друг друга. Я увидела в этой колонне и нашу соседку с маленьким ребенком на руках и с другими членами ее семьи, и еще подумала тогда: так вот для кого мама ей давала молоко... Дома я рассказала, что евреев куда-то повели. А на следующее утро в городе стало известно о расстреле. Рассказывали, что земля в яме, куда сбросили расстрелянных, шевелилась, ходуном ходила – вместе с убитыми туда упали и раненные, и, может быть, дети, совсем не задетые пулей...».

Газета «Новости Пскова», 23 февраля 1998 г.: «Командовал расстрелом немец, а убивали люди русские каратели. Полицаи, среди них был и Сердитов, выводили из стоявшей на дороге колонны по 3–5 человек, раздевали их догола, отрывали друг от друга прощавшихся женщин, мужчин, стариков, детей и вели их к выкопанному в лесу рву. Раздавались выстрелы – и опять отбор новой партии. Когда стихли последние залпы, но пороховой дым стлался по кустам урочища, каратели покинули место казни, увозя на подводах одежду и обувь своих жертв. И тут в наступающих мартовских сумерках из урочища на дорогу выбралась в одной рубашонке и босиком девушка и припустилась бежать к видневшимся вдали постройкам. Прибежала она в совхозный поселок Земский двор. Из ее сбивчивого рассказа можно было только понять, что ее мать в последнюю секунду успела прикрыть дочь своим телом и упала на нее, сраженная пулями. Женщины приняли девочку как родную и спрятали в укромном месте. Но нашлась-таки подлая душа и выдала немцам тайну. Приехал Сердитов с другими полицейскими, отыскали девочку и увезли ее в Опочку. И.Н. Чернов, житель поселка, вспоминал, что ему никогда не забыть расширенных от ужаса глаз девочки. Позднее на вопрос Чернова: “Что с девочкой?” – Сердитов ответил: “То же, что и с ее матерью, они теперь вместе”».⁵⁰

Газета «За Родину», Псков, 4 декабря 1942 г. Из статьи «Опочка обновляется»: «Идешь по городу и удивляешься: прошло немного более года, как немецкие солдаты пришли в Опочку, а уже многое изменилось. Улицы сглажены, посыпаны гравием и утрамбованы; на месте старых обгорелых развалин возникли новые, удобные дома. Их строят немецкое командование и част-

ные граждане. Жители с каждым днем убеждаются, что для них настала новая эра, открытая немецким народом».

Осенью сорок третьего года немцы, понимая, что рано или поздно из Опочки придется уходить, выкопали трупы расстрелянных евреев и сожгли.

Из акта Опочечкой районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников от 29 ноября 1944 года: «Свидетель Порозова Евдокия Степановна по вопросу сожжения Советских граждан рассказала: “Проживая в 300 метрах от места сожжения трупов еврейского населения, я была очевидцем этого факта. Осенью 1943 в течение 2-х суток немцы на костре сожгли трупы расстрелянных евреев, место сожжения их охранялось вооруженными немцами, дорога, проходившая через дер. Пухлы, в течение 2-х суток была закрыта. К месту сожжения беспрерывно ходили немецкие автомашины – подвозили дрова”.

Произведенным осмотром места сожжения установлено: в 2-х метрах от ямы, где были зарыты трупы расстрелянных евреев, на поверхности почвы имеется большое количество человеческой кости, сожженных на костре. (Список расстрелянных и сожженных прилагается)».

Газета «За Родину», Псков, 31 августа 1943 г.: «В июле прошлого года в Опочке (Лен. обл.) был дан первый спектакль местного драматического кружка, организатором которого явился беженец – режиссер и артист Рославлев, автор книги “Дело народной сцены”. Рославлев устроил в городе вечер художественного чтения Пушкина. Гоголя, Толстого и Чехова, а уже через месяц поставил пьесу Островского “Не все коту масленица”. Первое время ставились больше водевили, скетчи и т.п., а также устраивались “пестрые вечера”: рассказы, пение, танцы. Руководил этой работой бывший слушатель студии при новгородском театре Плегер. Скоро определились молодые театральные силы: Яковлев, Федорова и другие. Пьеса Мольера “Лекарь поневоле” имела шумный успех у зрителей и была поставлена три раза. Сейчас драматический кружок под руководством Рославлева готовит пьесу Островского “Без вины виноватые”».

Памятник расстрелянным евреям поставили в семьдесят пятом году. Небольшой беленый обелиск с красной звездой. Правда, на нем не написано, что расстреляли на этом месте евреев. Написано, что расстреляли советских граждан. С одной стороны, и это тоже правда, а с другой... Теперь за памятником ухаживают учащиеся опочечкой коррекционной школы. Назначили их ухаживать еще в советское время, и с тех пор они и ухаживают. Хорошо ухаживают. Вокруг все чисто. Рядом с обелиском стоит бетонный недоделанный постамент. Говорят, что скоро устроят здесь памятник, на котором будет написано, что расстреляли здесь евреев, но как скоро... Говорят, что там напишут имена и фамилии расстрелянных. Наверное напишут. Пока не написали. Говорят, что уже вот-вот, но пока...

И еще о памятниках. На городском кладбище неподалеку от кладбищенской церкви похоронена Евгения Ивановна Иванова и ее родители. Памятники у них самые обычные. На черном граните памятника Евгении Ивановны гравирован портрет бесконечно усталой доброй женщины в строгом учительском костюме. Необычна только табличка «Праведники народов мира», установленная рядом. Евгения Ивановна все три года, что Опочка была под немцами, вместе со своим отцом, Иваном Ефимовичем, прятала у себя дома еврейского ребенка – Бориса Каминарова.

Мальчик случайно оказался в Опочке. Его родители перед войной решили переехать из соседнего Невеля в Опочку, где получили работу в педучилище, а Боря остался заканчивать пятый класс в Невеле, где жили его бабушка и дедушка. Немцы вошли в Невель в середине июля и немедленно всех евреев согнали в гетто. Уже четвертого сентября они были расстреляны. По одной из версий, Боре удалось бежать из лагеря – мать его друга перерезала колючую проволоку, а по другой – он выкарабкался из-под груды трупов расстрелянных в овраге людей и пешком ушел в Опочку. Родителей, к тому времени, как он пришел в Опочку, там уже не было – его мать эвакуировалась, а отчим – Павел Иванович Гончаров был призван в действующую армию. По дороге в Опочку мальчика приютила женщина, жившая на хуторе возле городка Пустошка, что на полпути от Невеля до Опочки. Надолго оставить она его у себя не могла – за укрывательство евреев пола-

гался расстрел. Перед тем как отправить его в Опочку, она Борю крестила и дала ему имя Миша. В городе Боря, поскольку немцы ее уже оккупировали, снова попал в гетто, но уже в опочечское. Оно и немудрено, поскольку внешность у Бори была...

О том, что мальчик находится в гетто, случайно узнали знакомые его родителей. Они написали прошение в комендатуру, чтобы им отдали Борю на поруки как сына русского учителя. Самое удивительное, что его отдали. Учителя решили, что Боря будет жить по месяцу в каждой учительской семье. Месяц он прожил в доме Евгении Ивановны, а потом... учителя передумали. Все прекрасно понимали, что им будет, если у них дома найдут еврейского ребенка. Вот так и прожил все три года оккупации Боря Каминаров у Евгении Ивановны Ивановой. С Борей было сладить трудно. Несколько раз он без разрешения уходил из дома, несмотря на строгий запрет появляться на улице. Несколько раз воровал продукты с немецкого склада. Несколько раз его забирали в комендатуру. Каких трудов стоило Евгении Ивановне и ее отцу его оттуда вызволять...

Немецкие патрули регулярно обходили дома опочан, и однажды Евгения Ивановна не успела спрятать Борю. Иван Ефимович лег на кровать, велел мальчику лечь рядом и отвернуться лицом к стене. Они притворились спящими, а Евгения Ивановна сказала патрулю, что это муж и сын – работали, устали и отдыхают.

В двухтысячном году Евгении Ивановны не стало. Через тринадцать лет посол Израиля вручил ее дочери почетную грамоту и медаль, а звание праведников народов мира Евгении Ивановне и Ивану Ефимовичу присвоили посмертно. В том же году на могилах Евгении Ивановны и ее отца установили и табличку⁵¹.

Опочку очистили от немцев части 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта в середине июля сорок четвертого года – ровно через три года после начала оккупации. Опочечская районная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, начавшая свою работу в конце ноября сорок четвертого года, установила, что за годы оккупации в Опочке немцами расстреляно шестьсот тридцать четыре человека, угнано в Германию четыреста семьдесят четыре человека, сожжено пятьдесят пять деревень. Двадцать семь из них так и не восстановили. Общий ущерб составил два миллиона рублей. Так написано в одних источниках. В других, что три миллиона. Теперь это не имеет никакого значения, а тогда... Тогда, после ухода немцев, все просто стояло обгорелое, взорванное и под ногами лежал битый кирпич.

Нужно было все восстанавливать. Уцелевшие каменные здания можно было пересчитать по пальцам: одна из средних школ, поскольку в ней находился немецкий госпиталь, педучилище, здание которого во время оккупации занимала комендатура, четырехэтажный корпус присутственных мест и Дом Советов, которые немцы просто не успели взорвать, и все. Три школы, Дом культуры, кинотеатр и городская библиотека были сожжены, электростанция, хлебопекарня, райпромкомбинат, четыре завода – кирпичный, гончарный, лесопильный и завод по производству спирта разрушены. От железнодорожной станции Опочка-2 остались одни развалины и разобрана часть путей, взорван мост через Великую.

Можно, конечно, подробно описать, как все восстанавливалось, как разминировали территорию льнозавода, как девятого мая сорок пятого заложили парк Победы при входе на городской мост, как в начале шестидесятых деревянный мост через Великую заменили на железобетонный, как восстанавливали электростанцию, как восстановили раймаслосырзавод, как его из года в год награждали переходящим Красным знаменем и грамотами Совета министров, как построили кинотеатр «Маяк»⁵² и хлебокомбинат с котельной, как оснастили ремонтный завод полуавтоматическими фрезерными, токарными и шлифовальными станками, как велось жилищное строительство, как в шестьдесят втором заработал завод железобетонных изделий, а еще через десять лет там появился первый в стране цех по производству армооболочек... только все это материи скучные, а в случае армооболочек еще и очень скучные, хотя и первые в стране, но это было, и даже не все успело порастить быльем. Хлебокомбинат, которому уже без малого семь десятков лет, снабжает город хлебом, восточными сладостями и безалкогольными напитками, завод пищевых

продуктов выпускает майонез и горчицу. У них и рентабельность растёт год от года, и новые виды упаковки внедряются, и почетные грамоты работникам завода за успехи в труде выдаются. Есть еще кожгалантерейная фабрика. Она, правда, осенью двадцатого года горела так, что ее работники из окон выпрыгивали, но теперь восстановилась и переехала из сгоревшего здания на четвертый этаж присутственных мест. Присутственным местам не привыкать. За двести с лишним лет, которые прошли со времени их постройки, кто только в них не квартировал. На фабрике всего полсотни рабочих мест, но для Опочки и такое количество совсем не пустяк. Почти тридцать лет работает компания по производству соков и нектаров из лесных и садовых ягод северных областей России. Работает индустриально-педагогический колледж, в котором можно выучиться и на повара, и на сварщика, и на маляра, и на электромонтажника, не говоря о штукатуре, и даже на учителя начальных классов, но... молодежь все равно уезжает учиться и работать в Псков, в Петербург, в Москву, в... да куда угодно уезжает. Потом приезжает отдыхать, потом присылает к бабушкам и дедушкам детей, потом дети присылают внуков, потом...

И еще. После войны, в середине пятидесятых, улицу Ленина застроили аккуратными двухэтажными домиками, которые у нас называют «сталинками». Они и сейчас там стоят вперемешку с чудом сохранившимися купеческими. Перед детским садом на потрескавшихся постаментах гипсовые, выкрашенные серебрянкой маленькие дети кормят гипсовых голубей, а в устроенных во дворах палисадниках цветут спиреи, чубушник и лилии. Клумбы огорожены половинками побеленных кирпичей. Перед небольшими сарайчиками сложены в поленицы дрова. На скамейках сидят бабушки и ведут свои бесконечные разговоры о приехавших на лето внуках, или о ценах на сахар, или о том, что Федор Михайлович на старости лет выжил из ума и такое... или Иван Сергеевич... или оба два... Одним словом, срамота, да и только. Постыдились бы внуков. Кажется, что из-за угла вот-вот выбегут чумазные мальчишки и девчонки, играющие в казаков-разбойников, но... не выбегают. Бог знает почему. Может, их в этом году родители повезли загорать к морю в Турцию или в Сочи. Ну, не в этом, так в следующем году приедут. В конце концов бабушки и дедушки живут в Опочке уже седьмую сотню лет, и всегда к ним приезжали внуки. Пушкин в Опочку приезжал, и они приедут⁵³.

¹Неподалеку от современной Опочки, возле деревни Кирова, есть место под названием Духова гора. В первом тысячелетии нашей эры на этом холме высотой около пятнадцати метров было городище. Жили на нем сначала какие-то балтийские племена, потом пришли славяне-кривичи, потом они все перемешались, потом холм опустел, но на нем осталось каменное изваяние Перуна, потом из него сделали каменный крест, потом крест ушел в землю, а на холме поставили часовню Сошествия Святого Духа, и когда, по преданию, Иван Грозный перед смертью приказал составить реестр святых мест, то в него внесли Духову гору, поскольку уже тогда она была местом оживленного паломничества. Сама часовня новая – ей лет тринадцать, а фундамент под ней старинный – чуть ли времен Ивана Грозного. Приходят туда большей частью за исцелением от самых разных болезней и за исполнением желаний. Тоже самых разных. На полпути к вершине холма, где-то на высоте семи с половиной метров, лежит большой плоский камень. Нужно постоять на нем босыми ногами, и болезнь уйдет. Или начнет уходить. Камень, правда, помогает не от всех болезней, а только от болезней ног. Рядом с камнем все деревья и кусты обвязаны разноцветными лентами, символизирующими болезни, которые оставляют или хотят оставить паломники. Сначала эти ленты вешали на часовню, но потом местный священник запретил это делать, и тогда стали ими обвязывать деревья.

Когда вы заберетесь на вершину холма и войдете в часовню, не забудьте, стоя перед иконами, развернуть руки ладонями вверх. Почувствуете легкое покалывание в ладонях или даже заломит руки – значит через вас пошел поток энергии. Если не почувствуете – значит не пошел, или пошел, но не через вас. Между прочим, приезжали на Духову гору из Пскова специалисты по

паранормальным явлениям и подтвердили, что на вершине горы существуют два энергетических потока – один восходит, а другой совсем наоборот. Потоки очень сильные. Некоторые экстрасенсы из паранормальных буквально падали в обморок. Сам-то я не видел, но мне рассказывал человек, которому тоже рассказывали. Из нормальных приезжали еще и физики с приборами. Сказали, что прямо под горой проходит разлом земной коры. Короче говоря, при желании можно зарядиться положительной энергией, не выходя из часовни, а можно и наоборот – все зависит от того, в какой энергетический поток попадешь. При выходе из часовни знающие люди рекомендуют заматывать следы. Это, как утверждают местные жители, способствует миру в семье. Для этого возле входа в часовню поставлен веник. Можно даже за собой и полы помыть. Рядом с веником стоят швабра и ведро с тряпкой. Тогда мир будет еще прочнее и здоровье укрепится. После того как выйдете из часовни, необходимо ее три раза обойти против часовой стрелки. Можно, конечно, и не обходить, если вас не интересует результат. Как будете обходить – приглядитесь к стенам часовни, и увидите, что в каждую щель или трещину в бревнах вставлены бумажные записочки со списками пожеланий и монеты. Кстати, исцеляющий камень, на котором нужно постоять босыми ногами, тоже усыпан мелочью.

Рассказывают про одну бабушку, которая в детстве не могла ходить. Ее родители привезли к часовне и оставили на ночь. Бабушка в детстве пролежала в часовне всю ночь и видела свечение. Утром ее родители забрали домой, и она стала ходить. Не сразу, конечно, а недели через три или даже четыре. Еще был случай, когда один мужчина срубил себе на Новый год елку на вершине горы. Так он потом лишился ноги. То ли ему отрубили ее, то ли он ее потерял – неизвестно. Правда, не сразу это произошло, а месяца через три.

И еще. На вершине горы есть маленькое кладбище из нескольких десятков могил жителей деревни Кирово, на котором, случается, и сейчас хоронят, а под горой – большое, но там уже не хоронят. На большом стоит восемь стел черного гранита, сверху донизу исписанных названиями деревень и фамилиями жителей окрестных деревень, погибших или пропавших без вести во время последней войны.

²Один из первых опочецких историков Иван Петрович Бутырский в своей книге «Опыт древней истории города Опочки» утверждал, ссылаясь на летописные источники, что Опочка гораздо старше и была построена на месте села Опочня или близко от этого места, а село это упоминалось в летописях еще в триста сорок первом году, поскольку в нем немцы убили пять псковских послов, и даже приводит имена этих послов – Михайла Любиновича, Евана Михайловича, Семена Леонтьевича, Власия Кологитовича, и Анфима Полуторановича. Другой опочецкий историк – Леонид Иванович Софийский в своей книге «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем», нисколько не сомневаясь в том, что послов именно так и звали, ссылаясь на практически те же самые летописные источники, утверждал, что город Опочка не имеет никакого отношения к селу Опочня и что село это находилось гораздо севернее, ближе к границе с Лифляндией и Витебской губернией, где протекают реки Опочна и Опоченка, и потому... Не будем мешаться в спор двух краеведов. Тем более, что они оба давно умерли, оставаясь каждый при своем мнении. (Тем более, что Софийский, как выяснилось впоследствии, оказался прав.) О псковских послах и говорить нечего. Городу Опочке, слава Богу, уже шестьсот с лишним лет. Что ему какие-то лишние семьдесят лет...

³Почти такой же случай произошел в тысяча пятьсот тридцать втором году при осаде татарами Солигалича. Правда, осажденные крестным ходом не ходили, но преподобный Макарий Желтоводский и Унженский и сам, видя, в каком тяжелом положении находился город, небесным покровителем которого он являлся, появился конным на валу и прикрыл своим багряным плащом город. Так рассказывали очевидцы, и так с их слов записано в «Житие преподобного Макария Желтоводского и Унженского». Там же сказано, что «погани ослепли и сами себя изрубили», а те, кто не были изрублены, сняли осаду и ушли. Удивительно и то, что осада Солигалича татарами длилась почти столько же, сколько осада Опочки – две ночи и три дня.

⁴Через два года после осады Опочки Витовтом, в четыреста двадцать восьмом году, по просьбе опочан с простреленной иконы был сделан список. Это не была точная копия – к образу Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца были прибавлены изображения преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, память которых отмечается третьего августа – в тот самый день, когда Витовт ушел от стен Опочки. В пятьсот пятьдесят четвертом году к иконе, по случаю создания для нее оклада, была прикреплена серебряная пластинка, на которой, среди прочего, было гравировано «...лета 6936 написана бысть икона сия повелением рабов Божиих старост Опочке града Семеном Колосовым и Федором Глиною и всеми Опочаны при посадниках опочских Прокофии Макове да Тимофеи Поткине и при Зеновье и приде князь Тото* с тотары и с ляхи и в силе велице в день субботный и град Опочку хотя взя и лезли ко граду от утра до нощи и отодесть посрамлену и много своих голов положив князей тотар а град Опочку соблюде и люди здравы молитв святая Богородица и святого Николы и святых отец Долмата и Фауста Исака а писал Иев дяк».

*Тото – Витовт.

⁵Пехота, вооруженная огнестрельным оружием.

⁶О польском короле Сигизмунде, снаряжавшем войско вместе с Великим Княжеством Литовским для завоевания Псковских земель и одновременно посылавшем своих послов в Москву вести переговоры о мире, в Степенной книге, составленной митрополитами Киприаном и Макарием, сказано: «Сиде лукавнующий Краль Жигмунт своим злокозистством коварствова...».

⁷«Арахтыктаны, аристотели» – это архитекторы, они же военные инженеры, они же фортификаторы. Конечно, хочется написать, что «аристотели» – это боевой отряд философов. Увы, это не так. Кабы это был он – непременно так и написал бы, можете не сомневаться.

⁸Опочане в честь героической обороны построили, кроме церкви во имя Св. Сергия Радонежского, еще церковь Св. Параскевы Пятницы, храм апостола Фомы и евангелиста Луки, в день чествования которого завершилась осада крепости.

⁹Через семнадцать лет окольный Иван Ляцкий, назначенный вторым воеводой сторожевого полка в Коломне, бежал к польскому королю Сигизмунду вместе с боярином князем Семеном Бельским. Там и прожил до самой смерти еще восемнадцать лет. Принят был королем благосклонно и облагодетельствован земельными пожалованиями. На основании данных Ляцкого картограф Антон Вид составил подробную карту Московии. Хорошая была карта и названия русских областей и городов на ней были очень точными. Опочка (Opotzki) на ней тоже есть. Антон Вид сам признавался, что «немалое содействие» ему в создании карты оказал Иван Ляцкий, окольный великого князя Московского. Ляцкий, по настоянию Сигизмунда Герберштейна, составил описание Московии, которым и пользовался Антон Вид при составлении своей карты.

Между прочим, Каспар Вовелиус, на карте которого тоже отмечена Опочка, пользовался в своей работе картой Антона Вида. Карта Вовелиуса появилась в 1555 году, а Ляцкий послал Герберштейну, с которым состоял в переписке, свою карту уже в 1541 году. Вот и выходит, что Опочка впервые появилась на карте Европы благодаря Ивану Ляцкому, который сначала помог разбить поляков и литовцев, а потом к ним убежал. Вряд ли мог он забыть про события пятьсот семнадцатого года, пусть и через семнадцать лет. К истории самой Опочки, впрочем, этот факт если и имеет отношение, то очень отдаленное.

¹⁰Герберштейн был в Опочке дважды – в пятьсот семнадцатом и в пятьсот двадцать шестом годах и писал, что крепость с берегом Великой соединял плавучий мост, по которому лошади переправляются по большей части по колено в воде. По всей видимости мост прогибался под тяжестью большого количества всадников. Крепость Опочка сделана из дерева и находится на вершине островерного холма, под которым выстроено большое количество домов. «Они называю- ют это городом», – писал Герберштейн, скорее всего, об опочечком посаде.

¹¹Нет, евреев в те времена в Опочке еще не было, а Жидовская улица называлась так потому, что упиралась одним концом в речку Жидовку, которая, в свою очередь, называлась так потому,

что вытекала из болота и была маловодной, то есть жидкой. Всю местность вокруг Жидовской улицы местные жители называли Жидовским концом, точно так же, как и местность вокруг Федосовой улицы называлась Федосовым концом.

¹²К описанию самой Опочки прилагается перепись населения. Перепись как перепись – пушкари, воротники, дьячки, стрельцы, дворцовые и вольные крестьяне, старец богадельной избы и посадские люди. Среди множества Гаврилок, Петрушек, Архипок, Гришек, Терешек и Матренок с самыми обычными фамилиями вроде Григорьев, Пучков, Макухин, Андреев и Макаров, среди прозвищ Тележник, Таможенник, Сидяка и даже Великая Борода, встретился мне стрелец Давыдка Дешевый. За что его так... теперь уж не узнать. Может, любил он менять шило на мыло, может, ходил от жадности в дырявом кафтане, может, продешевил, продавая казенную пищаль или саблю, чтобы пропить вырученные деньги... кто его знает, а только не приведи Господь попать с таким прозвищем в перепись, потому как «пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света».

¹³В Опочке своего знаменитого земляка помнят – ему установлен бюст на одной из центральных улиц города. В пионеры, конечно, возле него не примешь по причине отсутствия таковых, да у них и свой памятник для таких случаев имеется, но молодых дипломатов или почтальонов могли бы.

¹⁴На полях строительства зелейного погребца напишем синопсис повести о том, как поссо-рился опочецкий воевода Афанасий Редриков и опочецкий же стрелецкий голова Савва Мордвинов. Стрелецкий голова хотел получить от воеводы право управлять посадскими людьми и теми стрельцами, которые жили в посаде, а не в особых стрелецких слободах. Редриков такое право уступать не собирался, поскольку воевода всегда командовал всеми стрельцами, и вообще кто он такой, этот Савва Мордвинов, чтобы угрожать воеводе и распоряжаться кузнецами, которые должны изготовить железные двери к зелейному погребу, когда такими делами всегда ведал воевода, а не стрелецкий голова. Мало того, Мордвинов скрыл от Редрикова, что получил от начальства указ, в котором прямо говорится, что именно воевода... Короче говоря, стрелецкий голова пришел в верхний город и, как писал Редриков в своем донесении псковским воеводе и дьяку, «учал меня бранить и палкою бить и за горло давить, зигун на мне изодрал... И вышел в приказную избу всяко неподобно бранил меня, бесчестил. И у приказной избы, за город идучи, похвалялся разве де тебе за город не ездить? А для чего он, Савва, то говорил, и я тех его похвальных слов впредь опасен, чтобы он надо мною какова дурна не учинил». Чем дело кончилось – неизвестно, но погреб построили и железные двери на него навесили.

¹⁵Трудно удержаться от того, чтобы не привести хотя бы в примечаниях документ, который в наше время называется актом приемки-сдачи. В данном случае это акт приемки Опочки шестьсот девяносто седьмого года. Воевода Алексей Дябринский принимает город у воеводы Ивана Харламова и пишет по этому поводу псковскому начальству: «Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича... ближнему стольнику и воеводе Ивану Степановичу с товарищи Алексей Дябринский челом бьет. В прошлом 204 (1696) году апреля в 23 день по указу Великаго Государя и по наказу, каков мне дан на Москве и разряду за припискою дьяка Ивана Кобыкова, велено мне быть в Опочке на Иваново место Васильева сына Харламова и переменить его, Ивана, на срок, в нынешнем сего году марта в 22 числе. И ему, Ивану, с расписным списком велено ехать к Москве, и приехав в Опочку принял (я) у Ивана Харламова город Опочку, и острог, и ключи городовые и острожные, и казенные и наряд, и в казне зелье и свинец и всякие пушечные и в житницах хлебные запасы и соль запасную, и деньги, что есть в сборе, и Великаго Государя указные грамоты о всяких Великаго Государя и о челобитчиковых делах и книги приходные и расходный деньгам, и хлебу и зелью, и свинцу и всяким пушечным и хлебным запасам и всяким приемным статьям, и списки Опочецких стрельцов и казаков и всяких Опочецких служивых и жилецких людей, и всякия Великаго Государя и челобитчиков и судныя вершения и невершения дела, и тому всему и городовому и острожному и всякому строению роспись за его, Ивановой, рукой и по росписке города, и острога и всяких городовых и острожных крепостей и нарядю людей, зелья, и свин-

цу и всяких пушечных и житницах хлебных запасов и запасная соли досмотрети и по спискам Опочецких стрельцов и казаков и всяких жилецких людей пересмотреть всех на лицо и велеть им на Опочке быть с собою по прежнему Великаго Государя указу, а на Опочке зелье, и свинец и соль велеть перевесить, а хлебные запасы, пересмотреть и по приходным и расходным, книгам в денежных доходах и в хлебных запасах и в зеленой и в свинцовой казне и во всяком приеме его Ивана, счесть с того числа, как он на Опочку приехал, да на то число, как он переменен будет, и чего против прихода в расходе и за расходом, на лицо не будет, и то на нем Иване, в казну Великаго Государя взять сполна, а не взяв всего с Опочки его отпускать не велено.

И по указу Великаго Государя приехал я на Опочку и прежняго воеводу переменял ныннешняго сего года апреля в третий день и город Опочку и городовые, и острожные и казенные ключи, и наряд, и в казне зелье, и свинец, и всякие пушечные и житницах хлебные запасы за приемом Опочецких пушкарей Терентья Шамилова с товарищи, да целовальника Опочанина посадского человека Иванка Овечкина и Великаго Государя указные грамоты и книги приходные и расходные деньгам, и судные и всякия письменные вершенные и невершенные дела и списки Опочецких служилых и жилецких людей по росписному списку принял и его, Ивана, с росписным списком отпустил из Опочки к тебе, ближнему стольнику и воеводе Ивану Степановичу с товарищи, во Псков. А по приему город Опочка: верхняго города стена вся огнила и нижняго острога прясло у Жидовки речки от Спасских ворот к Великой реке с нижняго острогу в верхний город через Великую реку и по Псковской дороге за Псковскими вороты через Великую реку мосты огнили и обрушились и омбары, в которых ружейный, и фетильные и пушечный припасы, кровли огнили и обрушились и впредь непрочен и о строении казенных амбаров и городских стен и мостов, ближний стольник и воевода Иван Степанович, что скажешь». Что тут скажешь... Ремонтировали, ремонтировали, а кровли у амбаров огнили и обрушились, мосты огнили и обрушились, стена огнила...

¹⁶Л.И. Софийский пишет, что и генерал-губернатор, и губернатор Псковской губернии переехали в Опочку и прожили в ней без малого год, пока Пскову не вернули звание главного города губернии, и даже указывает их адреса, но, если судить по переписке губернатора Кречетникова, они там и не думали появляться, хотя Софийского понять можно. На его месте любой краевед написал бы то же самое.

¹⁷Об этих зданиях опочане в последствии сложили поговорку: «Отслужи царю-батюшке в солдатах, помолись в церкви господу-богу и с чистой совестью садись в тюрьму».

¹⁸В то время, как опочечкое начальство заказывало в Москве колокола для нового Спасо-Преображенского собора, в Опочке жил свой, опочецкий, колокольных дел мастер Федор Максимов. Сложно сказать, почему соборные колокола не заказали у него, хотя с квалификацией было все у него в порядке – колокола работы Максимова имелись и на псковских храмах. Может быть потому, что в конце восемнадцатого и весь девятнадцатый век жители Псковской губернии предпочитали заказывать колокола в Москве. Могли лить у себя дома, во Пскове, могли в Петербурге, поскольку он ближе, но... хотели только в Москве. Кто их знает почему. Может, звон московских колоколов был бархатнее и малиновее. Может, там было дешевле или быстрее делали. Так или иначе, а московские колокола всех псковских мастеров пустили по миру, и Опочка, если судить по документам, была последним местом на Псковщине, где еще жил этот промысел перед тем, как умереть окончательно. Федор Максимов был, если так можно сказать, последним из местных колокольных могикан. Без малого двадцать лет он занимался литьем колоколов. Можно было бы про него и не рассказывать вовсе – к истории города Опочки колокола Федора Максимова немного добавят, но человек, как известно, не остров, а часть материка, который в нашем случае называется Опочка, и потому не будем спрашивать, по ком звонили отлитые им колокола, и материк уменьшать не станем. Никто не знает – сохранились или нет колокола работы Максимова на звонницах Псковщины или Прибалтики, которая в те времена была частью империи, но может быть они и сейчас звонят по кому-нибудь из нас.

¹⁹Строился собор трудно, особенно в самом начале. Казенным архитектором был назначен Иван Парфенов, и стройка велась под неусыпным наблюдением городничего Карла Бриммера. Деньги на строительство были – те самые казенные десять тысяч, которые императрица пожаловала Опочке на строительство храма, но казенные деньги у нас имеют обыкновение кончатся, едва начавшись. Кто в этом был виноват – неусыпное ли наблюдение городничего, рвение ли к порученному делу казенного архитектора, который к приезду в город императрицы вывел стены собора на целый аршин от земли, а как только она уехала, забросил строительство, расторопность ли подрядчиков – теперь уж не установить, но если бы опочецкий купец первой гильдии Степан Михайлович Викулин не взял строительство через десять лет после его начала в свои руки, и не пожертвовал бы на него значительные суммы из своих собственных средств, то не видать бы опоччанам Спасо-Преображенского собора.

²⁰Смешнее всего то, что местные жители этот камень опокой не называют. Он у них называется «плитой», а опока у них – маленький камешек, размером с булавочную головку. Если такая опока попадет в глину, из которой делают кирпичи, то при обжиге этот кирпич растрескается и разрушится. Тут, конечно, можно было бы порассуждать на тему о том, как трескались и разрушались при обжиге кирпичи Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, в глину которых попадала Опочка, но мы этого делать не будем.

²¹Между прочим, уроженцем села Матюшкино был некто Сергей Григорьев – участник дворцового переворота в ноябре семьсот сорок первого года, в результате которого цесаревна Елизавета Петровна взошла на российский престол. Григорьев состоял в роте гренадер лейб-гвардии Преображенского полка. За участие в перевороте был пожалован в Лейб-компанию гренадером, стал дворянином и получил почти три десятка душ крестьян в Пошехонском уезде. Наградили лейб-компаньонством и крестьянскими душами в Пошехонском уезде еще четверо опочан, участников этих событий – братьев Матвея и Демьяна Коробовых, Никиту Максина и Осипа Свешникова. Братья Коробовы и Никита Максин родились в Опочечком уезде, а Осип Свешников в самой Опочке. Где, спрашивается, Опочка и ее уезд, а где престол Российской империи... Оказывается, рукой подать от одного до другого.

²² «Для сего торжественного дня собраться в Соборную церковь городничему, всем сей округи господам судьям с канцелярскими служителями, городовому магистрату со всем знатнейшим купечеством и мещанством, и привести туда же порядочно юношество обучающееся в градской школе, где по отправлении божественной литургии и молебственного пения за здравие Ея Императорского Величества всем тем особам и первому священному чину Начальнику следовать в дом градского училища, где соверша водоосвящение и окропя то училище святой водой, после того одному из церковных начальников приличное надлежит сделать поучение тому юношеству, которое обучаться будет в том училище, и которому надлежит тут собрану и порядочно поставлену быть; а потом всем же поучений прилично достойно возблагодарить Ея Императорское Величество за Ея матернее попечение о благоденствии и просвещении народном; а всё общество пригласить, дабы все и каждое из оногo, следуя правилам во всякой благонамеренной душе впечатлениям, по своей возможности таковому полезному для всего общества делу вспомоществовать поколику и чем кто может; дая тем, как единственным средством оказать свою благодарность к неутомимым попечениям Ея Императорского Величества о благе общем, и своё усердие к оному, а наконец городничему, как первому начальнику в городе открыть то училище, подтвердя учителю онаго усердие к научению юношества ему ввереннаго, а ученикам всевозможное прилежность и послушание, дабы не напрасно они потеряли дорогое время их воспитания и труды употребляемые к их просвещению». Теперь так торжественно не открывают. Знатнейшее купечество и мещанство на церемонию открытия вряд ли придут. Правду говоря, и с матерним попечением о благоденствии и просвещении народном у нас тоже... но молебен, если прикажут, то непременно. Еще и с охотою.

²³Губернское начальство в лице попечителя училищ Назаретского отвечало Троицкому: «Касательно просьбы Вашей, заключавшей Вашу жалобу на все городское общество, я недоумеваю,

что сказать, а и представлять Его Сиятельству, Г-ну Министру Просвещения останавливаюсь, чтоб не навлечь Вам худших последствий: ибо “Si vis esse Roma, romano vivito more”». Попечитель, конечно, имел в виду дословный перевод латинской пословицы – если живешь в Риме, живи по римским обычаям. Проще говоря, со своим уставом в чужой монастырь не ходят, но неуступчивый Троицкий прочел: с волками жить – по волчьи выть.

²⁴Прежде чем смеяться ужасаться нравам опочечких обывателей, подставьте в эту дневниковую запись Лапина вместо Опочки любой другой уездный или губернский город нашей необъятной родины или вовсе тот, в котором вы теперь проживаете, а коронацию Николая Первого замените на любую другую коронацию или вовсе выборы, а уж потом и ужасайтесь. Уж если на то пошло, то лучше вспомнить Достоевского с его «широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», но мы и этого делать не будем. Сами вспоминайте и сами сужайте, если охота.

²⁵В том же году в Санкт-Петербурге уроженцем села Бисерово Опочечского уезда* и выдающимся русским шахматистом Александром Дмитриевичем Петровым была издана книга под названием «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на оные». Петров играл в шахматы с семи лет и в пятнадцать лет победил одного из лучших шахматистов Санкт-Петербурга. С этого момента он считался лучшим шахматистом России. Его даже прозвали русским Филидором. Александр Дмитриевич основал первый в России шахматный клуб, публиковал художественные рассказы о шахматной игре, издал первую в России книгу о шашках, фактически был создателем русской шахматной школы, дослужился до действительного статского советника и был кавалером орденов Св. Анны, Св. Владимира и Св. Станислава. Между прочим, книга Петрова о шахматах (даже два ее экземпляра) была в библиотеке другого опочечкого помещика – Пушкина. Первую Пушкин купил сам, поскольку любил играть в шахматы, а вторую ему подарил автор с надписью «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения. От создателя». Ради того, чтобы написать книгу, которую Пушкин не только купил, но еще и читал, стоило научиться играть в шахматы.

*Теперь то место, где была деревня, находится в городской черте Опочки. На красивом здании с башенкой, построенной в девятьсот четырнадцатом году ремесленной школы, висит мемориальная доска с портретом выдающегося русского шахматиста. Раз уж зашла речь о зданиях, то скажем и еще об одном, стоящем напротив здания бывшей ремесленной школы на другой стороне улицы. В неприметном двухэтажном кирпичном доме без всяких мемориальных досок в начале прошлого века помещалось военное присутствие, и начальником этого присутствия был Александр Михайлович Булычев – дедушка писателя Кира Булычева. Он прожил в Опочке несколько лет до своей смерти и похоронен здесь же, чего нельзя сказать о шахматисте Петрове, который как в девять лет отроду покинул Опочку так больше никогда в нее и не возвращался.

²⁶Вообще опочане любили сказать красиво и даже велеречиво. К примеру, их жалоба архиепископу на Святогорский монастырь, не разрешавший прихожанам городского собора продажу свечей во время ежегодного крестного хода, начиналась так: «Четыреста седьмой год идет, как наш город Опочка в видимом мире существует, сие мы довольно из истории знаем...».

²⁷Наверное, это несущественная подробность, имеющая к истории Опочки двоюродное или даже троюродное отношение, но приобщим к делу и ее. В повести «Метель» венчание происходит в селе Жадрице, а в Опочечком уезде был погост Жадры*. Кто-то скажет, что мелочь, но... нет, не мелочь.

*Правда, и в Новоржевском уезде есть погост Жадрицы, но о нем в связи с «Метелью» мы будем вспоминать, когда речь пойдет о Новоржеве и его уезде. Некоторые и вовсе утверждают, что Пушкин в «Метели» описал церковь в селе Жедрино Нижегородской губернии.

²⁸К началу двадцатого века Большев был крупнейшим землевладельцем опочецкого уезда. Он выстроил себе огромный деревянный дом-терем с резными балконами рядом с Опочкой и зажил на широкую ногу, но... тут грянул семнадцатый год. В имении Большевых устроили интернат для инвалидов РККА. Просуществовал интернат до войны, а после войны там помещался детский дом. В пятьдесят шестом году детский дом закрыли, а из терема сделали обычный жилой дом. В начале девяностых жильцы стали оттуда съезжать в более благоустроенное жилье, но еще до их отъезда, в восемьдесят четвертом году в саду перед домом снимали сцены кинофильма «Огни» по рассказам Чехова, и на веранде дома артист Леонов-Гладышев целовал руки артистке Догилевой.

Теперь заросший крапивой и донельзя обветшавший дом находится в собственности одного опочецкого бизнесмена, который выставил его на торги, поскольку не в состоянии содержать. Он, конечно, памятник архитектуры регионального значения, но... хотя бы и федерального. Можно, конечно, его отреставрировать и устроить в нем гостиницу или санаторий, но стоит это несусветных денег, да и поедут ли сюда отдыхать... Вот и получается так, как получается.

Что же до наследников Большева, то они в двадцать пятом году уехали из Опочки и более в нее не возвращались. Осели кто в Нальчике, кто в Угличе, а кто и вовсе где-то на Алтае.

²⁹В восемьсот семьдесят первом году произошло событие, не имеющее к истории Опочки никакого отношения. Оно и к Опочецкому уезду... Короче говоря, была в уезде деревня Шукино. Теперь она в соседнем Пустошкинском районе, ну да это все равно. Исстари владели этой деревней опочецкие помещики Назимовы. Род у них старинный, известный еще с пятнадцатого века. Еще при Иване Грозном Назимовы ходили в походы против татар, Литвы и Ливонского орде-на. С восемнадцатого века Назимовы стали служить во флоте. Павел Николаевич Назимов, сын вице-адмирала Николая Николаевича Назимова, в восемьсот семьдесят первом году, командуя в чине капитана второго ранга винтовым корветом «Витязь», совершил переход из Кронштадта вокруг Южной Америки в Тихий океан в залив Астролябии и по просьбе Русского Географического общества высадил Н.Н. Миклухо-Маклая на северо-восточный берег Новой Гвинеи. Еще и открыл пролив, названный по имени его корабля – «Витязь». В Шукино Павел Николаевич приезжал отдыхать между многочисленными походами. Может, можно было бы и не вспоминать, но... лучше вспомнить.

³⁰Охотники делились на команды, а команды делились на колонны. Колонн было четыре: лазильщики, спасавшие людей, имущества и ломающие, в случае нужды, здания; трубники, работающие пожарными трубами; качавшие изо всех сил воду качальщики и, наконец, охранители, охранявшие спасенное имущество. У каждой колонны был свой колонновожатый, у каждой пожарной трубы был свой командир, а ко всему этому два брандмейстера. Каждому брандмейстеру полагалось по две пары усов – одна для повседневной службы, а вторая для парадов и визитов к кухаркам и горничным в свободное от службы время. У обычных охотников на все случаи жизни была одна пара усов, часто обгорелых и порыжевших, поскольку выдавали их раз в три года.

Тем, кто состоял в отряде хранителей, присваивался знак с номером и надписью «Отряд хранителей» и выдавалась белая нарукавная повязка с красной буквой «О», которую надевали на левую руку. Первое отделение хранителей имело нагрудные знаки на белой подкладке, а второе – на красной. Существовали правила поведения охранителей на пожаре. Они должны были «обращаться с публикой самым спокойным и вежливым образом, не употребляя насилия». Из чего можно было заключить, что вежливо попросить опочецкого обывателя отойти от имущества погорельцев у охранителей получалось крайне редко. Жизнь всех охотников была застрахована во Всероссийском обществе «Голубой крест», членом которого Опочецкое вольное пожарное общество состояло.

³¹Были в Опочке и недобровольные пожарные, состоявшие на жаловании у властей. То есть они не сразу у города завелись. Еще в начале девятнадцатого века купили пожарные трубы бочки, багры, железные лапы, три десятка ведер на железных обручах, три бочки, четыре лестницы... но команды пожарных не было. Даже отдельных пожарных не было. Тушение пожаров было пред-

писано производить полицейским и жителям города. Последние должны были являться на пожар с различными противопожарными инструментами, лошадьми и бочками. В восемьсот тридцать восьмом году ко всему этому противопожарному войску власти приставили ученика брандмейстера, специально обученного в Пскове при пожарном депо. В восемьсот сорок четвертом году горюдничий так и докладывал: «Пожарная команда состоит из одного брандмейстерского ученика. Содействие оказывают полицейские вольнонаемные служители и назначаются городской Думой городские жители и обывательские лошади». Еще через пятнадцать лет полицейская и пожарная команда насчитывали в своих рядах девять рядовых воинских чинов внутренней стражи из неспособных II разряда*. В восемьсот семьдесят шестом году городская пожарная команда состояла из трех человек и платили им по 96 рублей в год каждому. Ну и как такой команде состязаться с добровольной пожарной дружиной, насчитывавшей десятки организованных в колонны охотников, охранителей, лазильщиков и трубников с красивыми нагрудными знаками и нашивками на красных и белых подкладках? То-то и оно... Это мы еще и не упоминали о том, что из трех пожарных труб всего одна была исправной, что сарай, в котором они хранились, обветшал, что денег на ремонт не было...**

*Неспособные II разряда это вовсе не инвалиды второй группы, как можно было бы подумать, а освобожденные от службы молодые люди, по причине того, что они были единственными трудоспособными сыновьями в семье при трудоспособном отце и нетрудоспособных братьях.

**Может, к истории Опочки это и не имеет прямого отношения, а все же... Уроженец Опочецкого уезда крестьянин С.А. Гусев, работавший в мастерских компании «Пламябой», изобрел огнезащитные составы и краски, которые прошли многочисленные испытания на механических и судостроительных заводах и железнодорожных станциях. Результаты были очень хороши, и в девятьсот девятом году на столичной выставке «Новейших изобретений» изобретенные Гусевым составы получили золотую медаль. Мало того, главное инженерное управление министерства обороны рекомендовало изобретателю разослать предложение о применении таких составов и красок во все подведомственные управлению подразделения, что Гусев и сделал. Своею Псковскую губернию он тоже не забыл и написал письмо губернатору графу Адлербергу. Что ответил ему губернатор – неизвестно. Как сложилась дальнейшая судьба изобретения и самого изобретателя – тоже неизвестно. Оно и хорошо. Не ровен час, краски эти военные по своему невежеству не стали бы покупать, а граф Адлерберг и вовсе не обратил бы на письмо внимания, и Гусев загрустил бы, впал в меланхолию и, не дай Бог, запил. Будем думать, что все окончилось хорошо, и только в семнадцатом году, когда все рухнуло, Гусев, к тому времени разбогатевший и ставший хозяином собственного небольшого лакокрасочного заводика, был разорен и только после этого загрустил, впал в меланхолию и запил.

³²Больница была рассчитана на полсотни коек, работало два врача и четыре фельдшера. Всего на сто сорок тысяч населения уезда, включая Опочку, было восемь врачей и двадцать фельдшеров. Теперь в Опочецкой межрайонной больнице и в ее Красногородском филиале двадцать шесть врачей на пятнадцать тысяч человек, проживающих в Опочецком районе, и на девять тысяч жителей собственно Опочки. Почти по одному врачу на тысячу человек.

³³Петр Александрович Гейден многое сделал для Опочки и уезда и постоянно содействовал открытию в уезде и Псковской губернии школ, народных училищ, больниц и дорог. Опочане поддерживали графа на выборах в Первую Государственную Думу в девятьсот шестом году. В Думе Петр Александрович был инициатором создания центристской Партии мирного обновления, выступавшей за конституционную монархию и двухпалатный парламент, за принудительный выкуп помещичьих земель и передачу их безземельным крестьянам, за прогрессивное налогообложение и за все хорошее против всего плохого, но время было такое, когда на мирное обновление... нет, надежды еще были, но уже напрасные и несбыточные. Осталась нам на память о Петре Алексан-

дровиче Гейдене фотография, где граф сидит, красиво сложа руки, между членами ЦК своей партии, среди которых и князь Трубецкой, и граф Беннигсен, и миллионер Рябушинский, и еще дюжина хорошо одетых мужчин с аккуратно расчесанными бородами и усами, да еще статья Ленина «Памяти графа Гейдена», где он называет его «типичным контрреволюционным помещиком».

³⁴После семнадцатого года последний городской голова Опочки был лишен гражданских прав. Ему пришлось поменять и работу, и адрес. В конце двадцать пятого года Селюгин принимает участие в Первом Всесоюзном кинологическом съезде в качестве судьи, и с тех пор судит соревнования гончих. Он даже пишет книгу о гончих, но дописал ли он ее, или нет – неизвестно. Следы его теряются. Хранитель фондов Опочецкого краеведческого музея Александр Владимирович Кондратеня рассказал мне, что летом двадцать первого года музей получил письмо от правнука последнего опочецкого городского головы, в котором тот писал, что его прадеда вместе с двумя старшими сыновьями арестовали и репрессировали как участников Белого движения. Селюгин, понимая, что и остальных сыновей не оставят в покое, заранее официально отказался от среднего сына Глеба, которого потом усыновил архитектор Лев Владимирович Руднев. Так что понятно, где теряются следы Владимира Александровича Селюгина – или в лагерях, или...

³⁵Нынешний усадебный дом – уже третий, выстроенный на старом фундаменте идейным наследником барона Розена Семеном Степановичем Гейченко, напоминает молельный. Туристы напоминают прихожан, а экскурсоводы священнослужителей. Судя по манере экскурсоводов держаться, сами о себе они именно так и думают. Никто не знает, в каких интерьерах здесь жил Пушкин – на какой кровати спал, из каких тарелок ел, за каким столом писал, но все это не имеет, в сущности, никакого значения. Молельный дом построен для тех, кто принадлежит к Пушкинскому согласию. Удивляет только то, что в щели между досками, которыми обшит дом, поэты не засовывают записочки с просьбами о хороших рифмах, о множествах читателей. Почему этого не делают все остальные, прося у Александра Сергеевича удачи в амурных делах или секрета карточной игры в фараон или в преферанс, тоже непонятно. Почему памятник не обмазывают жертвенной кровью редакторов, корректоров и литературных критиков? Почему к подножию Нашего Всего литераторы не приносят рукописи, чтобы они отлежались и сами собой исправились? Почему никто не продает заговоренных на шестистопный ямб или хорей перьев, свечек, не записывает имена тех поэтов и писателей, кого нужно занести в поминальный или заздравный список, или тех, кого нужно отлучить и предать анафеме? Пора бы, наверное, уже избрать первосвященника, чтобы он шестого июня служил праздничный молебен. Его бы избирал пожизненно совет из... Нет, совет нельзя – все в нем перегрызуся насмерть. Пусть лучше министерство культуры назначит своим приказом. Все будут страшно недовольны и даже оскорблены таким назначением и объединятся в ненависти к назначенцу. Почему до сих пор министерство культуры... Короче говоря, вопросы, вопросы, вопросы... хотя с министерством как раз все понятно.

³⁶Математику и латинский язык преподавал в школе Кушель Исаакович Кикоин, а его сын Исаак – будущий академик, дважды Герой труда, лауреат многочисленных премий, заместитель самого Курчатова в Институте атомной энергии и один из создателей этого института, изобретатель магнитных взрывателей для противотанковых мин, за которые он получил первую Сталинскую премию в сорок втором году, первооткрыватель гальваномагнитного эффекта в жидких металлах и фотопьезоэлектрического эффекта – учился в этом время в опочецком реальном училище. Между тем мемориальной доски, посвященной Кикоину, в Опочке нет, а зря.

³⁷Олег Васильевич Жутовский, сын опочецкого кучера и член РСДРП с четырнадцатого года, смог избежать участи многих старых большевиков и умереть своей смертью в январе тридцать шестого года. Репрессии его не затронули. После того как он стал председателем уездного ревкома, а потом исполкома, назначили его уездным военным комиссаром. Воевал он с Колчаком, боролся с бандами на Кубани и на Северном Кавказе и даже был комиссаром одного из кораблей Балтфлота. После окончания Гражданской войны учился в ленинградском дорожном институте, недолго работал в Ленинграде и в тридцать четвертом был направлен в Опочку, где два года

до самой смерти работал в скромной должности начальника районного дорожного отдела. В год смерти Жutowскому исполнилось всего сорок шесть лет. Похоронили его на древнем крепостном валу, где новые власти, видимо, вдохновившись революционными некрополями на Марсовом поле и у Кремлевской стены, устроили братскую могилу борцов за светлое будущее человечества.

Жutowский не был первым, кого похоронили на валу. Первым, еще весной девятнадцатого года, похоронили убитого начальника милиции одной из волостей Опочецкого уезда Д.С. Предз, а уже летом того же года стали обустраивать братское кладбище. Утвердили смету и устроили субботник членов городской парторганизации. В мае двадцать второго года в Опочке проходил праздник «древонасаждения». Деревья сажали на городском валу. Сначала полтора десятка сидельцев из местной тюрьмы, которая тогда называлась исправдомом, провели подготовительные работы, а уж потом свободные граждане Опочки «силами Всеобуча и добровольным участием членов профсоюза» посадили деревья. Через год на валу посадили шестьдесят каштанов. Обычно в первые годы Советской власти после демонстраций и митингов опочане отправлялись, как писала газета того времени, «на братские могилы для воспоминаний о погибших борцах революции».

За могилами, однако, нужно было ухаживать, и райком партии регулярно выносил решения о благоустройстве этого места, но... все зарастало травой. Впрочем, время от времени устраивались субботники, и все приводили в порядок. Внизу, у подножия вала находился Летний театр. Он там был еще с дореволюционных времен, и когда наступил НЭП, его сдали в аренду артистам. По условиям аренды артисты и должны были ухаживать за могилами, но... не ухаживали. Мало того, в двадцать третьем году в здании театра по просьбе артистов уездный исполком разрешил открыть карточный клуб. Это было доходное предприятие – уисполком получал от него до двухсот золотых рублей в месяц, и даже рекомендация инспектора губисполкома* перенести карточный клуб в другое место на решение уисполкома не повлияла. К картам добавился буфет, лото и стрелковый тир. Гулять и играть в карты на валу власти разрешали до двух часов ночи.

Теперь там тихо и в карты никто не играет. Деревья, посаженные почти сто лет назад, стали большими. Город победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и благоустроил вал и территорию, на которой когда-то располагалась средневековая Опочка. Братскую могилу «красных борцов» тоже привели в порядок. Она очень скромная, эта могила – небольшое цементное основание, выкрашенное голубой краской, а на нем белый обелиск не выше человеческого роста с надписью «Вечная память» и черной табличкой, на которой белыми буквами написаны фамилии и инициалы похороненных: Аляева В.В., Громова В.В., Ефимова С.Е., Жutowского О.В., Игнатьева И.И., Петрова, Предз Д.С. и Тиханова. У фамилий Петрова и Тиханова инициалов нет, и спросить их сейчас не у кого. На цементном основании стоят две погасших церковных лампы красного стекла.

*Рекомендуя перенести карточный клуб из здания театра, инструктор губисполкома писал: «дабы не совмещалась в одном помещении культурная и антикультурная работа».

³⁸В августе восемнадцатого года было много разных событий. Были крупные, были не очень, были совсем мелкие, никак не повлиявшие на ход событий в самой Опочке. Например, двадцать третьего августа, в Новоржеве, по решению местной ЧК, житель деревни Гришино Жадринской волости Опочецкого уезда Самуйлов был расстрелян за контрреволюционную деятельность. Служил Самуйлов до того, как попал в Новоржевскую ЧК, лесоводом в лесном подотделе Опочки.

Уж как он вредил делу революции – сказать трудно. Может, путал цифры в отчетах, может, плохо готовился к посеву семян древесных и кустарниковых пород, может... но почему он попался чекистам в Новоржеве? Почему его не арестовали по месту работы в Опочке или дома в деревне Гришино? Может, приехал Самуйлов из своей деревни в Новоржев вредить Советской власти и попался? Почему же тогда его не отправили под конвоем домой, в Опочку, а расстреляли в Ново-

ржеве... Неужто не нашлось бы в Опочке восемнадцатого года беспощадного к врагам революции человека, у которого рука не дрогнула бы расстрелять контру?

Или вот еще два случая. В начале мая девятнадцатого года Псковский военно-революционный трибунал во время выездной сессии в Опочке приговорил к расстрелу бывшего военного комиссара Глубоковской волости за самочинство, вымогательство и насильственные действия в отношении граждан. Заведующему лошадьми Опочецкого уездного военкомата повезло. Ему за казнокрадство и укрывательство преступлений дали всего два года общественных работ с содержанием под стражей.

³⁹Собрание прошло двадцать пятого октября под председательством Алексея Петровича Березина, а уже десятого ноября первый председатель опочечкой парторганизации застрелился. Незадолго до всех этих событий Березин по приказу председателя уездной ЧК Михайлова вместе с приданной ему ротой красноармейцев отправился в уезд наказывать жителей двух соседних деревень Альгово и Пуршево за издевательства над красноармейцем. Приказ был деревни окружить, крестьянам за двадцать минут покинуть свои дома, а в случае неповиновения деревни сжечь и открыть огонь на поражение. С какой целью нужно было в такие короткие сроки выводить крестьян из домов, уже не узнать. Документов об этом не сохранилось, но и без документов понятно, что не для танцев и не для лекции о международном положении.

Березин ничего из этого делать не стал, а собрал крестьян, опросил их, установил виновных в издевательствах над красноармейцем и приказал избить их шомполами. Тут же была таким же образом наказана за мародерство при захвате деревень часть красноармейцев. Крестьяне на красноармейцев написали жалобу в Опочечкий исполком, исполком настулал телеграмму в вышестоящие органы, а вышестоящие органы назначили комиссию по расследованию происшествия. Березин мгновенно превратился из свидетеля по делу в обвиняемого, и дело пошло к его аресту. Извинения крестьян перед Березиным и даже поддержка опочечких партийцев ему не помогли и... он застрелился. После его смерти ходили слухи, что он и провокатор, и немецкий шпион, и чуть ли не стрелял в председателя уездной ЧК, но промахнулся и тут же застрелился.

После того, как Алексей Петрович застрелился и председатель опочечкой ЧК выступил на собрании опочечкой организации РКП(б), опочечкие большевики призвали своих соратников по партии в похоронах Березина не участвовать. Хоронила его местная больница, но где похоронила...

⁴⁰Одна из коммун была устроена в имении «Высокое», принадлежавшее до семнадцатого года Петру Александровичу Яновичу. В семнадцатом году крестьяне его по какой-то причине не разгромили, а в восемнадцатом национализировали, и бывшие батраки устроили там коммуны. Коммунарам досталось все – жилые и хозяйственные постройки, скот и большой арсенал орудий для обработки земли, среди которых были, кроме косилок, конных грабель и джигины борон, одиннадцать пароконных шведских плугов. Кроме того, имелась паровая молотилка с локомотивом, нефтяной двигатель, сепаратор, телеги, сани, два десятка коров, три быка, три нетели, пятнадцать лошадей... Короче говоря, коммуна, в которой было почти семь десятков едоков, была всем обеспечена и могла не покупать новых орудий, как приходилось это делать другим коммунарам. Сам Янович подумал, подумал и... вступил в коммуны. Не пахарем, конечно, а секретарем коммуны и членом ее правления. Земельного надела, как остальные участники коммуны, Янович не получил. Через четыре года специальная комиссия по поручению губернского земельного управления стала проверять состояние дел в коммуне. Оказалось, что за четыре года своей работы коммуна сдала государству и местным продорганам почти полторы тысячи тонн ржи, две с лишним сотни пудов ячменя... не будем все перечислять. То, что коммуна сверх нормы в девятнадцатом году выдала Опочечкому продкому пятьдесят пять пудов соломы, тридцать пудов капусты детскому дому, шестьдесят пудов сена воинской части, двадцать один пуд картофеля голодающим детям Поволжья*, мы тоже оставим за кадром. Комиссия пришла к выводу, что дела в коммуне обстоят не так уж и плохо, но с культурно-просветительской работой просто беда – газеты не выписываются, коммунары обедают не в общей столовой, а дома, часть скотины, и немалая часть, все же

находится в личном, а не в общественном пользовании коммунаров, должного отчета и отчетности нет, собрания крайне редки. Комиссия рекомендовала по результатам проверки коммуны переименовать в артель. Что касается Яновича, то он жил скромно. Земельного надела и сельскохозяйственного имущества, как уже было сказано, вообще не имел и в аренду, что советской властью, мягко говоря, не приветствовалось, другим коммунарам или крестьянам их сдать не мог. Вся его земля и все имущество отошло коммуне, но... в двадцать четвертом началась кампания по выселению из усадеб их бывших владельцев, и хотя Опочечская комиссия в марте двадцать пятого года решила Яновича не выселять, губернская комиссия уже через два месяца это решение отменила и постановила «Выгнать из артели, выселить из имения, как антисоветский элемент». Сначала решили оставить Петра Александровича в уезде, но Опочечский уезд был приграничным, и Псковский губисполком еще через месяц посчитал необходимым «произвести полное выселение из пограничных уездов в другие уезды губернии всех бывших помещиков, находящихся в принадлежавших им до Октябрьской революции имениях». В сентябре Яновича выселили. При выселении выселяемым можно было взять с собой только личные вещи, продукты, домашнюю утварь, книги и мебель. У Яновича ничего другого и не было. Собрал он свои вещи и уехал в Ленинград**. В начале тридцатых годов работал заведующим хозяйством химической лаборатории геологоразведочного института цветных и благородных металлов. В тридцать пятом его арестовали и выслали в Соликамск. Там он еще поработал два года на базе того же института, а потом его снова арестовали и приговорили к десяти годам без права переписки, то есть к высшей мере наказания. Тогда же, в тридцать седьмом, его и расстреляли, а родственникам на все запросы отвечали, что работает Петр Александрович в отдаленном лагере и только в девяносто первом году они получили справку о расстреле.

Что до коммуны, то она еще просуществовала после двадцать пятого года десять лет и даже приобрела трактор «Фордзон», сложносочиненную молотилку и многорядную сеялку, но приехавшая в очередной раз, уже в тридцать первом году, в коммуны комиссия отметила, что «Живут коммунары каждое семейство в отдельности, размер жилья соответствует числу членов семьи; в каждой квартире имеется плита для варки пищи. Коммунары сознают, что много тратится зря времени на варку пищи для каждой семьи особо и мечтают об устройстве общей кухни и столовой. Но на это требуется до 500 руб., а таких средств у коммуны нет». Далась им эта общая кухня... Ну, и конечно, плохо ведется культурно-просветительная работа. Помещение для нее есть, а ведется плохо. В конце двадцать девятого года в редакцию «Псковского набата» стали поступать жалобы на председателя коммуны Рокачева – и самокритику он зажимает, и травит члена коммуны (оскорбил одну из батрачек и, таким образом, «искривил классовую линию»), и восемь тонн капусты сгнил, и кормушек для скота не сделал, а это уже пахнет вредительством. Районные власти создали комиссию, комиссия приехала, факты подтвердились, Рокачева от работы отстранили, а за оскорбление члена коммуны и вовсе отдали под суд. Саму коммуны перевели в разряд сельхозартели.

Теперь не осталось ни артели, ни самой усадьбы «Высокое». Только и есть, что часть парка, зарастающий пруд и немного развалин.

*Отдельно скажем и о голодающих Поволжья. В двадцать первом году по городу и уезду для них собрали 562 пуда хлеба, 3079 пудов овощей, семь платьев, два пальто, дюжину блуз, шесть шаровар, рулон сукна, 23 115 027 рублей деньгами и один серебряный брелок. Опочка и уезд в конце двадцать первого и в начале двадцать второго года приняли триста двадцать детей из голодающих районов. Только из Поволжья больше двухсот. Размещали в городских и волостных детских домах. Попавших по распределению в деревни, крестьяне охотно брали на полевые работы.

И еще. Под предлогом помощи голодающим и на основании специального постановления ЦИК, в Опочке началось изъятие церковных ценностей. Местная печать писала о равнодушном отношении церкви к голодающим, а церковь в лице протоиерея одного из местных храмов им

возражала с цифрами в руках. К примеру, один Святогорский монастырь пожертвовал голодающим 27000 рублей, но кого тогда интересовали эти цифры...

******В двадцать шестом году из Опочецкого уезда было выслано восемнадцать бывших помещиков.

⁴¹Кстати, скажем и об опочечких евреях. В первой половине двадцатых годов их проживало в Опочке 526 человек. Они были на втором месте после русского населения. Все остальные национальности, среди которых были украинцы, белорусы, поляки, латыши, эстонцы, татары и немцы, были представлены небольшими группами от тридцати до ста человек. Всего же в Опочке по городской переписи двадцать третьего года проживало 6731 чел. Что же касается домов, в которых жило опочечское население, то они как были в массе своей деревянными – так и остались. Из 836 жилых домов всего 51 дом был каменным и еще 25 домов смешанного типа. Три четверти домов были одноэтажными. Отопление, само собой, везде было печное, а об освещении и говорить нечего – из 1226 городских квартир только 12% имели электрическое. Пусть и деревянная, пусть и одноэтажная Опочка была хороша. В двадцать третьем году в Опочку приехал псковский журналист Березский. В своем очерке о городе он писал: «Сколько ни глядявайся с островского шоссе, подъезжая к Опочке – города целиком не увидишь. Он утопает в зелени и напоминает или большую красивую деревню, или дачное место, вроде Петергофа». Надо отдать должное новой власти – она занялась благоустройством Опочки. Капитально отремонтировали мостики на улицах, прокладывали новые, теперь уже бетонные трубы, в городском саду почистили дорожки, установили несколько десятков скамеек, вместо снесенных наводнением мостов через Великую построили новые.

В двадцать пятом году открыли и автобусное сообщение с Псковом. Между Опочкой и Псковом курсировали шесть автобусов «Форд». Правда, работал этот маршрут всего два года. В двадцать седьмом он закрылся.

Пишет Березский и о промышленных предприятиях города, которые, строго говоря, и предприятиями назвать сложно. В двадцать третьем их было 72 и работало на них 579 рабочих. То есть на каждом из этих, с позволения сказать, индустриальных гигантов работало в среднем по восемь рабочих. Это был прогресс, и существенный по сравнению с 1886 годом, когда на тридцати предприятиях работало девяносто три человека. Что касается электричества, то освещала город опочечкая гидроэлектростанция. Фактически это была мельница на реке Великой. Работали на ней турбины Жонваля – те самые, которые выпускал турбинный завод, тогда еще работавший в селе Захино. Сначала освещались только общественные здания, а в двадцать первом году стали подключать и частные квартиры. Тут же образовалась артель, которая этим занималась. Только денег они за свою работу не брали. Брали продуктами.

Впрочем, мы отвлеклись от евреев, с которых начали. Перед тем как потребовать от горсовета немедленно закрыть синагогу, еврейское население Опочки несколько лет просило власти открыть национальную еврейскую школу первой ступени. В двадцать девятом эта просьба во время выборов в горсовет была включена в наказ депутатам. Потом собрали общегородскую конференцию еврейского населения и приняли резолюцию в поддержку национальной политики Советской власти и снова просили открыть школу. Писали, что «с открытием советской школы будет нанесен окончательный удар хедеру (религиозной школе), который продолжает еще калечить еврейских детей в Опочке». После этого собрался президиум горсовета и... школу так и не построили.

⁴²Театральный кружок помещался в здании Дома социалистической культуры, построенного на месте разрушенных Успенской и Владимирской церквей. Ну, это так, к слову. Деталь, которая общей картины не меняет.

⁴³ Вот только на работу нельзя было опаздывать. Совсем. Служащий райфинотдела Васильев опоздал на полчаса на работу и получил по суду полгода исправительных трудовых работ. Сапожник артели «Красный сапожник» за прогул получил пять месяцев исправительных трудо-

вых работ и вычет пятнадцати процентов заработка в доход государства. Нельзя было и увольняться по собственному желанию. Рабочий Андреев, проработав в горкомхозе меньше месяца, вздумал уволиться из-за маленькой зарплаты и перестал ходить на работу. Получил четыре месяца тюрьмы.

⁴⁴В боях под Опочкой танковая дивизия СС «Мертвая голова» понесла такие потери, что немцы ее вывели из состава 56-го танкового корпуса и заменили 290-й пехотной дивизией, усиленной танками и артиллерией.

⁴⁵Немцы, когда заняли город, разместились в уцелевших каменных зданиях. Те из опочан, кто пытался эвакуироваться, но не смог из-за быстрого наступления немцев, вернулись к пепелищам. Кто-то переехал к родственникам в деревню, кому-то удалось поселиться в бараках, а кому-то пришлось жить в вырытых землянках.

⁴⁶ Из воспоминаний Павла Тихоновича Пильщикова, 1930 г.р., проживавшего в г. Опочке по улице Красногородской в д. № 46. «В первые дни войны хорошо запомнил бой на окраине Опочки, который вела с наступающими немцами небольшая группа наших бойцов. Особенно хорошо запомнил троих, так как они были рядом с нашим домом. Двое были у пушки, которая не стреляла, потому что нечем было: вместо снарядов там были ящики с гвоздями и мыло. Стреляли эти двое из винтовок, а один, тот, что помогал нам перебираться в окоп за школу, стрелял со второго этажа из окна. Бой этот произошел уже после того, как наши войска, оборонявшие Опочку, отошли с боями, а эти люди, видно, прикрывали их отход.

Хорошо помню, что перед боем в наш дом заходил командир Красной Армии и предупредил мою мать, что скоро здесь будет бой с врагом, который уже подходит к городу... Утром, действительно, был бой, сильный и неравный, наши герои бились до последнего. Немцы шли со стороны хлебного поля и огородов и никак не могли преодолеть открытое пространство, так как из здания школы по ним строчил наш пулемет. Много немцев было побито, солнце уже было на склоне дня, а пулеметчика никак не могли взять.

Потом немцы подтянули орудие и выстрелили из него по школе. Одним из выстрелов прямым попаданием был убит боец, который находился около нашего дома, один снаряд попал в угол школы, захватил край окна, из которого стрелял герой. Пулемет замолчал, а пулеметчика или выбросило волной, или он сам выпрыгнул из окна, но он побежал, падал, поднимался, опять бежал к дороге, где еще были бойцы. До дороги он добежал, скатился в кювет, но был вытащен немцами на штыках. Не знаю, был он еще жив или уже мертв, но враги били его ногами, кололи штыками в грудь, что-то кричали, а потом оставили в кювете, сами ушли. Мы, мальчишки, видели еще одного командира, который лежал под деревом впереди с выколотыми глазами и поколотый штыками.

Когда стемнело, жители дома № 31 по улице Красногородской (дед и его две сестры Новиковы) похоронили его в своем огороде.

Я с тремя своими друзьями был после боя (уже позже) в школе на том месте, где был наш пулеметчик, трупов там не было. Пулемет «Максим» был разбит, кругом валялось много пустых пулеметных лент, четырнадцать пустых коробок из-под лент. На дороге в тот день валялось много фашистов, было даже не пройти, долго немцы своих убирали потом.

На 20-летие военкоматом было произведено перезахоронение. Хоронили с почестями, останки пулеметчика были перезахоронены на Троицком кладбище. Нашли записку в патроне, остатки офицерской портупеи. По фотографии, предъявленной нам, мы опознали героя (это было в 1985 году), им оказался Левинец Иван Поликарпович, политрук 46-мотострелкового полка 46-танковой дивизии». Сорок пять лет он числился пропавшим без вести. Вместе с политруком погибло еще пять добровольцев. Их имена так и остались неизвестными.

⁴⁷Первые два названия понятны и без перевода. *Perlenstra e* и *Landstra e* – Жемчужная и Береговая улицы.

⁴⁸Бургомистром Опочки был агроном Буржинский. Сын его, не выдержав... сложно сказать,

чего он не выдержал – то ли укоров совести, то ли попреков окружающих... застрелился, а его родители в сорок четвертом ушли с отступающими немцами в Германию и после окончания войны из Германии перебрались в США. Остался от супругов Буржинских в Опочке дом, построенный бургомистром за годы оккупации. До сих пор стоит на улице Ленина.

⁴⁹Тело Баси Малк после казни висело еще несколько дней – оккупационные власти не позволяли его снимать. Потом его разрешили снять евреям, и они увезли труп из города и закопали его возле деревни Песчивка, примыкающей к Опочке. После войны опочечские краеведы нашли место захоронения Баси Малк и в шестьдесят седьмом году там поставили ей памятник. В ограде памятника установлена памятная доска, на которой написано «Малк Бася Савельевна. Мужественная отважная комсомолка – жена советского офицера. Повешена немецкими оккупантами в Опочке на центральной площади». Внутри ограды небольшой черный обелиск с шестиконечной звездой и надписью на иврите «да будет включена душа ее в список для воскрешения» и даты рождения и смерти. В том же шестьдесят седьмом году приезжали в Опочку две оставшиеся в живых после войны сестры Баси Малк – Сара и Эстер. В одной из опочечских школ был даже пионерский отряд третьеклассников, носивший имя Баси Малк.

⁵⁰В сентябре сорок пятого приговором военного трибунала войск НКВД Сердитов был осужден и приговорен к высшей мере наказания. Тогда же и был расстрелян. Через пятьдесят три года его родственники подали заявление с просьбой о его реабилитации. В заявлении Сердитов был представлен «невинной жертвой сталинских репрессий». Отказали родственникам.

⁵¹Родители Бориса Каминарова вернулись в Опочку после ее освобождения. Сын не хотел к ним возвращаться – он был на них обижен за то, что они его оставили в оккупации. Эта обида так и не прошла у него. Некоторое время жил у Евгении Ивановны. Ее он называл мамой даже в присутствии своей собственной матери. После окончания семи классов Боря поехал поступать в ленинградский железнодорожный техникум. Евгения Ивановна поехала вместе с ним. Потом он закончил техникум и переехал в Великие Луки. В Опочку к Евгении Ивановне он приезжал часто – сначала один, а потом и вместе с семьей. Приезжал ли он к родителям – не знаю. Наверное приезжал. Уж заходил-то наверняка.

⁵²Теперь там торговый центр, а рядом, в соседнем здании, находится кафе «Колибри», где подают отличный наваристый борщ и пекут хачапури по-аджарски. По воскресеньям там спиртного не продают, но распивать не запрещают. Я только рот открыл, чтобы узнать, как официантка посоветовала мне сбежать в «Маяк» за водкой, пока варят борщ, делают долму и пекут хачапури, что я и сделал. Стопку она мне принесла не тогда, когда я попросил, а сразу же, как только увидела, что я вернулся из магазина и сел за стол. Много вы найдете в столице мест с такими понимающими официантами? То-то и оно.

⁵³На самом деле, никто не знает – приезжал или нет. Опочане уверены, что приезжал, и не раз, но... может, и не приезжал. Главное, что в стихотворении упомянул. И Опочка в этом стихотворении навсегда. Как, собственно, и в нашей истории, поскольку она не остров, а часть материка, который называется Россией.

Библиография

- Л. И. Софийский Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–1914 гг.). Псков, 2013. С. 232.
- И. И. Лагунин. Город-крепость Опочка по архивным источникам 1414–1698 гг. Архитектура и градостроительство // Псков. 2018. №48. С. 3–37.
- Я. Н. Рабинович. Незвестные страницы истории Псковских пригородов Опочки и Себежа XV–XVI веков // Изв. Сарат. Ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2016. Т.16, вып. 3. С. 262–269.
- А. Р. Артемьев. Памятная надпись с именами посадников псковского пригорода Опочка в 1428 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб, 1994. С.57–62.

- А. Н. Лобин. Оборона Опочки. 1517 г. «Бесова деревня» против армии Константина Острожского. Москва: Фонд «Русские Витязи», 2017.
- В. А. Аракчеев. «Смутное время» и Псковская земля (1608–1612 гг.) // Псков. 2003. № 18. С. 49–60.
- А. В. Зорин. Александр Юзеф Лисовский: герой Смутного времени [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. 2012. Т. III. С. 1–203. URL: <http://www.milhist.info/2012/10/26/zorin>
- О. Ф. Кудрявцев. Карта Московской Руси Антона Вида и Ивана Ляцкого // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 2. С. 40–57.
- А. М. Гордин. «...На Опочке над Великою рекою» Исторический очерк // И путешествие в Опочку...: Альманах / Сост.: Е. В. Васильева и др. – Псков Опочка: Изд-во Псков. обл. ин-та повышения квалификации работников образования, 2000. С. 7–27.
- А. А. Михайлов. Артиллерия Опочки В XVII в. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы ежегодной научно-практической конференции. [Электронный ресурс]: URL: <https://arheologi.livejournal.com/118946.html>
- И. П. Бутырский Опыт древней истории города Опочки. Псков: Изд. Н.И. Кукольника, 1879. С. 148.
- И. И. Лагунин. Иван Егорович Старов для Опочки // Веретено событий, судеб. Материалы XI историко-краеведческих чтений 2019 года. Опочка, 2020. С. 59–76
- Н. И. Васильев, А. В. Степанов, Т. Ф. Федоров. Опочка. Путеводитель. Л.: Лениздат, 1973. С. 38.
- Опочка: события и люди (к 600-летию со времени основания города Опочки) / Авт.-сост. Н. М. Кург, О. С. Григорьева, Г. В. Гуль, В. А. Горохова. Опочка, 2014.
- А. А. Шумков. Опочане в лейб-компании императрицы Елизаветы Петровны // Памятью жива Россия. Материалы историко-краеведческих чтений 2013 года. Опочка, 2014. С. 4–18.
- В.М. Севергин Записки путешествия по западным провинциям Российского государства, или минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда через оныя в 1802-1803 гг. СПб.: Императорская Академия Наук, 1803-1804: Ч. 2. Продолжение записок путешествия по западным провинциям Российского государства или Минералогическая, Технологическая и другие примечания, учиненные во время проезда через оныя в 1803 году, Академиком, Коллежским Советником и Ордена св. Анны второго класса Кавалером Василем Севергиным. С. 168.
- А. М. Гордин. Опочечкий мещанин и медного дела мастер // Потомкам древнерусской Опочки. Материалы историко-краеведческих чтений 2010 года. Опочка, 2011. С. 9–15.
- В. Н. Лещиков. Малые народные училища Псковской губернии (1783–1803 гг.) // Псков. 2016. № 45. С. 106–115.
- М. Ламберг. Столетие Опочечкого городского 4-х классного училища 1787–1887. Псков. С. 68.
- И. И. Лапин. Дневник Ивана Игнатьевича Лапина. Псков, С. Михайловское: Робин, 1997.
- И. И. Лагунин. Почтовая станция на Киевском шоссе в городе Опочка // Память кружит былое. Материалы XI историко-краеведческих чтений 2016 года. Опочка, 2017. С. 69–77.
- Л. Я. Костючук. Неизвестная рукопись середины XIX века об Опочечкой земле как ценный источник материала для «Псковского областного словаря» // И дышит каждая строка историей моей земли. Материалы X историко-краеведческих чтений 2018 года. Опочка, 2019. С. 53–57.
- В. В. Карпова. Социальный портрет земского учителя Псковской губернии в конце XIX – нач. XX вв. // Тайны прошедших веков. Материалы историко-краеведческих чтений 2017 года. Опочка, 2018. С. 52–60.
- Л. А. Фролова. Опочечское вольное пожарное общество. // России малая частица. Материалы историко-краеведческих чтений 2009 года. Опочка, 2010. С.48-52.
- Л. А. Фролова. Сельские пожарные дружины Опочечкого уезда // Потомкам древнерусской Опочки. С. 69–72.
- Л. А. Фролова. Из истории профессиональной пожарной команды и меры по предупреждению пожаров в г. Опочка. (1802–1917 гг.) // Потомкам древнерусской Опочки. Материалы историко-краеведческих чтений 2011 года. Опочка, 2012. С.142–148.
- Е. М. Федорова «...Возвращение на родину признается еще рановременным». Ссылные горы в Псковской губернии. 1862–1880 гг. // Отечественные архивы. 2004. №3. С.66–93.
- Н. Ф. Левин, Е. Г. Киселева. Из дореволюционной истории Опочечкой общественной библиотеки имени Пушкина // Родной земли история живая. Материалы историко-краеведческих чтений 2014 года. Опочка, 2015. С. 44–46.

- К. К. Случевский. По Северо-Западу России. Том 2. По западу России. СПб., 1897. С.252–255.
- В. Т. Кузьмин. Гребеневское ссудо-сберегательное товарищество Опочецкого уезда: возникновение, развитие и крах кооператива // Псков. 2014. №41. С. 50–59.
- А. В. Кондратеня. Общественные организации г. Опочка и его уезда в начале XX века // Родной земли история живая. Материалы историко-краеведческих чтений 2013 года. Опочка, 2014. С. 33–35.
- А. В. Кондратеня Опочецкий кружок охотников // Потомкам древнерусской Опочки. Материалы историко-краеведческих чтений 2009 г. Опочка, 2010. С. 28–31.
- А. В. Филимонов Турбиностроительный завод братьев Тиме и его судьба // Псков. 2006. №24. С.120–124.
- А. В. Кондратеня. К истории строительства железнодорожной линии Псков – Полоцк (через Опочку) // И дышит каждая строка историей моей земли. С.41–48.
- Памятная книжка Псковской губернии на 1867 год: Адрес-календарь и статистическо-справочные сведения / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография губернского правления, 1867
- Памятная книжка Псковской губернии на 1888 год: Адрес-календарь и статистическо-справочные сведения / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография губернского правления, 1888.
- О. С. Григорьева. Автопробег Санкт-Петербург – Киев – Москва – Санкт-Петербург 1910 года. Остановка в Опочке // И дышит каждая строка историей моей земли. С. 33–35
- А. А. Михайлов Помощь жителей Опочки действующей армии в первые годы Первой мировой войны. 1914–1915 гг. // Памятью жива Россия. Материалы историко-краеведческих чтений 2012 г. Опочка, 2013. С. 59–67.
- А. В. Филимонов «Красный погост» на Опочечком валу // Из глубины веков. Материалы историко-краеведческих чтений 2015 г. Опочка, 2015. С. 107–113.
- С. А. Алексеев, А. В. Кондратеня. Опочка 1917–1941. Сборник статей и материалов. Псков, 2012.
- А. В. Филимонов. «Высокое»: от имения к коммуне // России малая частица. Материалы историко-краеведческих чтений 2008 года. Опочка, 2009. С. 42–47.
- А. В. Филимонов. Начало закрытия опочечских храмов (конец 1920-х гг.) // Подвиги славных предков. Материалы историко-краеведческих чтений 2012 г. Опочка, 2013. С.67–71.
- А. В. Филимонов. Из жизни уездной Опочки 20-х годов // Потомкам древнерусской Опочки. Материалы историко-краеведческих чтений 2011 года. Опочка, 2012. С. 134–140
- А. С. Алексеев. Опочка, 1941-й. Начало войны. Псков, 2018.
- В. В. Карпова. Опочка в период гитлеровской оккупации // Псков. 2008. № 28. С. 229–236.
- М. Васильева. О мужестве отважной комсомолки Баси Малк // Потомкам древнерусской Опочки. Материалы историко-краеведческих чтений 2010 года. Опочка, 2011. С. 14–16.
- Д. Ершова. Холокост в Опочке по воспоминаниям очевидцев // Потомкам древнерусской Опочки. Материалы историко-краеведческих чтений 2010 года. Опочка, 2011. С. 22–24.
- А. В. Кондратеня. Еврейское население Опочки // Псков. 2011. № 34. С. 118–121.
- О. С. Григорьева. Новые имена Праведников Народов Мира: Е.И. Иванова и И.Е. Ефимов // Подвиги славных предков. С. 21–25.
- Новая жизнь в Опочке //За Родину (Псков). № 67. 26 ноября 1942.
- Опочка обновляется // За Родину (Псков). № 74. 4 декабря 1942.
- Театр в Опочке // За Родину (Псков). №202. 31 августа 1943.
- Акт Опочецкой районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. 29 ноября 1944 года. ГАВЛ. Ф. Р-1691. Оп. 8. Д. 10. 106–114.
- Л. С. Симкин. Коротким будет приговор. М.: Зебра Е, 2015.

Полина ЖЕРЕБЦОВА

ВОСЕМНАДЦАТЬ РАССКАЗОВ
О ЖИЗНИ

Татьяна Леонтьева. Суп без фрикаделек. Нур-Султан: Фолиант, 2021. – 288 с.

Татьяна Леонтьева дебютировала в 2016 году с романом «Полтора килограмма соли», а в ее новую книгу «Суп без фрикаделек» вошли рассказы, собранные за последние несколько лет.

Питерские дожди нитями переплетают судьбы персонажей: поэты и бездельники, маргиналы и студенты, грозные вахтеры... Обычные окружающие нас вещи обретают реальные очертания. Невольно оказываешься в Санкт-Петербурге начала нулевых годов. Запутанные неведомые дорожки ведут в те места, где никогда не был, но лица вокруг узнаваемы, и чувствуешь прикосновение к настоящему, и сопереживаешь героям книги.

В первую очередь это книга об отваге, о вере в лучшее, о дружбе и, конечно, о любви: разве главная героиня отправилась бы в дальний путь исключительно в поисках знаний? Никогда! Полная надежд и мечтаний, в город на Неве приезжает абитуриентка. Ее приключения будут разными: это и учеба, и потерянный, а затем чудом найденный паспорт, и проходимцы, разыгрывающие схемы в традициях кота Базилио и лисы Алисы, с поправкой на культурную столицу, и ее первый мужчина.

Рассказы между собой связаны, в критике уже говорилось: «Это полноценный роман в рассказах»¹. Фигура главной героини объ-

единяет три основные линии: отношения ее с родителями, находящимися в разводе, поиск своего «я» и ее мужчины. Провинциалка из Томска хочет разгадать тайну жизни, коснуться ее светлых и темных сторон, без менторского тона, не вынося резких моралистических оценок ни себе, ни другим. Это важная черта: брать на себя роль не проповедника, а менестреля, воспевающего всех, кто встретился на пути со всеми их достоинствами и недостатками.

Что скажет мама? Что мне делать? Соврать? Сказать правду? Неужели мама меня ещё и оправдает после произошедшего? Как я объяснюсь перед отцом? Такие мысли занимают героиню в сложных для нее ситуациях. «– *Уйди! – говорит мама страшным голосом, и я ухожу в комнату пережить. Хочется свернуться в комок, превратиться в точку, исчезнуть. Всё противно, и я себе противна*». Татьяна переживает, что никогда ей не узнать правды, что же на самом деле произошло между родителями, почему они расстались, почему ее старшая сестра помнит любовь и заботу отца, а она – нет. Ведь отец многогранная и уважаемая личность, он фотографирует город с дельтаплана, занимается спортом, умеет строить колодцы и ремонтировать дома. Но у него другая жена и круглые упитанные кошки.

Татьяна уезжает из Томска и становится студенткой в Санкт-Петербурге, ей не приходится голодать – родители помогают финансово. Она знакомится с новыми людьми, флиртует с поклонниками, много читает, пробует себя в массовке на «Ленфильме»: рассказ «Местные жители» о съемках на Елагином острове. Фильм о Второй мировой войне. Толпа массовки мечется, полиция тащат партизан, которых будут казнить. Собаки по команде заливаются лаем, люди вокруг закрывают лица руками, а Татьяна, слушая участвовавший резкий стук своего сердца, заставляет себя не отводить взгляда от виселицы, всей душой ненавидя полицию, отдающего жестокий приказ. Но

¹ Татьяна Набатникова. «Суп без фрикаделек» Татьяны Леонтьевой // Год литературы. 04.05.2021. <https://godliterature.ru/articles/2021/05/04/sup-bez-frikadelek-tatiany-leontevoj>

как только тела партизан взмывают в воздух на специальных тросах, она, замерев от ужаса, закрывает глаза. В жизни иногда приходится наблюдать реальную или мультяшную смерть, мерзнуть, чувствовать чужие мучения. И если потом кто-то скажет вам, что этого не было, вы все равно будете помнить, что однажды все это случилось на самом деле.

По крышам в юности шагаются легко, и вот она на одной из них в оранжевом свитере, вместе со своим другом и с парнем, который этим вечером станет ее первым мужчиной. Петроградка, вдали виднеется Исаакиевский собор, маячит шпиль Петропавловской крепости, и они втроем, запечатленные на фото. «В первый раз лучше отжаться человеку, который не станет потом твоим мужем», – такая мысль, вычитанная из журналов, пришла к нашей современнице, юной Татьяне, совсем не из пушкинского времени. И это ее осознанный выбор. Парень не поступил в вуз, уехал, и затем они иногда, достаточно редко, виделись то в Москве, то в Питере, приветливо улыбались друг другу, а еще он ей читал стихи по телефону.

Ее первый законный муж привлекал в их малогабаритной квартирке питерских маргиналов. А женатый любовник героини был нерешителен долгие годы, и в два раза старше нее. Знакомый холостяк замирал от счастья, рассматривая часами вместе с нею фотографии жуков – Татьяна показывала ему и «жуков от мамы», за которыми та охотилась в Томске, чтобы запечатлеть на фото истории из удивительной жизни насекомых.

Рассказ «Пять дней, четыре ночи» вырывается из общей канвы повествования крутым поворотом, он о безудержной страсти и обреченности. Ему было сорок девять, а ей двадцать шесть. «Сегодня ты моя девушка. Идёт?» Нарушая предписанные обществом законы, можно украсть счастье только на четыре ночи, и героиня решает пойти на это, погружаясь в романтические отношения.

Рассказов в книге восемнадцать, и в каждом из них читатель пытается понять героев в пугающей острой правде их бытия.

Борис КУТЕНКОВ

ЭНЕРГИЯ СПОКОЙСТВИЯ

Лев Рубинштейн. Время политики. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. – 432 с.

«Политикой я не интересуюсь. Но что считать политикой? Если политика – это когда участковый рвётся в твою квартиру с целью “проверки паспортного режима”, то не интересоваться этим довольно затруднительно. Если политика – это захват заложников, взрывы домов, бомбардировки городов и зачистки сёл, то не замечать это – безусловный признак социального аутизма. А если политика – это отчётный доклад генерального секретаря на очередном съезде, то нормальный человек хотя бы из чувства умственной гигиены плотно закроет глаза и уши. И если политика – это совокупность и взаимодействие разного рода шкурных интересов разного рода лиц, называемых политиками, то вот это, уж извините, к нормальному человеку отношения иметь не может».

Это из книги эссе Льва Рубинштейна «Скорее всего» (АСТ: Corpus, 2013).

С тех пор, кажется, кое-что поменялось. И во взглядах эссеиста, и в окружающем нас мире. На дворе – «время политики», которая слишком навязчиво лезет в окна и двери. То есть – время, когда и «шкурные интересы» министров и депутатов, и их «отчётные доклады», а главное – язык, отражающий всё это, – ужасно интересны (здесь слово «ужасно» – не просто фигура речи). Время политики касается каждого здравомыслящего человека, и, думаю, на «социальный аутизм» (а значит, на игнорирование всего перечисленного) Лев Семёнович тоже посмотрел бы по-другому.

Он и говорит об этом. «Не знаю, кому как, но мне лично представляется затруднительным вполне дистанцироваться от происходящего. И это мое ощущение вполне разделя-

ется многими из тех, с кем мне приходилось общаться последнее время», – из новой книги.

Как и в прошлых сборниках, Рубинштейн – против. Но не как та самая баба-яга из анекдота, а – против общих мест сознания. Против навязывания официозной идеологии. Против диктуемых нам норм государственной пропаганды (зачастую весьма далёких от здравого смысла). Против забивания этой пропагандой индивидуальных ценностей. То есть – против того, за что вменяемому человеку быть, кажется, совершенно невозможно, но что, тем не менее, упорно преподносится нам средствами официальной риторики. Разделение на «мы» и «они» и апеллирование к негативному опыту бывшего СССР здесь важны: «Вспоминаю один из бесконечных разговоров тех лет. Кто-то из нас сказал: “Мы живем при советской власти”. “Да нет, – сказал другой, – уж скорее мы живем посреди советской власти. А она – вокруг нас”. Если “советскую власть” заменить, допустим, “особым путем”, “традиционными ценностями” и прочими “скрепами”, то примерно так же можно сказать и теперь». В этой независимости автор «Времени политики» схож с другим современным философом – Андреем Тавровым, который в одной из дискуссий, когда его собеседник отпустил реплику о «постмодернистской культурной ситуации», заметил: «Места жительства, определяемые императивно и произвольно, это практика совсем не литературная. <...> Я не считал себя заложником коммунистической ситуации, я не считаю себя и жителем ситуации постмодерна». Здесь Рубинштейн проявляет себя не только как политолог, но и как лингвист – безусловно внимательный к языку, к его смешавшимся коннотациям, что особенно значимо в ситуации расплывшегося языкового абсурда: эссеист обильно приводит примеры последнего из выступлений современных политиков и депутатов. В одном из эссе впрямую декларируется необходимость «восстановления доверия к языку»: следуя за Бродским в апологии поэзии как «высшей формы существования языка», Рубинштейн справедливо перелагает эту необходимость

именно на стихи. Но весь пафос книги, весь её центральный месседж недвусмысленно говорят о том, что спасение языка ныне – дело не только или не столько поэзии. В мире Рубинштейна это прежде всего средство противостояния раздающимся с телеэкрана нелепым высказываниям, различного рода перлам вроде «убийца в лучшем смысле слова» и прочим стилистическим и логическим симулякрам, внедряемым в наши головы. И лучше всего сейчас с расстановкой точек над *i* справляется эссеистика – как пространство, где можно дать внятные ответы, а не только ставить вопросы. Внятные лингвистические уточнения в книге Рубинштейна касаются самых разных ситуаций нашей жизни – от употребления сомнительного речевого оборота «удрать за границу» (которому Лев Семёнович посвящает отдельное эссе – разбирая и его советское бытование, и последующую трансформацию) до разграничения «героизма» и «геройствования»; от попыток сузить понимание истории до «официальной» (т.е. удобной власти имущим) версии, – до «вируса запретительства» в более широком смысле, коварного потому, что чужд рефлексии. Отдельное внимание стоит обратить на эссе, касающееся печально известного закона об иноагентах: в нём автор, как ему свойственно, затрагивает проблему на разных уровнях – от коннотаций слова «иностранец» в СССР до задач современного пропагандистского дискурса; от хлёсткого и верного определения слова «иноагент» как «идиотского клейма» – до прогноза о меняющемся значении этого «клейма» в отдалённом будущем.

О будущем, тем не менее – что удивительно! – здесь говорится с надеждой. Хотя и надежда эта – «вопреки». «Другое сильное, хотя и тоже слегка стыдное чувство – это чувство надежды. Впрочем, нет, не стыдное, точнее будет сказать – стыдливое. А стыдливое оно потому, что она, эта надежда, всплывает всякий раз вновь и вновь, вопреки логике событий и вообще здравому смыслу. Впрочем, по моему мнению, именно поэтому она, надежда, и имеет шансы на успех. <...> Эта неутомная

надежда всплывает на поверхность всякий раз, когда, например, кого-то освобождают в зале суда, когда узники возвращаются к своим семьям и друзьям, когда ты выходишь на мирное шествие и попадаешь в окружение исключительно прекрасных, наделенных осмысленностью и достоинством молодых людей, с которыми ты и связываешь эту свою надежду».

И это при том, что по сравнению с предыдущими книгами Рубинштейна почти исчезла интонация веселья – вы мало найдёте в этой книге анекдотических историй, так любимых читателями и составляющих основу его стиля. Нет, чувство юмора и ирония ему не изменили – но положение дел сегодня становится всё грустнее и серьёзнее и располагает к соответствующему тону. Что ж, такое оно, «время политики». Об этом – эссе «А всё оттуда», из которого следует грустный вывод – в каком-то смысле являющийся лейтмотивом книги: роль «анекдота» (и, больше, пародии) сегодня выполняет как раз официальная риторика, мы находимся внутри абсурдной игры, которая обрела в наши дни формы власти. В другом эссе: «Серьёзное и смешное туго переплетены и перепутаны, особенно в наши дни». К этой теме стирания дистанции – когда представители властного дискурса становятся «художниками и творцами» (они же – создатели нынешнего «официального искусства»), но от их «творений» совсем не смешно, – Лев Семёнович возвращается не единожды. Возможно, как раз с этим связано «осерьёзнение» рубинштейновских текстов – хотя он никогда не был *только* юмористичен и всегда в лёгком, весёлом стиле, с характерными байками затрагивал базовые для общества вещи. Но разве сегодня до анекдотов, когда само происходящее в политике по-плохому анекдотично – только вот констатированное автором опасное «переплетение» смешного и серьёзного не особо смешит. В то же время в книге довольно много сказано о самой природе смеха – и, например, полемике с теми, кто не терпит никаких анекдотов о «святых» вещах, идентифицируя юмор с кощунством и высмеиванием. Ракурс разго-

вора о «смешном» в этой книге дополнительно убеждает в свободе мышления эссеиста, в его решительном противостоянии штампам сознания – но процитировать здесь хочется замечательные слова Льва Лосева из статьи о Юзе Алешковском (приведённые Рубинштейном в его книге «Скорее всего» и точно отражающие его позицию): «Если правило веры не прочувствовано в живом опыте, а применяется априорно, оно есть суеверие. Значение любых, без исключения слов, контекстуально...». Разного рода правила веры, применяемые вне контекста и не осмысленные как часть живого опыта, а значит, синонимичные уже упомянутым общим местам (и, как показывает Рубинштейн, имеющие отчётливые шансы превратиться в бездумный карательный инструмент), – важная тема книги.

Кажется, что одному из таких общих мест, о которых никогда не мешает дополнительно сказать, противостоит само название сборника. Конформистское «времена не выбирают» вполне может рассматриваться как антитеза не только её заглавию, но и одному из лейтмотивов. По Рубинштейну, свобода выбора своего времени – а значит, системы индивидуальных и языковых конвенций, представлений о «добре и зле», о «красоте и уродстве», о «вкусе и пошлости», – неотъемлема от права быть человеком – как бы сегодня всех нас ни пытались лишить этого выбора. По отношению к различным формам, как выражается сам Рубинштейн, «социального аутизма» (под ним, напомним, автор понимает упорное нежелание открывать глаза на проблемы своего времени), писатель более радикален. «Агрессивный аполитизм», с его точки зрения, как ставшее тенденцией то самое нежелание вникать, – следствие как раз навязываемой нам официальной идеологии и её желаемый результат. В таком утверждении можно увидеть несоответствие провозглашаемым писателем ценностям свободы (скажем, свобода быть аполитичным – разве не одна из её разновидностей?). Но при более внимательном взгляде понимаешь, что особого противоречия нет. Аполитизм есть ложная «свобода» (как форма

всё той же несвободе, ибо диктуется всё тем же пропагандистским запросом). А отстаивание индивидуального мнения, не обязательно в форме митингов, а скажем, в тех же эссе, и есть ныне тот выбор, что отграничивает «социальных аутистов» и конъюнктурщиков от апологетов независимых ценностей.

Сам автор говорит об «энергии сопротивления» – цензуре, самоцензуре, общим местам – как о «продолжении жизнедеятельности». Высказывания такого человека, как Рубинштейн, – который со всей присущей ему энергией сопротивления ратует за осмысленный выбор: и языковой, и – больше – личностный, – и не боится провозглашать «немодную» правду о своём времени, – сегодня невольно внушают энергию другого рода. Я бы назвал её «энергией спокойствия» – именно она передаётся читателю со страниц этой книги вопреки тревожным констатациям и прогнозам. Здравый смысл, явный в каждом рубинштейновском предложении, в каждой букве, – тому порука. Пусть даже этому спокойствию и здравомыслию сегодня противоречит всё вокруг.

Александр ЛИВЕНЦОВ

ПУАНТИЛИЗМ ПО СЭЛИНДЖЕРУ

Марта Антоничева. 1003-й свободный человек. – М.: Эксмо, 2021. – 74 с.

Кандидат филологических наук, финалист премии «Дебют» в номинации «Критика и эссеистика» (2006), участник форумов молодых писателей России, автор журналов «Волга», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Урал» – это всё о Марте Антоничевой. Продолжить список изданием сборника рассказов закономерно и вызывает особый интерес.

«...его чашка почернела изнутри и напоминала заброшенный колодец...» – цитата из книги, и отчасти ощущение живописной заброшенности преследовало меня на протяжении всего чтения. Здесь нет нарочитых красот, но

присутствуют те условные трещинки, пятнышки, состаренность и хрупкость, которых не избежать с ходом времени – всем этим Антоничева наделяет живых людей, обстоятельства и сами сюжеты. То, что в повседневной жизни мы пропускаем мимо себя, эти вот немые чашки, в «1003-м свободном человеке» подаёт голос, заявляет о себе наравне с персонажами, и ещё вопрос, кто громче.

Любая литературная школа, тем более если речь о малой форме, будет настаивать на цепляющем начале и крепкой концовке. Первое в рассказах Антоничевой заслуживает отдельных слов, о чём ниже, а вот концовки, как по мне – размыты, растворены в тех самых деталях, концовки увивают, словно нарочно. И в данном случае я избегаю говорить о недостатке, вероятно, это намеренное решение, поиск стиля, ставка на ощущение повисшей ноты, ещё долго звучащей где-то рядом. Послевкусие – главный козырь прозы Антоничевой, и, как в пуантилизме, оно складывается из массы штрихов и «словесных точек» (извиняюсь за самодельный термин), которые организуют полутона, а те в свою очередь – означенное послевкусие. Чем-то подобный механизм напоминает прозу Сэлинджера: то же ощущение потерянности во времени и в отношениях с людьми, но вопреки ему острое, крепко оформленное, почти болезненное чувство сквозняка в душе – чувство живого тонкокожего человека по ту сторону текста.

Может сложиться впечатление, что сюжеты Антоничевой лёгкие и светлые – впечатление ложное. Почти все рассказы откровенно жестоки или имеют хоть одну жуткую сцену: тут муж избивает жену, там жена орёт на мужа до оглушительной истерики; или вынесен приговор, вследствие которого свою жертву надо натурально съесть (не всю, только малую часть); или одноклассница расквиталась за обиды с половиной класса; или расписаны ужасы роддома... Напомню, всё предельно детализировано и сдобрено фактурой – полнота картины, как в калейдоскопе, образуется из массы нюансов. Если ребёнок заболел ротавирусом – то с обилием отправлений и даже с

невольным комизмом: «...сестра с женихом уехали, потрепав ребенка по плечу на прощание: "Все будет хорошо". Тот блеванул спростонья кому-то из них на ботинки...». Если ограбили квартиру – самые ценные остатки дочистят полицейские; если в повествовании присутствует начальник – он деспот и подан во всех красках: «...у начальника была небогатая фантазия и пара-тройка сценариев, которые он любил разыгрывать с подчиненными. Те, кто не хотел с ним играть, обычно писали заявления по собственному желанию...» – наглядно, живо.

Персонажи и сами истории во многом избыточны. Вероятно, и это осознанный авторский шаг в попытке докричаться до читателя, искушенного обилием ужасов из каждодневных сводок новостей. В конце концов, искусству свойственно сгущать краски, и потому означенная выше истеричка-жена если истерит, то с размахом: «...заказанные в салоне итальянские шторы оказались короче, чем окна, и жена изодрала их от злости в клочья...». А общение в чате с одноклассницей давних лет становится для мужчины в кризисе настолько важным, что: «...однажды в их отношениях случилась катастрофа – кто-то украл у нее телефон, и он рвал на себе волосы целый день, куда же она запропастилась? Когда вечером получил сообщение в фейсбуке, сразу купил ей новый в онлайн-магазине...»

Нельзя не признать, что суровая действительность «1003-го свободного человека» во многом правдива. Антоничева ловит эти мелочи быта, даже те, что проскальзывают в мыслях, и потому её героиня не вступает за женщину, которую в соседнем номере лупит муж – да и многие не заступятся, дай бог вызовут полицию (чем и кончается). И потому общение в сети, и суждения о людях на том конце интернета вполне убедительны: «...Надя, давняя знакомая Алины, считала, что отправлять ничего не стоит. По ее словам, такие люди уверены, будто другие им обязаны. "Думают, наверное, мы богатые", – написала она и поставила кучу смайликов...» – верно вплоть до череды смайликов. Мать одного из

героев уходит в чёрный список только потому, что регулярно просит денег – беда, но что-то подсказывает мне – и это не фантастика. И да, пожалуй, каждая женщина приходит в отчаянье после родов, сталкиваясь с очевидным: «...к тому же ребенок отличался от ее представлений о младенцах – толстых трехмесячных детей с упаковок подгузников или открыток...» Наконец, нельзя не признать точность наблюдения, которому посвящён не один мем: «...Наталья вспомнила ухоженную, пропитанную силиконом супругу начальника...», вполне уместное сочетание слов «ухоженную» и «пропитанную».

Почти все семейные пары в рассказах Антоничевой несчастны, они или уже расстались («Инопланетянка» и «Кусок пластика» с этого начинаются), или идут к фиаско. Увы, учитывая статистику разводов, эта тенденция «1003-го свободного человека» тоже правдива. Даже отношения тех пар, где, казалось бы, нет очевидного разлада, приправлены едким сарказмом: «...несколько лет подряд она занималась ведением блога, или, как шутил муж, "собираением ненужного хлама" и "пусканием пыли в глаза"...» или «...жена немного скривилась ("Опять твои подростковые приколы"), но была не против...» Парадоксальным образом самые «здоровые» отношения показаны в рассказе, давшем сборнику название, но, чтобы понять прелесть парадокса, рассказ надо прочесть, обойдусь без спойлеров. Самая авангардная история в этом отношении – «Тамагочи»: проснувшись однажды, муж обнаруживает в постели вместо жены грушу для биття (привет Кафке). Разумеется, то, что обратилась она не чем-либо, а именно грушей для биття, необходимая сюжету аллегория.

В нескольких историях Антоничева показывает скорое будущее, незавидное, прямо скажем, но интересно то, что ощущается оно как самое что ни на есть настоящее – точно это не фантастика вовсе, а иной вариант наших будней, и заглядываем мы не на десятки лет вперёд, а на год-два максимум. Царит там всё то же бездушие наших дней, но ряд технологий дают ему набрать критическую массу.

Отдельно хочется отметить удачные начала рассказов, самые первые их предложения: *«Церковь занимала весь 18-й этаж развлекательного центра...»* («Разговор с человеком»); *«Почтовый ящик напоминал мусорный...»* («Руководство к действию»); *«Андрей очень любил работу и совсем не любил жену. Первая придавала ощущение собственной значимости, вторая – напротив лишала...»* («Ну же, Бог»).

Впрочем, эти удачи будут ждать и в самом тексте, читается он легко, сравнения остроумны и, что немаловажно, – запоминаются. Несколько примеров: *«...ее ждал невысокий мужчина средних лет, с лицом, напоминавшим ржавую лопату...»*; а так описан взволнованный тон письма: *«...буквы были более угловатыми, казались составленными из ломаных палок...»*; а это живописный образ ленивого уральца: *«...мужчина завтракал, положив ногу на ногу: одна была чем-то вроде столика, на котором лежал бутерброд с маслом, вторая – упором...»*; вот известная всем картина горожанина в деревне: *«...кто так избаловал ребенка, что он шагал, словно цапля, через посадку картошки, стараясь их не задеть и не поймать на одежду безобидных букашек...»*; а от этой картины так и хочется вспомнить «Человека-амфибию»: *«...там ковырялись божьи, заныривая все глубже, словно ловцы жемчуга...»*; и кто не любовался в солнечный день подобными красотоми: *«...пыль всегда висела в воздухе, как космический мусор, вращающийся вокруг Земли...»* Наконец, приведу лаконичное описание чувства детства: *«...те времена, когда от них требовалось только делать уроки, слушать родителей и не облизывать качели на морозе...»*.

Напоследок о иронии, с которой Антоничева упоминает явно важную для неё тему книг и чтения, так или иначе в своих текстах её поднимают все писатели: *«...каждое утро Наталья Николаевна собирала книги по всем комнатам и складывала в одну высокую стопку на журнальный столик. Чтение казалось бабушке блажью, беспролковым занятием, не приносящим никакой пользы»*.

Наталья ЧЕРНЫХ

ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ОДНОЙ КНИГИ

Артем Пудов. По лирическому счету. Проза на грани стиха 2016–2020 годов / Предисловие Даниила Давыдова. – М.: Стеклограф, 2020. – 40 с.

*...поднимаешь глаза к небу в намерении
увидеть пулю, а там – птица...
Песня просветленного отчаянья*

Есть в искусстве фигуры тихого и многогранного масштаба, который становится ясен только со временем, и то – не факт, что ясен вполне. О таких людях говорят – примерно как Георгий Иванов об Иннокентии Анненском: «То, что Анненский нежно любил». Метафора моя вполне обоснована: у Артема Пудова отличный античный багаж, а масштаб (масштаба, скамья-надгробие) ведет к Горациеву «Памятнику». Номер этого произведения Горация и контекст, где оно размещено автором (Горацием) сейчас мало кто знает. Но у Артема Пудова уникальная интуиция в культуре, так что думаю, он представляет, где именно и как именно возник тот самый Гораций-памятник. Есть вещи поважнее философии (а это уже Шекспир). Однако у автора достаточно самокритики и юмора. Мне просто хочется, чтобы эту книгу читали и любили.

Однако Данила Давыдов в изящно-контрастном, холодноватом (как и полагается к лирической книге) предисловии сыплет терминами и именами. Такая пестрота была бы хороша лет пятнадцать назад, а сейчас она выглядит немного смешно и неловко, – но, тем не менее, предисловие нужно было именно такое, с этими терминами, раритетным Фердинандом де Соссюром, извечным в предисловиях к современной литературе Дерридой и прочим аутентичным инструментарием.

Тексты в книге «По лирическому счету» ярко и осторожно выверенные, что не мешает

им быть порой внезапными и парадоксально запоминающимися, не только из-за обилия внутренних рифм. Они напоминают запотевшие и чуть покрытые морозными узорами окна. Впрочем, «Два зимних узора» тут же присутствуют. Таким текстам уютно в обрамлении предисловия Даниила Давыдова: вот контекст, вот росчерки куража: это «вылазки в тотальную знаковую реальность, фрагменты визионерских отчетов о внутренних путешествиях. В отличие от вышеупомянутых “заметок на полях”, никак не могущих быть сведенными как критическому дискурсу наблюдателя, понимаемого как “высшая” по отношению к знаковой реальности инстанция. Не могущей хотя бы потому, что сами знаки здесь образуют не парадигматическое целое, но поток дхарм, и наблюдатель, погружаясь в него, сам становится (неразличимой) частью потока».

Книга любовной речи – так можно было бы определить «По лирическому счету», но любовь здесь – нечто слишком крупное, и читатель видит все вещи, о которых говорит автор, лишь на фоне любви. Здесь монолог переходит в диалог, диалог взрывается полилогом, – а потом оказывается, что автор шел задумчиво и говорил себе под нос, имея в виду любимый предмет (конечно, это Она).

«Но прилив интуиции краток, в лучах мерцающей надежды, ведь чаще все равно идешь один – суровая инстанция, зато с контрольными акциями. Замереть в ослепительной нервозности, неровности, не исчерпанности бытия, и несколько слов слетают с языка: «Правда. Мысль. Стыд» («Триединство»).

Сжатые, ювелирные тексты, где фрагменты целого – равно грани («Три миниатюры», «Две четкие линии») – привлекают и интригуют читателя одновременно доверчивой теплотой и отстраненностью. Найти баланс температур в речи собеседников, баланс дистанций между тропами и между персонажами, услышать свою собственную письменную лирическую речь (именно так!) – нужно обладать очень опытным ухом. Переводчик Артем Пу-

дов, как мне видится, оказал здесь бесценную помощь автору Артему Пудову. Я не очень люблю расщеплять нечто целое на субстанции (или на субличности, как до сих пор принято), но автор книги «По лирическому счету» невероятно разнообразен, и тем интересен.

«Полюбишь колдунью – не спишь сто дней, пока от мути не падаешь на пол. Разлюбишь святую – пойдешь с вещами на поезд, к лагерному быту и дракам за кусок» («Три поклона времени»).

Церковнославянский здесь органично вплетается в сомнамбулическое бормотание речи едва ли не одинокого деревенского знахаря (факт, что автор – горожанин, его внутренней архаике не мешает), выпренность блестящего барокко (известного по бессмертным переводам Павла Грушко) не противоречит болтовне дворового собутыльника, каверзы речи просвещенного маркиза обнаруживаются в офисных разнарядках. И надо всем парит легкий, изящный певец неистребимого уже в современном человеке средневековья. Хотите узнать все про трубадуров, труверов и миннезингеров – читайте эту книгу. Уверяю вас, пока читала, в голове уже сложились зарисовки к анимационному фильму в духе советского «Верескового меда».

«Мне, как рыцарю когда-то, хотелось бросить щит и меч, а не шляпу и пиджак на грешную, жестокую, правдивую землю» («Композиция на прощание»).

«Было всего важнее на свете когда-то играть в пажу» («Две речи»).

Я согласна с легким и точным Чанцевым, что «Известен простой путь бегства от излишних пафоса и лиричности – вести повествование не от первого лица, а делегировать его третьему. Есть и третий закон термодинамики текста – записать стихи прозой. Тут так. И хорошо, замечу, что так. Примерно задав точку отсчета, по гамбургскому счету о “По лириче-

скому счету". Здесь все то ювенально лирично (одиноким или не очень герой со своей любовью), то сухо и стойко»¹.

Автор жаждет перемены и уверен, что не будет катастрофы. Но уютное не-завершение, это обывательское «все хорошо» (впрочем, почему обыватель – это плохо?) выталкивает его прочь, как соленая вода лимана. Поверхность, по которой скользит речь «По лирическому счету» – это все то, что кроме быта и Ее, ради которой и огород, и рождение, и быт, в конце концов. Она – объект и свидетель того мира, по которому скользит речь автора. А свидетелей нужно щадить: они, как правило, страдают и часто погибают.

«Щадить тебя – основной и незыблемый принцип» («В сантиметре от лирики: три миниатюры»).

Некогда звезда петербургского подполья (оно же – ленинградская неофициальная культура) режиссер Борис Понизовский сказал о Елене Шварц нечто универсальное и оптимальное, создал линзу, сквозь которую видно больше, чем при первом взгляде на стихи. Высказывание Понизовского довольно резкое, а предоставила его замечательная поэтесса Ольга Мартынова: *«...посмотрите, как Елена Шварц обращается с... материалом. В ее стихах культура расположилась, как посуда на кухне, как белое в тазике. Это ее быт, она с этим, она в этом живет – и не церемонится! Она блюет культурой, она потеет ею. И это единственно правильное отношение. Слишком большой пьет перед культурой вреден поэту»*².

К Артему Пудову так же применимо это «потеет культурой». Вплоть до игривой буквы «ё» (с которой лично я рассталась давно, но которая есть в клавиатуре и в русском языке). Пока скудные читатели перечисляют: тут Со-снора (кстати, ему в книге «По лирическому

счету» – внимание приоритетное), там – Чухонцев, там – Гандельсман, – автор ловко щелкает по носу то серьезное стихотворение, то известную песенку, а то самоценную эпопею нечасто упоминаемого Ханса Хенни Янна. И ему простительно, так как он внутри процесса.

«Век закончился» – говорили вчера на остановке» (Артём Пудов). – *«Скоро кончится век»* (БГ, «Контрданс»); *«Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне»* (БГ, «Пока не начался джаз»). И та же лирическая тема, в хрустально сохраненной тональности, но насколько своя. У БГ: *«Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался джаз»*. Пудов дает аранжировку (возможно, он и не задумывался об этом): *«Здесь дела, дорогая, от просторной суммы до незримой войны, и не знаешь, лучше в полон иллюзиям или с творческой квотой. Здесь чудо и тынь без тебя, дорогая, а с тобой – бесед крохи, надежд гроши...»*.

«Расхищен Бах по подъездам и переулкам: звучат органские фуги, а я сжимаюсь в кулак», – и моментально на экранах внутренних глаз появляется соответствующий фрагмент «Четвертой прозы» Мандельштама с гиперссылками на стихотворения (*«Отравлен хлеб и воздух вышит...»*).

Примеров подобных переключек (а мне как читателю они интереснее всего) можно привести множество, и в данном жанре они намного интереснее, чем рисунок развития чужой темы (скажем, Гандельсмана), ибо именно в этих искрах и молниях видно настоящее искусство трубадура.

В заключение хотела бы сказать об **очаровании жанра**. Термина этого нет, и он (как мне видится) в принципе невозможен. Это термин нужно «верифицировать», как скажет один из местных наших критиков. Но явление есть, и его точно можно назвать очарованием жанра.

Чанцев и здесь предупредил меня, но мне только приятно будет привести здесь сравнительно крупный и яркий пассаж: *«Жанр коротких заметок, стихопрозы (мне не очень нравится этот гибрид, но пусть так) – не нов. Но отсылает к таким тихим, редким (чтобы*

¹ Александр Чанцев. Письмо не поиска, но отказа // Знамя. 2021. №5. <https://magazines.gorky.media/znamia/2021/5/pismo-ne-poiska-no-otkaza.html>).

² Цит. по: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2010-1/swartz/view_print/

избежать синонимов – изысканным и элитарным) авторам, что – нов. Так писали французские афористы, Ницше, Чоран, Юнгер, Пессоа. У нас писали – Владимир Казаков, Владимир Биbihин, Василий Кондратьев, еще недавно писали – Дмитрий Бавильский, Александр Иличевский, сейчас пишут – Борис Останин, Александр Ильянен, Ольга Балла, Михаил Барах или Алексей Чипига. О генезисе, функционировании, инвариантности этого жанра можно говорить долго, найти что-то общее – или ничего. Главное, что мы имеем дело с миниатюрными законченными высказываниями, максимально семантически нагруженными, при этом – из-за суггестии чаще всего – подчас логически раскалиброванными. Не совсем так: логика этих высказываний столь плотна при минимальном объеме, что смысл функционирует в них иначе. Как говорил Сент-Экзюпери: «Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать»».

Книга «По лирическому счету» – поэтическая? Несомненно, и это чистая поэзия. Но ее поэтичность другого свойства, чем, например, томиков, выходящих в издательстве «Время». В то же время представить книгу Артема Пудова, вышедшую в библиотеке издательства «Воздух», мне так же трудно.

Это проза? Несомненно, и это даже великолепная эссеистика, и в список, предложенный Чанцевым, я бы добавила и миниатюры Евгения Головина, которые можно найти на мемориальном сайте этого переводчика, философа и поэта. Но эта эссеистика отличается от той, что можно найти в книжных магазинах.

Жанр книги «По лирическому счету» нельзя определить точно, однако он внятн читателю. Он пленяет краткостью, текучестью и особенной доверчивой теплотой, которой в современных текстах, волей или неволей ориентированных на социальные сети, невероятно мало.

Приведу сноску, сделанную Чанцевым, которая мне кажется и в его рецензии, и здесь очень уместной: «Впрочем, не забудем и о правиле, сформулированном Бодлером по поводу Коро: «Завершенное произведение не обязательно

тщательно отделано, а тщательно отделанное произведение не обязательно завершено»».

Верифицировать красоту невозможно.

«Пусть же мелочность – но не концовка, и ладно ж горечь, но и она никак не зря» («Песня просвещенного отчаянья»).

Алексей МАСАЛОВ

МОРФОЛОГИЯ СТРАШНОЙ СКАЗКИ

Катя Сим. Общество защиты химер: Первая книга стихов. – М.: Книжное обозрение; АРГО-РИСК, 2021. – 48 с. – (Серия «Поколение», вып. 58).

В последнее время наблюдается некоторое «второе дыхание» русскоязычной нарративной поэзии. Это и завершенный «Московский цикл» Линор Горалик, и новые книги основных акторов «нового эпоса» («27 вымышленных поэтов в переводах автора» и «Сева не зомби» Арсения Ровинского и «Беспорядок в саванне» Федора Сваровского), и абсурдистские циклы Георгия Генниса, и недавние книги Елены Михайлик («Экспедиция» и «Рыба сказала “да”»), и деформация эпических реальностей в «Пограничных нарративах» Павла Жагуна, и фрагментированное катастрофой повествование Евгения Ивачевского в книге «Эти прозрачные колокольчики». Представляется, что в начале 2020-х нарратив и его различные пересборки становятся одним из наиболее продуктивных способов говорения о мире, разрываемом путинской внешней и внутренней политикой и агрессией в социальных сетях.

Так и младшее поэтическое поколение, наблюдающее руины после «сытых нулевых» и закручивания гаек в го-е, зачастую обращается к осколкам нарратива надежды на перемены в политическом и культурном пространстве, когда любая активность демотивируется усилившимся обоюдострым давлением: внешним – репрессивных институтов власти и

внутренним – активизацией «пацанской» идеологии и культурных мифов.

В этом ключе «Общество защиты химер», дебютная книга самарской поэтессы Кати Сим, собирающей свою речь из региональных контекстов, обломков сказочного фольклора и массовой культуры, мультипликационных образов и маркеров политической обстановки, показывает иной способ создания нарративных структур, скрепляемых как особым поэтическим воображением, так и особым отношением к социальному:

Мама ругает Крошку Енота:
Почему не спросил у Того про оппозицию,
Про действительно актуальные темы –
Например, граффити
На дверях лесного товарищества
Или как
На водной глади видеть не
осточертевшую рожу,
А песок и мальков;
Нужно уметь задавать
Правильные вопросы.

Анна Родионова указывает на «разные масштабы воображения»¹ в стихах Кати Сим, что обуславливает специфику фокусировки и связности деталей в циклах этой книги. Внутри них может быть и превращение в «салат», и гонки на «детских БМД», и любовь к похоронам, и «колеи колес», и «мэр Самары», и «лампа, торшер, светильник, это ведь разные имена». Конечно, такая «несоизмеримость масштабов»² воображения делает это письмо на вид шероховатым, небрежным, неровным, но и нарочито отказывающимся от гладкости эстетского подхода.

(Ведут принцессу-снегурочку
Ведут и помнят серебряное копытце)

(Кто приходил ночью?
Мужчины и женщины

¹ Родионова А. [Предисловие] // Сим К. Остановка в месте, интересном мышами // Грѣза: <https://greza.space/ostanovka-v-meste/>

² Там же.

Половые аномалии
И, может быть, засохшая сосна.)

В процитированном фрагменте сбои реальности и телесности происходят в манере страшной сказки без счастливого финала. При этом подобная сюрреализму Антонена Арто образность, выворачивающая объекты, детали и субъектности, – не вполне сюрреализм, так как здесь нет наслаждения языковой игрой и необычными сочетаниями. Ведь когнитивная основа страшных сказок Кати Сим – это дважды рунированный эпос, с одной стороны – исторически сказочный фольклор возникает на десакрализации героического мифа³, с другой – наработки нарративной поэзии оо-х (особенно – маргинальной баллады Андрея Родионова) в ее текстах пересобираются через «травматографию логоса»⁴ Евгении Суслевой, при которой рунированный язык оказывается еще и «языком иной оптической природы»⁵.

Эту оптическую природу Виталий Лехциер в сопроводительном письме на премию Аркадия Драгомощенко (2019) связывает с «гибридной онтологией», в которой возникает некая «тревога вынужденного конфликтного двоемирия, столкновения и взаимопроникновения миров – политического (повседневного) и воображаемого (фантастического)»⁶. В этой специфической онтологической оптике можно увидеть диалог как с вышеупомянутой Евгенией Суслевой, так и с самарской непрозрачной поэзией Александра Уланова и Галины Ермошиной, а также с болезненными онтологиями Сергея Щёлокова, в текстах которого «болезни, лесные пожары, шаткие бо-

³ См. Мелетинский Е. М. Миф и сказка // Ruthenia: <https://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky11.htm>

⁴ Вайзер Т. Травматография логоса: язык травмы и деформация языка в постсоветской поэзии // Новое литературное обозрение. 2014. № 1 (125).

⁵ Суслева Е. Искажение сложностью // Новое литературное обозрение. 2015. № 2 (132).

⁶ Лехциер В. Сопроводительное письмо // Сим К. Так я ушел из строителей // Премия Аркадия Драгомощенко: <https://atd-premia.ru/2019/07/30/katya-sim-2019/>

лота и гулкая тишина способны поглотить всё, что имеет отношение к человеческой жизни и цивилизации»¹, что обеспечивает особое отношение к стереотипному и героизированному.

Десакрализация героических моделей и культурных мифов организует политическую модальность поэзии Кати Сим, уклоняющуюся от любой тотальности и бинарных гендерных ролей:

О треугольник о полукруг
Это песня мужских ягодиц
Я зашиваю ласточкин дом:

Где-то мужская родовая дыра
Чистотел я обернулся красивым вороном
Как хотел

Важно, что социальные импликации в поэзии Кати Сим не лишены иронии. Так и здесь фрагментация повествования сталкивает объективированную «песню мужских ягодиц», «мужскую родовую дыру», отвечая смехом на ужасы капиталистической реальности, которые являются некоей тематической основой страшных сказок этой книги. И в этом столкновении иронии и теплоты к маленьким вещам с кошмаром патриархальных порядков видится феминистская интенция стихов Кати Сим, когда в том числе и семейный дискурс изображается как элемент концептуальной сети биовласти и угнетения:

Член отца – это метафора насилия.
Возможно, над матерью. Возможно,
над получившимся.
Он сам, осознавая своё первородное
насилие,
Закрывает себя одеждой,
Закрывает одеждой других,
Стремится спрятать все проводники
в цепочке.

Взрослая дочь прильнула
к отцовскому члену,
Думая: я плыла сквозь него, в лодке,

через вязкий туман, в переходное место
Между недостаточностью этого текста
и дорожкой волос на мамином животе.

Таким образом, столкновение химер, кошмаров, снегурочек в ее текстах обнажают и болевые точки общества («Чужое / Горит всегда быстро и правильно / На старых стенах ДК детского творчества»), и травматическое взросление субъекта в биополитической обстановке путинской автократии («Отстранение голоса жены из неблагополучной семьи / ... // Придут двое сноходцев / Мужчина и женщина из центра “з”»).

Однако именно химеры, неправильные и травмированные существа и их способность смеяться над машинами насилия, даже когда очень страшно, и складывают субъективацию в этих текстах через метаморфозы перманентного сопротивления не только мэрам, «Беломорканалу и клоаке» и «городу в змеях», но и, в первую очередь, Дракону у нас в голове, биовласти и героическим моделям, культурным мифам и бинарной гендерной системе:

Город в змеях. У Него гнездо лиц.
Я позвонил по кроссовке, скоро придёт
автобус.

Да так было всегда говорил мне
прозрачный лис
Да так будет пока в этом городе негде
облегчиться

В этом плане руинированный нарратив «Общества защиты химер» с его сбоями в повествовании, разными масштабами фокусировки и метаморфозами явлений, объектов, персонажей становится способом как обновления самарской онтологической поэтики, так и формирования иного способа политизации поэзии, возвращая ей возможность «через цезуру, остранение, саморефлексию, фрагментарность, дробление нарратива <...> обнаружить асемантические зазоры, складки смысла, еще не захваченные идеологией»².

¹ Ларионов Д. Предложный падеж // Сергей Щёлок // Новая карта русской литературы: <http://www.litkarta.ru/russia/samara/persons/shchyolokov-s/>

² Скидан А. Тезисы к политизации искусства // TextOnly. 2004. №12.

Наталья ЧЕРНЫХ

ЖИВОРОЖДЕННЫЙ ДОМ

Гала Пушкаренко. Гефсиома (серийная поэма-деконструкция) // Флаги. 2021. № 11. https://flagi.media/page/3/online_issue/18#piece299

Гала Пушкаренко. Изолирующая абстракция // Солонеба. 04.11.21. <http://soloneba.com/gala-pushkarenko-2/>

Гала Пушкаренко. Жанр пеплум // Артикуляция. 2021. № 16. <http://articulationproject.net/16-25-07-2021>

Олег Шатыбелко. Федератив. Стихи Галы Пушкаренко. – С.: ЛитГОСТ, 2021. – 50 с.

Invalid acid: Недопустимая кислота. Гала Пушкаренко. – М.: Арг-Риск, – 2020. – 44 с. – (Серия «Воздух»).

2021 год для Галы Пушкаренко был щедрым и на тексты, и на внимание к ним. Публикации новых текстов в таких разных по эстетике и концепциям изданиях, как «Флаги» и «Солонеба», включая «Артикуляцию» (которую я считаю для сегодняшнего литературного процесса базовым сетевым изданием). Активность автора может насторожить, но автор того стоит.

«Гефсиома», опубликованная во «Флагах», №11, определена автором как «серийная поэма-деконструкция», то есть – вирус, запущенный в жанр поэмы, и в результате его работы и изменения материала (изменение тут второе слагаемое, без которого сумма невозможна) возникло вот это «серийное». Сам «синтетический» неологизм (а не натуральный, то есть – не подходящий под базовое определение неологизма, но выглядящий таковым: если хотите – симулякр) «Гефсиома» создает характер всего текста. Это яркое, драматичное, полное экспрессии слово. Мне кажется, лучшее в современной поэзии – именно экспрессия, а не ее имитация. И тем не менее «Гефсиома» создана как поэма.

С «Гефсиомой» переключается «Жанр пеплум», опубликованный в «Артикуляции»,

№16. Здесь та же попытка деконструкции жанра. «Изолирующая абстракция», опубликованная в «Солонеба», написала в том же ключе, но более плотная и стилистически отличается, она ближе к свободному стиху прошлого века.

Книга стихотворений «Федератив», изданная ЛитГОСТом (2021), довольно сильно отличается от того стиля Галы Пушкаренко, к которому привыкли ее читатели. Это своего рода «акустическое зеркало» предыдущих книг. Вот что пишет о «Федеративе» Константин Чадов: «“Федератив”, похоже, представляет собой более замкнутое образование, которое теоретизирует новый формат сборника и сам опыт его восприятия. Книга состоит из пяти циклов, которые, однако, не отделены друг от друга четко – там и тут на протяжении сборника повторяются схожие сюжеты и языковые фигуры»¹.

Однако я хотела бы вернуться во времени назад, что, кстати, в стиле текстов Галы Пушкаренко, и поговорить о наиболее интересной (с моей точки зрения) книге: Invalid acid: Недопустимая кислота (2020). Особенное косноязычие автора здесь показало все свои свойства. Есть слово «живородящий» – это действительный залог. Но слова «живорожденный» (страдательный залог) нет, язык предлагает взять несколько слов: рожденный от живого существа живым существом. Но «живорожденный» в поэтическом тексте мне очень нравится. И это – страдательный залог.

Попробую взорвать мозг (подобно тому, как это делает Гала Пушкаренко, хотя именно так все равно не получится) и посмотреть, что или кто оттуда выйдет на предмет недопустимой кислоты. «Вечность пахнет нефтью». Эту фразу мои ровесники знают в основном по песне «Русское поле экспериментов» Егора Летова. Интернет и сейчас дает скудные сведения о том, что фраза эта была сказана девушкой (и очень нездоровой), на которой впервые было опробовано действие диэтиламид-лизергиновой кислоты или ЛСД. Так было на самом деле или нет, вряд ли я узнаю. Но ЛСД изначально создавали в помощь роженицам – облегчить

¹ Константин Чадов. «Федератив»: О новой книге Галы Пушкаренко // Литература. 2021. № 182. <https://literatura.org/criticism/4505-chadov-federativ-o-novoy-knige-galy-pushkarenko.html>

страдания и снять депрессивные явления. До сих пор послеродовая депрессия считается очень серьезным заболеванием. Ключ тут роды – поэтическое творчество как роды, и поэтическое творчество как наркотик. Гала Пушкиренко появилась на свет в результате синтеза «недопустимой кислоты». Это вполне могла быть не ЛСД, а некое природное соединение, запускающее процесс расщепления. Или – на более официальном языке – анализа. Тотальный анализ и есть недопустимая кислота.

Но вернусь к книге и ее автору.

Это не рецензия, это опыт письменного монолога – пишущего изнутри процесса лица, в этот процесс пока вовлеченного.

Немного контекста для того, чтобы задать темп. Современный литературный процесс для меня довольно предсказуем и скучен, и совсем бы не стоил внимания, если бы не странные молнии, порой в нем возникающие. Что провоцирует их возникновение, какой причинно-следственный импульс (вернее, пучок импульсов, если речь идет о «Недопустимой кислоте» Галы Пушкиренко) – вряд ли можно ответить четко. Но эти явления есть, они выпуклы и ярки, как скульптуры или фрески, и несомненно достойны внимания на фоне общей ровности понтов и поведения. Устойчивость к яду, толерантность (насилию в любой форме) уже цветет пышным цветом, cancel culture растет и становится все более разнообразной, новые технологии позволяют нейросети имитировать разумное существо. Есть еще масса других явлений, о которых еще недавно говорили громко, а теперь вспоминают лишь иногда и вовсе не потому, что они исчезли (они еще как есть). Но все названное имеет прямое отношение к несомненному художественному явлению, о котором я хочу рассказать (хотя бы сама себе).

Мне нравится понятие «художественное произведение». Оно прекрасно в своей винтажности. Я очень люблю винтаж. Я считаю адекватным времени и настоящей культурной ситуации (чтобы не опускаться до них эмоционально и интеллектуально) минимизировать употребление терминов, уместных в философских или в филологических/аналитических статьях. Читатели книг, подобных «Недопу-

стимой кислоте», уже давно и хорошо знают, что ничего кроме анализа нет, но Лакан все же оставил пространство для маневра – обетованное непонимание, благодаря которому и стал возможен такой «живородящий дом», размером с мегаполис, разросшийся по всей планете.

Гала Пушкиренко действительно уникальное художественное явление. Она прекрасна и неуловима. Каждый читатель чувствует ее силуэт, ее взгляд. Ни цвета глаз, ни цвета волос или одежды читатель не видит, но тембр голоса, ритм походки, взгляд, силуэт ее мгновенно запоминаются. Исключительно благодаря характеру ее текстов: заголовкам (пример: Афродита Катаскопия), разбивкам (открыт новый цикл, а нумерация продолжается как в прежнем), знакам (порой латинским), мерцающим то там, то здесь.

Опыты Галы Пушкиренко отмечены вниманием в высокой степени – и читателей социальных сетей, и рецензентов. Гала Пушкиренко полна дружелюбия, она, несомненно, эмпат, она общительна и при этом успевает в жизни очень много: работает, борется с болезнью, создает облака текстов. Когда я делала первую ее публикацию «На Середине Мира», она выслала мне свое фото (в стиле НЙ шестидесятых, как я люблю) и назвала родным городом Донецк, что дорогого стоит.

И тем не менее Галы Пушкиренко как человека нет. Искусственный интеллект (хотя бы в варианте «Лактата Гагарина») не может создать ничего подобного – у него нет того опыта и тех компетенций, которые дает такой опыт. Гала Пушкиренко – чистой воды художественное произведение сама по себе, и не менее интересна, чем ее тексты. Это человек, созданный человеком и использованный до состояния фантома. Здесь не Черубина де Габриак и не Абрам Терц. Это вполне самостоятельное явление социальной и культурной жизни. Мне странно, что во всех рецензиях делают упор на гетероним/ортоним. Но мне видится, что если бы Гала Пушкиренко сама по себе не была бы художественным произведением, внимание к текстам не было бы настолько выраженным и разнообразным.

Интересно: о поэзии (а это *poesis* как он есть) Галы Пушкиренко пишут в основном ав-

торы молодые (Алексей Масалов¹, Константин Чадов – см. выше), уже искушенные предыдущим слоем, вмещающим и поразительную Нику Скандиаку, и ученую Евгению Суслову, и провокационного Никиту Сафонова. Такое внимание от людей, избалованных технологичными пирожными и утомленными излишней рефлексией, стоит дороже нового средства связи.

И Масалов, и Чадов в своих текстах фокусируются на том, что Гал Пушкаренко (то есть источников говорения – моя вольная интерпретация) несколько. Константин Чадов: «Особенность машин Шатыбелко/Пушкаренко в том, что они работают сразу за нескольких “человек”». Гала Пушкаренко дифференцируется, вырабатывая все новые способы письма (сам автор обозначает их примерное число: 7-8 штук). Такая пролиферация текстов и поэтик ставит вопрос о том, где, как и кому произвести в этих машинах срез; вопрос тем более острый, что на кону – статус сборника как одной из возможных поэтических величин». Алексей Масалов сформулировал почти лапидарно: «“Invalid acid” погружает читателя в концептуальное пространство (бленд) жанровых форм и дискурсивных практик». Мне очень понравилось слово «бленд» в рассказе о поэтической книге. И Феликс (Гваттари) нам всем в помощь.

Оба рецензента (я выбрала их работы, потому что вижу их наиболее показательными и интересными) говорят о чем-то вроде облака или поля (и порой за их высказываниями мне видится нечто, что можно определить примерно – как поле Галуа в высшей алгебре, но только в современном языке). Мария Малиновская с едкой подробностью описывает свой опыт прочтения текстов Галы Пушкаренко так: «...У которого (Галы Пушкаренко) «б-г», однако, важнейшее звено в сложнейших и иногда случайных, как бросок костей, смысловых цепочках и также находится в одной плоскости с человеком и даже с его выпущенными на волю аффектами»².

¹ Алексей Масалов. Метапозиция Галы Пушкаренко // TextOnly. № 52, 1/21. <http://textonly.ru/case/?issue=52&article=39325>

² Мария Малиновская. Стадия зеркала // Артикуляция. № 18. <http://articulationproject.net/13861>

И действительно: массы текстов (или сложенных в уравнение произвольной степени знаков) тянутся к радикалам, этим корням энной степени, чтобы, наконец, получить какое-то решение, пусть не окончательное для всей системы. Сколько ни читаю тексты Галы Пушкаренко, не могу отделаться от мысли, что присутствую при диалоге личности и системы, при их взаимообмене. Тут не просто игровая перемена мест или отголоски *травмы* (вероятно трендовое слово, но, кажется, его скоро заменят другим). В этом взаимодействии «личность – система» возникает нечто подлинно ужасное, невероятно жизнеспособное, имеющее харизму манипулятора и все инструменты манипулирования (но, вероятно, еще не все). В этом хаосе молний есть нечто профетическое.

Рецензенты обращают внимание на то, как текст «Недопустимой кислоты» сложно градуирован, ищут конструкцию/деконструкцию. И правильно делают. Но, на мой глаз, каждая масса текста, тонко и четко отграниченная номером и названием, тянется к одному (часто небольшому) тропу, и когда его находишь – испытываешь подлинную радость чтения. Специально такой троп ни создать, ни высказать нельзя. Он возникает как качели – непонятно откуда и сам по себе, и он же является чем-то вроде решения текстового уравнения произвольной степени/облака тегов текста.

Еще рецензенты (и не только названные) отмечают мультикультурность текстов «Недопустимой кислоты», где из-под слоя девятнадцатого века вдруг выскакивает двадцать первый век, таща за собой обрывки радио и телепередач двадцатого. Такая насыщенность в поэтических опытах современности не новость, но как это делает Гала Пушкаренко – заслуживает особенного внимания. В этих текстах не просто брошенные кости, привет Блезу Паскалю, – это четкая работа генератора Ван дер Граафа, это именно пучки импульсов, создающих поле.

Вот пример из самого начала книги. Для меня ключ к этому облаку – «ничто обратного». Далее идет процесс вокруг этого тропа.

I
Нас создаёт ничто обратного: создаёт
исчезновение

Я напечатана в комнате чёрным
по зачёркнуто-белому

Маленькие человечки
Чёрточки точки
Больные и маленькие чёртовы человечки
Либо иней либо автоматический
ельник мельком

в комнате с выключенным звуком и
скоростью света
осторожно французский: *attentio'n gravit*

Их не жалко: совсем не жалко:
похищение европы: похищение собинянок
Время отрицательное к себе: ложь невыру-
бленная топором

Маленькие и большие арабески
ещё летящие в комнате со скоростью себя
плюс скорость комнаты, дома и планет
в пустоте

– этот зуб больной зуб наблюдает субъекта
разумная боль солярис говорит: отъебись
от меня:

я кручу комнату как кубик рубрика:
виновен вашество
я собираю исчезновение речи вокруг
анатомии вишнёвого сада

В девяностые я бывала в компании людей,
воображавших себя эстетически развитыми
и любившими завиральные идеи о развитии
языка. Это был один из основных вопросов
беседы: как будем говорить? куда будем раз-
виваться? Тогда же мне попала в руки книж-
ка «Парадигматические средства выражения
русского языка». Одна из основных мыслей

автора была следующая: парадигматические
средства противостоят синтагматическим. Не
знаю, насколько мысль верна, но для поэта ан-
тиномия очень вкусная. В текстах Галы Пуш-
каренко (а особенно в «Недопустимой кисло-
те») преобладают синтагматические средства
выражения, а если есть парадигматические
(без них русский язык не обойдется), то они в
умеренном количестве и ярко возникают вну-
три синтагмы.

Мы должны говорить из спокойствия и ти-
шины

Вводное существо говорит: ну,
общаясь с человеком из допущения:
с этим человеком ты трахалась
этот тебя изнасиловал
этого изнасиловала ты
этого ты хотела убить
этого планировала любить
от этого ничего не осталось
седьмая: дочерь тебя

Почти каждый фрагмент «Недопустимой
кислоты» имеет точный размер и координаты
в книге (то есть, молния ударила в определен-
ное место и опалила три (или четыре) дерева),
а уже внутри фрагмента происходит броунов-
ское словесное движение. Я готова признать
свое мнение неточным, но оно в любом случае
эстетично.

Что касается поэта Олега Шатыбелко, соз-
давшего Галу Пушкаренко (как Галатею, и, как
профессор Генри Хиггинс, учившего ее гово-
рить), этот живорожденный дом, то я бы даже
рекомендовала молодым авторам его тексты
как наиболее интересные для изучения наи-
более актуальных процессов литературного
языка и просто для удовольствия чтения. И ко-
нечно книги и фб Галы Пушкаренко. Уверю,
она «полна тайн» (если кому-то что-то еще го-
ворит этот мем).

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 7 февраля 2022 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.